В. Г.

КОРОЛЕНКО

4


У.С.Р.Р.
ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО

Владимир Короленко

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ПОСМЕРТНОЕ ИЗДАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ
1928

Владимир Короленко

ДНЕВНИК

1898—1903

Том IV

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ
1928

Печатается по постановлению
Совета Народных Комиссаров
Украинской Социалистической
Советской Республики.

Типография им. Петровского, „Полтава-Полиграф".
№ 95—179. Окрлит № 14763 Полтава.
Тираж 3000 экземпляров.

ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОМИССИИ

Настоящий IV-й том Дневников В. Г. Короленко заключает подневные записи за время с октября 1898-го до 1903-го года включительно.

Период этот представлен, однако, у автора не полностью: в 1900 г. дневник не ведется вовсе, в 1902 в дневнике отмечены события только первой половины года, а в 1903 записи имеются лишь в июне, главным образом в связи с поездкой В. Г. в Кишинев.

Наблюдения и материалы, собранные писателем в дневниках означенного периода, характеризуют события и настроения в России в годы, предшествующие русско-японской войне и первой революции.

Красной нитью проходят в дневниках указания на „самодержавную беспомощность", полную несостоятельность бюрократии, рост реакции и возрождение террористических настроений в стране.

Жестокие репрессии против печати, усиление сыска политического и религиозного, „отлучение" Толстого, массовые увольнения студентов, „усмирения" рабочих и крестьян, еврейские погромы, — таковы меры правительства в области внутренней политики.

Рост реакции выражается и в новом курсе по отношению к Финляндии: 3 февр. 1899 г. издаются „основные положения", нарушающие конституционные права этой страны.

Финляндскому вопросу отведено значительное место на страницах дневника; это сделано отчасти в связи с теми последствиями, которые имело для „Русск. Богатства"

появление в этом журнале информационной заметки „Финляндские дела“ („Р. Б.“ № 3, 1899 г.). Заметка эта вызвала сильнейшее неудовольствие финляндского ген.-губернатора Бобрикова, известного „обрусителя“ (впоследствии убитого Шауманом), так как в ней заключалось указание на то, что конституционная форма правления в Финляндии была подтверждена Александром II. Бобриков обратился по этому поводу с письмом к начальнику Главн. Управл. по делам печати М. П. Соловьеву. Последний предложил редакции „Русск. Богатства“ напечатать опровержение заметки, угрожая в противном случае закрытием журнала.

Дневник заключает подробное изложение этого инцидента и всех об'яснений с Соловьевым, вести которые пришлось В. Г-чу, как одному из двух фактических редакторов журнала. Это был один из самых трудных моментов в жизни журнала и в жизни самого писателя..

„...Один почерк пера может уничтожить результаты всей нашей работы,—пишет В. Г. в своем дневнике,—и каждый из нас рискует очутиться с долгами уничтоженного журнала, которые тогда станут нашими личными долгами. По условиям экономической стороны ведения дела—такими ответственными лицами в данное время явились-бы я и Михайловский“.

Для В. Г. Короленко это было-бы тем тяжелее, что он тогда не вполне еще оправился от тяжелого нервного заболевания (острая бессонница), явившегося у него к концу „мултанского дела“ летом 1896 г.

К счастию, кара, постигшая журнал за категорический отказ напечатать требуемое опровержение, ограничилась приостановкой на три месяца.

К числу явлений руской жизни, привлекающих особенное внимание В. Г., принадлежат студенческие волнения;

систематически, в течение многих лет писатель собирает в своих дневниках большой материал к истории этих волнений, переходящих под конец в политические демонстрации под лозунгом „долой самодержавие!“ Читатели настоящего тома найдут в нем много документов и наблюдений, характеризующих настроения студенчества, роль профессуры, меры правительства, отклики в печати и в различных слоях населения и т. п.

В 1901—1902 г. г. в обоих столицах и в ряде университетских городов к студентам присоединяются рабочие; происходят грандиозные демонстрации. На сцене появляются казаки, в ход пускаются нагайки и холодное оружие.

Дневник заключает описание двух демонстраций 1901 г.—в Харькове (19 февр.) и в Петербурге, на Казанской площ. (4 марта). В апреле 1902 г. записано: „Слепота и близорукость ретроградного правительства, неспособного ни на одну живую реформу — довела изолированное сначала движение учащейся молодежи до степени бытового явления, и, конечно, не могла помешать тому, что этот ручеек пробил преграждавшие слои и слился с движением тоже угнетенных и преследуемых рабочих. Рабочее движение, как и студенческое, лишенное элементарных законных форм безграничным произволом,—слились естественно, чувствуя общего противника именно в этом безграничном произволе. И вот, из струйки уже ручей. А шум этого ручья проникает в народ...“

За студенческими и рабочими волнениями следует весной 1902 г. вспышка аграрных волнений в Полтавской и Харьковской губ. Начинается полоса экзекуций в деревне и массовых арестов и высылок в городах, разгром общественных организаций, еврейские погромы...

Автор отмечает в своей летописи ход всех этих событий и общественные симптомы, предвещающие наступление бури. Уже в 1901 г. он записывает в своем дневнике:

„Стачки рабочих, все возростающие „сопротивления" крестьян указывают на глухое брожение в народе. Массовая война с властями учащейся молодежи начинает вовлекать и общество... Медленно, но неуклонно наростают понемногу и собираются великие сили будущей борьбы. Нашим детям предстоит жить в очень драматичное, но и интересное время".

Невозможность свободно высказаться в печати о явлениях текущей жизни нередко побуждает писателя делать это именно в дневнике. Мы имеем только две его статьи, написанные вне условий русской цензуры („Самодержавная беспомощность", и „Суррогаты гласности для высоч. употребления"); статьи эти появились, без подписи, в зарубежном журнале „Освобождение" (1903 г. №№ 15 и 16), издававшемся в Штутгарте П. Б. Струве. (Вошли в т. XXXI наст. изд.). Для заграничного-же издания предназначалась сказка-памфлет „Стой солнце, не движись луна!", написанная в 1898—99 г. г. Автор не был однако вполне ею удовлетворен, и при жизни писателя „сказка" эта нигде в печати не появлялась. (Вошла в т. XXII наст. изд.).

Выше было уже сказано, что В. Г. совершенно не вел дневника в 1900 г. Это — год переезда писателя из Петербурга на жительство в Полтаву. Крайним утомлением, связанным с ликвидацией петербургского периода и об'ясняется, вероятно, полное отсутствие записей в этом году.

Решение покинуть Петербург вызвано было совокупностью многих тяжелых условий столичной жизни, в том числе невозможностью иметь здесь надлежащий досуг и спокойствие для художественной работы.

Впоследствии В. Г. так охарактеризовал в своем дневнике те условия, от которых ушел:

„Мелкие „подлитературные“ дрязги, пересуды, столкновения... — потом цензура, об'яснения с авторами, концерты, чтения, обеды с речами, суды чести, кажется нужные только для того, чтобы портить настроение самим судьям и, пожалуй, сторонам... Одним словом, сутолока и при том довольно бестолковая... Прибавить к этому болезнь (с 96 года) — и четыре года долой из жизни!“

Переселению в Полтаву предшествовала летняя поездка с семьей в область Уральского войска; В. Г. прожил здесь более трех месяцев, раз'езжая по казачьим станицам и работая в уральском войсковом архиве.

Главной целью этой поездки было собирание материала для давно задуманной В. Г. исторической повести из времен Пугачева. Замысел этот по разным причинам остался неосуществленным[1]; впечатления же этого лета были обработаны В. Г. в ряде очерков, рисующих быт современного казачества („У казаков“).

Свое удовлетворение уральской поездкой В. Г. выразил между прочим в письме к С. Д. Протопопову (от 30 сент. 1900 г.):

„Могу сказать, что со времени моей болезни это было еще первое лето, в которое я чувствовал себя самим собой, сделал почти все, что хотел и получил для своей будущей работы очень много“.

В половине сентября В. Г. был уже в Полтаве. В письмах к родным и знакомым он сообщает о приятном

[1] Имеются только два беллетристич. отрывка к этому произведению, озаглавленные „Набеглый царь“ (печатаются в томе XXVI наст. изд.). Собранный В. Г-чем обширный подготовительный материал сохранился в архиве писателя.

впечатлении, произведенном на него этим городом, в некоторых отношениях напомнившим ему родное Ровно.

„Вы знаете мои планы и мечты относительно Полтавы, — писал В. Г. Анненскому в окт. 1900 года, — полная свобода в образе жизни и работе... Время — мое; первый натиск местного общества, с разными запросами и приглашениями читать „в виде исключения" в пользу разных полезных начинаний — отражен с беспримерным мужеством и неприятель отступил. Теперь местное „общество" выражает неудовольствие: приехал, сидит в норе, читать не хочет. А я рад. Постепенно начну заводить связи и знакомства, оставаясь хозяином положения".

„В Полтаве сразу начал работать", записывает В. Г. в дневнике, в начале нового 1901-го года. „Все еще неустойчивость настроения, припадки острой бессонницы, временами, как бы понижение общего жизненного тона. Но в общем сразу лучше. Надеюсь опять овладеть собой, настроением, работой..."

Надежды эти оправдались: уже в январьской кн. „Русск. Бог." за 1901 г. появились рассказы „Мороз" и „Последний луч", в февральской — „Государевы ямщики", в ноябрьской и декабрьской — „У казаков".

Скоро, однако, местная жизнь начинает вовлекать В. Г. в круг своих интересов и пред'являть к нему все возрастающие требования, которые он часто не считает возможным отклонить. Одно из таких требований поставлено было ему жизнью в связи с аграрными волнениями 1902 года. В. Г. рассказал об этих волнениях в своем дневнике. Но он ничего не говорит здесь о той роли, какую пришлось играть ему лично во время последующих судов над полтавскими крестьянами. Свидетельство об этом мы находим в другом месте, а именно в неиздан-

ных очерках „Земли! Земли!“ (т. XXXII наст. изд.)[1], в главе „Суд и закон“.

Из этой главы мы узнаем, что ко времени открывшейся судебной сессии в Полтаве В. Г. невольно оказался в центре всего происходившего.

„Дело в том,— пишет он,— что отголоски некоторой моей литературной известности проникли к тому времени в местную крестьянскую среду, хотя и в довольно своеобразном виде. Меня почему-то считали теперь адвокатом, и ко мне стали приходить кучки крестьян, прося защиты. С другой стороны, кружок адвокатов, как местных, так и столичных, организуя защиту на широких началах и зная с каким интересом я отношусь к местным делам, счел удобным назначить мою квартиру местом для обсуждения вопросов, связанных с защитой“.

Далее автор говорит о возникших в адвокатской среде разногласиях в связи с выяснившейся невозможностью касаться на суде действий администрации (эти действия выразились в жестоких порках, произведенных губернаторами над крестьянами). В Харьковском суде уже произошли на этой почве бурные эпизоды: председатель резко останавливал защитников, пытавшихся доказать, что крестьяне уже раз понесли наказание. Тогда защитники демонстративно покинули зал судебных заседаний.

Теперь и в Полтаве возник вопрос как поступить в подобном случае, продолжать-ли защиту каждого подсудимого по существу или последовать примеру Харьковских адвокатов. „При этом обратились и к моему мнению“, пишет В. Г. „Для меня не было ни малейшего

[1] Часть этих очерков печаталась после смерти писателя в журнале „Голос Минувшего“ (1922 г. №№ 1 и 2).

сомнения, что огромное большинство подсудимых крестьян желает защиты по существу, и я сказал, что на мой взгляд желание самих подсудимых играет здесь решающую роль. Эта точка зрения была принята. После этого кое-кто из столичных адвокатов охладели к делу, а мне было предоставлено направлять мужиков ищущих защиты к представителям местного кружка защитников...“

„В эти дни моя передняя, кухня и кабинет густо наполнялись мужиками. Интересуясь характером движения, я опрашивал их, записывал наиболее характерные эпизоды и давал записки к Е. И. Сияльскому и другим местным адвокатам. Таким образом в Полтаве бурных сцен в суде не было. Защитники ограничивались протокольным протестом против стеснения судебного следствия, но защиту продолжали. Может быть это отразилось отчасти на смягчении судейского настроения и приговоры получились сравнительно мягкие. Многие подсудимые были неожиданно оправданы...“

Мы привели здесь эту выдержку, как дополняющую записи дневника, посвященные аграрным волнениям в Полтавской губ.; в то-же время она характеризует те отношения, какие с первых-же лет установились у В. Г. Короленко с местным населением, неизменно прибегавшим к нему за советом и защитой во все трудные и грозные моменты жизни в течение двух десятилетий.

Что касается отношения к „неблагонадежному“ писателю местной администрации, то свидетельство об этом читатель найдет в самих дневниках. Характерно, между прочим, то обстоятельство, что в разгар крестьянских волнений уездной полицией распускались слухи, будто одним из главных виновников всей смуты — является Короленко.

„Есть в Полтаве такой Короленко — все от него!“ (Письмо В. Г. к Ф. Д. Батюшкову от 29 апр. 1902 г.)

Той-же весной 1902 г., когда происходили крестьянские волнения, произошел и известный инцидент с неутверждением академических выборов Горького, в результате — В. Г. Короленко и А. П. Чехов сложили с себя звание почетных академиков. Описание этого инцидента дано В. Г-чем в дневнике 1902 г. Здесь, однако, не говорится о поездке, совершенной В. Г. в связи с этим событием в Ялту к Чехову (с 23 по 28 мая), при чем писатель посетил в Гаспре больного Толстого.

„С Толстым об академии почти не говорили (я этого и не хотел)“, писал В. Г. 28 мая Ф. Д. Батюшкову, „но очень интересно провели часа три. Удивительный старик. Тело умирает, а ум горит пламенем“.

О своей беседе с Толстым на тему об аграрных беспорядках и эпизодах террора В. Г. рассказал в одной из глав упомянутых выше очерков „Земли! Земли!“ (См. также статьи о Толстом в т. XXIV наст. изд., где эта глава перепечатана).

1903-й год, ознаменовавшийся Кишиневским погромом, принес В. Г. и большое личное горе: весной этого года умерла его мать, долго и тяжело перед этим болевшая.

„...Это теперь нависло тенью над всеми нами“, пишет В. Г. о безнадежной болезни матери, своей свояченице П. С. Ивановской (письмо от 16-го апр. 1903 г.). „Правда ей 70 лет, и все, что должно случиться естественно и неизбежно. Но все таки очень тяжело и то, что придется расставаться и *как* расставаться“.

Эвелина Осиповна Короленко умерла 30 апр.

Через три недели после ее смерти В. Г. писал Ф. Д. Батюшкову:

„Все связанное со смертью мамаши теперь уже как бы ликвидировано, но только — осталась, я думаю на всю жизнь с одинаковой свежестью, болящая пустота. Конечно, мы были подготовлены и горечь этого сознания, распределенная на продолжительное время, — притуплялась. Но только, когда все это кончилось, я почувствовал сколько горя в этом, ставшем совершенно неизбежным конце"...

Тяжелым душевным состоянием, вызванным зрелищем страданий матери и ее смертью об'ясняется, вероятно, то обстоятельство, что в начале 1903 года В. Г. не возобновил дневника. Как уже было сказано ранее, записи в этом году имеются только в июне. В этом месяце (с 9-го по 16-е) В. Г. ездил в Кишинев, чтобы ознакомиться на месте с обстоятельствами произошедшего там на пасхе погрома. Впечатления этой поездки, занесенные в дневник, послужили В. Г. материалом для его очерка „Дом № 13", первоначальный черновик которого находится тут же, в тетради. Очерк этот, предназначавшийся автором для „Русск. Богатства", не был пропущен цензурой, и появился за границей раньше, чем вышел отдельным изданием в России.

Совершенно неотмеченным осталось в дневнике 1903 г. и такое событие, как 50-летний юбилей писателя, в праздновании которого принимали участие обе столицы и вся провинциальная Россия.

Желание избежать юбилейных чествований побудило В. Г. уехать в начале июля из Полтавы в Саратовскую губ., где он, с котомкой за плечами, совершил пешеходную экскурсию по деревням и монастырям. Впечатления этой экскурсии с большой полнотой описаны В. Г-чем в письмах к жене. (См. письма т. VI).

По возвращении в Полтаву, писатель нашел здесь несколько сот телеграмм и множество писем и адресов, пришедших со всех концов России ко дню его юбилея.

„Многое в этом меня глубоко тронуло и, право, явилось для меня совершенно неожиданным", писал он Ф. Д. Батюшкову „...есть не мало (телеграм) искренних и задушевных, читая которые видишь, что люди писали не фразы... И становится немного страшно: заслужил-ли и заслужишь-ли".

При всем желании писателя совершенно уклониться от всяких личных чествований, ему это не удалось.

В середине ноября в П-бурге состоялось торжественное празднование его юбилея, и по настоянию товарищей-журналистов В. Г. вынужден был на нем присутствовать.

„Все такие чествования, как предполагаемое, суть так сказать долг общественного характера,— писал по этому поводу В. Г-чу Н. Ф. Анненский,— чествуется не только то или иное лицо, но вместе с тем подчеркиваются симпатии общества к тому кругу идей, к тому делу, которому служит чествуемый. И это главное значение всех юбилеев. Сам юбиляр является в известном смысле страдательным лицом и он должен смирению „претерпеть"... Затем специально к Вашему юбилею есть еще одна особенность, его выдвигающая: организуют его 11 периодич. изданий Петербурга. Это первый литературный праздник, так устраиваемый. И неужели же Вы, так горячо всегда ратовавший за единение единомышленной по принципиальным вопросам части журналистики,— расстроите один из первых опытов такого единения!"

В. Г. подчинился общему требованию и согласился „претерпеть".

„Завтра уже чествование", пишет он 13 ноября дочерям из П-бурга. „Чувствую себя кажется, как ты, Сонюшка, перед экзаменами и даже хуже. Начнется это в 1 ч. дня и кончится только ночью. И все время я буду в роде как на выставке".

За главным чествованием последовало, по выражению В. Г., еще несколько „вспышек“ чествований в П-бурге и в Москве, где писатель останавливался на обратном пути в Полтаву.

В письме к дочерям от 23 ноября В. Г. сообщает:

„Юбилей мой, наконец, кажется совсем прошел, и в заключение, — (об этом мне сказали вчера) — газетам запретили писать о нем. Немного поздно...“

В архиве В. Г. Короленко сохранился отрывок без начала, представляющий собою набросок ответной речи писателя, произнесенной им на юбилейном торжестве, 14 ноября, в Петербурге [1]. Приводим ниже сохранившийся отрывок этой речи, характерной для того настроения, каким было охвачено русское общество в годы предшествовавшие первой революции.

В. Г. сказал.

„...Мы, люди печати, в последние годы чувствуем ясно, что к нам направляется, точно прилив — и внимание, и обществ[енные] симпатии.

Журнал, газета, книга — встречаются чутко...

И вот почему даже скромное литературное имя привлекает внимание и служит предметом общественных манифестаций...

Это дань, далеко не покрываемая личностию чествуемого... Это сочувственное движение навстречу литературе, движение общественной мысли и слова навстречу своему выражению...

Для этого хороши все поводы... Сдержанная внутренняя сила находит выходы или сама расширяет их, делая кратеры из небольших щелей...

[1] Нумерация листков (из блок-нота), на которых написана речь, начинается цифрой „5“. В конце рукописи проставлена подпись.

При этом присутствуем мы,—и я именно присутствую при этом, гораздо более, поверьте в качестве свидетеля знаменательного явления, чем в качестве его виновника и создателя ...

Вероятно всякий присутствующий согласится, что положение мое в эти минуты довольно тяжелое...

Тяжесть эта еще усиливается сознанием, что, вследствие разных, указанных выше случайностей российской истории и российской действительности,—я не могу не чувствовать, что проявление общественных симпатий, которых я являюсь центром—могло бы найти более подходящий повод и более достойных об'ектов... Что даже среди моих собратьев сверстников есть люди более меня и с большим талантом делавшие общее дело...

И вот почему я сделал все, что было в моей власти, чтобы уклониться от этого чествования.

Но в конце концов я должен был смиренно подчиниться чисто стихийному движению, избравшему меня своим предметом (жертвой?)

И я подчинился, понимая хорошо, что дело тут не в точной оценке моей личной деятельности, а в том, что русское общество выражает свои симпатии русскому слову и литературе.

Скажу точнее: передовому русскому слову и литературе.

И еще: своим собственным мыслям и ожиданиям...

Дело в том, что русская мысль уже не молчалива и заявляет себя...

Мысль переходит в слово.

Слово-же—ищет также и своего выражения, которое называется делом...

Мысль, слово и дело—это три ступени, по которым двигается история.

И если что я могу приписать себе из всего, что здесь говорилось, то это одно:

Я всегда верил в живую, неумирающую мысль, верил в то, что она жива и в нашем отечестве и стремится к общечеловеческой правде так-же неуклонно, как реки стремятся к океану...

И я верил также в то, что мысль и слово должны осуществить дело правды и справедливости в нашем отечестве. И вот почему начав с печальных воспоминаний, я закончу радостным приветом на ваш привет господа:

Мы верим в одно и то же, одно и то-же любим и на одно надеемся...

И это именно соединяет скромного литерат. работника с обществом...

Наст[оящим] хозяином и юбиляром сегодня является эта наша общая вера.

Пусть-же она явится хозяином и в жизни...

Свободная мысль.

Свободное слово.

И свободные формы для их осуществления в жизни,— таковы пожелания, которыми, без всякого колебания, я обобщаю все, что я здесь слышал и что лишь случайно приняло формы личного чествования писателя".

РУКОПИСИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ ДНЕВНИКА.

1. Тетрадь с пометкой на ярлычке „1898. Заметки для памяти". Шифр В. 28. Описание этой тетради дано в предыдущем III томе дневника. В настоящий том вошли записи с 3 окт. 1898 г. начиная с 84-й стр. тетради.

2. Тетрадь в 1/4 листа в твердом переплете без надписей. На внутренней обложке шифр Ред. Комиссия — В. 29. В тетради 86 листов; 2 листка вырезаны без пере-

рывов в тексте и нумерации. Автором пронумерованы стр. с 1 по 153, где записи заканчиваются; затем через страницу следует содержание тетради и 8 свободных листков. В конце, на листке внутренней обложки, выписано четверстишие из стих. Пушкина „Желание", а оборотная сторона занята беглим наброском (отрывок разговора) и выпиской из „Записок к „Ист. Петра Вел." Пушкина. Кроме попадающихся между текстом газетных вырезок, на 4-х стр. автором сделаны рукописные наклейки. Между стр. 68—69 вклеен печатный бланк Главн. Управления по делам печати. Тетради содержит дневник 1899 г.: первая запись датирована 11 января 1899, последняя — 29 ноября 99.

3. Тетрадь в 1/4 л. в черном клеенчатом переплете, обернутом листом белой бумаги с надписью „1901". На листке внутренней обложки надпись: „1900—1901. Полтава", при чем первая цифра (1900) зачеркнута. Шифр В. 31. В тетради 88 листов пронумерованных автором. Текст записей (только на лицевой стороне листков) заканчивается на л. 84; 85 занят авторским оглавлением, после которого на 2-х последних листках наклеена газ. вырезка — указ синода об отлучении Толстого. Тетрадь начинается под заголовком „1901 год Полтава", словами: „С осени прошлого 1900 года я переселился с семьей в Полтаву", и содержит подневные записи по 5 марта 1901 г.

4. Такая же как и предыдущая тетрадь в клеенчатом переплете, обернутом бумагой с надписью „1901—1902". Шифр В. 32. На заглавном листке надпись „Заметки (для будущего). 1901 год. (Начало XX столетия)". В тетради 133 листа. Начиная с 2-го листка идет текст дневника, страницы которого пронумерованы автором с 1 по 207. Далее следует 20 пустых страниц, имеющих сбивчивую авторскую нумерацию. В конце тетради —

59 стр. без нумерации. Из них первые 14 заняты: обширной газетной вырезкой (циркуляр министра вн. дел об уличных беспорядках), копией заявления харьковских защитников по аграрному процесу и авторским перечнем содержания тетради. Остальные 45 стр. ничем не заполнены. Тетрадь служит непосредственным продолжением предыдущей (первая дата 7 марта 1901 г.). Со стр. 131 и до конца идет дневник 1902 года, который содержит только несколько обширных записей более крупных событий года, сделанных очевидно несколько позднее, иногда не в хронологической последовательности и без дат.

5. Тетрадь в 1/4 л. в твердом синем переплете с металлическими углами. На ярлычке надпись: „1903. Из поездки в Кишинев. Покуш. на Крушев. О погроме (частью вошло в „Дом № 13"). Дроворубы". Шифр В. 34. В тетради 94 л., из них 4 л. оторваны от корешка. Авторская нумерация доходит до стр. 19, нумерация Ред. Комиссии — до стр. 73, после которой тетрадь осталась незаполненной. Текст начинается записью от 5 июня („Сербский переворот"). В дальнейшем большинство заметок в тетради посвящены впечатлениям поездки в июне 1903 г. в Кишинев (после евр. погрома); самая обширная из них озаглавлена „Дом № 13". После Кишиневских впечатлений имеются только три отдельные записи без дат, занесенные с перерывами в несколько страниц.

ДНЕВНИК

1898—1903

1898 год[1]

Un roman s'est un miroir, qu'on promène le long d'un chemin. Saint Réal[2].

3 октября 98 г. [Петербург]

Перечитываю Гейне[3], — удивительно здоровое чтение. У меня теперь есть очень хорошее средство отличить здоровое чтение от нездорового. Теперь моя бессонница проходит, но нервы все еще болезненно напрягаются[4]. Мне трудно читать некоторые газеты, и одно время в Петербурге я следил за новостями по „Русским Ведомостям". Эту газету я могу читать в периоды наибольшего расстройства. Целые бессонные ночи напролет я проводил за Толстым,— перечитав „Войну и Мир", „Анну Каренину", „Казаков". Теперь читаю то Берне[5], то Гейне, и не могу воздержаться от некоторых выписок[6].

[1] Дневник 1898 г. ведется в тетради с надписью „1898. Заметки для памяти". Предшествующие записи этого года вошли в том III; там-же дано описание этой тетради.

[2] Роман — это зеркало, с которым проходят по большой дороге.

[3] Генрих Гейне (1798 — 1856) великий германский поэт, публицист и критик. Здесь речь идет о его публицистике.

[4] В. Г. заболел острой бессоницей летом 1896 г. в результате переутомления связанного с „мултанским делом", в котором он выступал в качестве защитника. Боссоница эта трудно поддавалась лечению, неоднократно возвращалась впоследствии и значительно подорвала здоровье писателя.

[5] Людвиг Берне (1786 — 1837), знаменитый германский публицист и критик.

[6] Эти выписки часто представляют собою неточное воспроизведение мест, остановивших на себе внимание В. Г.

Между прочим:

„Когда в Амстердамской синагоге проклинали Баруха Спинозу, то трубили в рог, называемый ш о ф а р. Должно быть с этим рогом были связаны какие-нибудь ужасные представления, ибо в жизни Соломона Маймона рассказано, что однажды альтонский раввин вознамерился возвратить его, ученика Канта, к вере отцов, и когда он упорствовал в своей филосовской ереси, раввин пригрозил ему и, показав шофар, мрачно спросил: „Знаешь-ли ты это?" Когда же ученик Канта спокойно ответил: „Знаю, это козлиный рог", — раввин от ужаса упал навзничь" [1].

Сколько еще у нас таких шофаров и сколько наших раввинов упадут навзничь если-бы сказать им: знаю, это козлиный рог.

Или: „Рассказывают, что один английский механик, придумывавший всякие хитрые машины, попытался, наконец, сработать механического человека и успел в этом. Дело рук его могло двигаться и действовать подобно человеку; оно носило в своей кожаной груди нечто в роде человеческих чувствований, не очень отличавшихся, — прибавляет Гейне,— от обычных чувствований англичан, оно могло передавать свои ощущения членораздельными звуками, и слышавшийся тогда шум колес, пружин и рычагов, производил впечатление настоящего английского выговора. Одним словом, автомат был совершенный джентльмен, но чтобы стать человеком ему недоставало только души ... Бедное создание, сознав свое несовершенство, денно и нощно беспокоило своего творца, умоляя даровать ему душу. Эти неотступные мольбы так надоели бедному художнику, что он убежал от своего лучшего произведения. Но человек-машина тотчас же берет лошадей, преследует его по всему материку, неотступно следит по его пятам, иногда ловит его и скрежещет ему в уши: Give me a soul! (дай мне душу!). — Эти два лица,— говорит Гейне,— мы встречаем теперь во всех странах... Одна часть народа изнемогает от своего механического существования и требует себе души, тогда как другая от этого требования претерпевает настоящую пытку, и ни одна из них уже не может успокоиться у себя дома" ...

[1] Сочинения Генриха Гейне в переводе русских писателей под ред. П. Вейнберга, Спб. 1865 г. т. V. „О Германии". (Все дальнейшие цитаты из Гейне приводятся по этому-же изданию).

„Старый Фонтенель был, может быть, прав, когда говорил: „Если бы я сжимал в моей руке все мысли здешнего мира, то ни за что не раскрыл бы ее". Я думаю совершенно иначе. Если бы я держал в руке все мысли этого мира, я, может быть, попросил-бы вас немедленно отсечь эту руку; но во всяком случае не долго держал бы ее сжатою. Я не рожден тюремщиком мысли,— видит Бог! я бы освободил их. Пусть преобразятся они в страшные дела, пусть низвергнутся на все страны, как неистовая вакханалия, пусть порвут своими тирсами самые невинные наши цветы, пусть вломятся в наши больницы и совлекут с одра старый больной мир ... сердце мое обольется кровью и сам я понесу от этого вред. Потому что, увы! — я тоже принадлежу к этому старому больному миру, и справедливо говорит поэт: сколько ни смейся над своими костылями, лучше ходить от этого не станешь. Я болен сильнее всех вас и тем более заслуживаю сожаления, что знаю, как дорого здоровье!.."

„В Гете находили ту связь между гением и физиономией, которой мы требуем от людей замечательных". Гейне (Романтич. Школа 243).

Определение романтизма у Гейне узко и односторонне: романтизм по его мнению всегда символичен: образ у него не покрывает идеи, за ним всегда парабола. Тогда как образ классический покрывает сам себя и за ним ничего более не скрыто: Юпитер есть Юпитер, определенный ясный образ, и его действия означают только, то, что он делал.

Ошибка Гейне в том, что он определял романтизм одним лишь сравнением с классицизмом, забывая, что оба подлежат более общему определению.

„Поэзия наша дряхла,— говорили братья Шлегели,— муза похожа на старуху с самопрялкой; купидон наш — уже не белокурый ребенок, а морщиноватый карлик, покрытый сединами. Чувства наши увяли, воображение высохло. Нам нужно освежиться, нужно поискать забытых живительных источников наивной и простой средневековой поэзии, дабы оттуда брызнула на нас вода жизни". И наш народ, сухой и изможденный, не заставил вторично взывать к себе. Особенно несчастные пересохшие глотки, томившиеся в песчаных степях Пруссии, вдруг пожелали ожить и поюнеть, бросились к чудодейственным источникам, стали пить, глотать, бражничать. Но тут с ними случилась та-же история, что с одной старухой горничной, о которой рассказывают следующее: заметив, что у госпожи ее есть волшебный элексир, молодящий старух, она, воспользовавшись отсутствием барыни, схватила флакон; но вместо того, чтобы отпить несколько капель, хватила сразу половину, отчего вдруг, благодаря волшебному св[ойству] элексира, не только помолодела, но обратилась в крошечного ребенка. То-же самое случилось и с нашим знаменитым Тиком, лучшим поэтом школы: он так много зачерпнул из народных книг и поэтов средневековых школ, что стал совершенно дитятей и дошел до того наивного лепетания, которым так старается восхищаться m-me Сталь. Она сама признается (однако), что ей чрезвычайно курьезно слышать, когда какое-нибудь лицо в драме начинает свой монолог такими словами: „Я, храбрый Бонифаций, и пришел сказать вам" и пр.

„..... Тик представлял образцами младенческие шаги искусства. Он советовал всем подражать младенчеству и благочестию этих произведений, младенчеству, высказывающемуся именно в беспомощности их технической стороны. О Рафаэле тогда не хотели и слышать, об его учителе Перуджино — то же самое; впрочем последнего ставили выше, находя в его произведениях остатки той величественности, полноте которой благоговейно удивлялись на картинах бессмертного Фра Джиованно-Анжелико да Фиезоле. Кто хочет составить себе понятие о вкусе энтузиастов того времени, пусть с'ездит в Лувр, где висят лучшие картины этих старых художников, служившие в то время предметом благоговейного удивления, а если у кого нибудь есть желание познакомиться с массой литераторов, подражавших в то время всевозможным средневековым живописцам и поэтам,— пусть отправится в Шарантон, парижский дом сумасшедших". (205).

Следующий шаг — реакция, обращение к старому.

„..... Ставя высоко старых средневековых художников и удивляясь их произведениям, обыкновенно говорили, что они своим совершенством обязаны тому обстоятельству, что верили в развиваемую ими тему и в простоте своей, чуждой искусства, могли идти гораздо дальше позднейших, неверующих художников,— правда более искусных в технике, но зато лишенных веры. Вера то и производила (в стариках) чудеса... А потому с тех пор художники, смотревшие на искусство серьезно и желавшие подражать неизъяснимому мистицизму древних произведений, решились предпринять странствие к той же Иппокрене, где старые мастера также почерпали свой священный энтузиазм: они отправились в Рим, где наместник Христа должен был молоком своей ослицы укрепить силы чахоточного немецкого искусства — словом, они удалились на лоно едино-спасающей римско-католической апостольской церкви"... (210).

Таким образом началось великое пилигримство немецкой романтической школы в райскую Каноссу: философ Фридрих Шлегель, поэт Людвиг Тик, Новалис, Захарий Вернер, Шутц, Карове, Мюллер... всё это были романтики-протестанты, перешедшие в католицизм.

Романтический „лазоревый цветок", олицетворение тоски по неуловимом и неизвестном, получил начало в романе Новалиса (Гарденберга) [1]. В романе главный герой Генрих Офтердинген, певец, состязавшийся некогда в замке Вартбурге с Клингсором Венгерским (побежденный должен был умереть). Первые главы романа Новалиса показывают нам поэта в Эйзенахе, в отеческом доме.

[1] Новалис (1772 — 1801), поэт, представитель раннего немецкого романтизма.

„Родители заснули, на часах раздается монотонный тик-так; ветер дует в окна, лунный свет повременам освещает комнату"...

„Молодой человек тяжело метался на кровати, думая о чужеземце и его рассказах. „Не богатства,— говорил он себе,— наполнили мою душу такими невыразимыми желаниями,— от меня далеко всякое корыстолюбие. Но мне бесконечно хочется увидеть этот лазоревый цветок, о котором он говорил. Он непрестанно занимает мои мысли, ни о чем другом я не могу думать... Мне кажется, что вся жизнь моя была только сном, что я заснул в другом мире и теперь только пробудился. В мире, в котором я живу обыкновенно, кто станет заниматься лазоревым цветком? Кто в этом мире когда либо слышал, чтоб цветок мог внушить живую страсть?" [1]

Такими словами начинается „Генрих Офтердинген". Роман Новалиса превосходно выразил романтическое томление,— но и автор и герой его ошибались, думая, что страсть, внушаемая лазоревым цветком, есть страсть живая. Это страсть бесплодная, бледная и сомнабулическая, как цветок, выросший лишь на лунном свете!..

Афоризм:

„Люди обыкновенно скоро забывают имена своих благодетелей; имена людей честных и добрых, трудившихся для блага своих сограждан, редко раздаются в устах народа, и его тяжелая память хранит только имена притеснителей, да лютых героев войны. Дерево человечества забывает молчаливого садовника, который берег его от холода, поливал, чтобы оно не засохло и защищал от вредных насекомых; но оно верно хранит имена, вырезанные на коре его острою сталью, и, возрастая, передает их будущим поколениям (321).

Гейне очень презрительно относился к провинции.

„Под Францией,— писал он,— я разумею Париж, а не провинции; потому что то, что думает прозинция, такая-же пустая вещь, как то,

[1] Гейне. „Романтич. Школа", т. V стр. 301.

что думают наши ноги. Средоточие наших мыслей находится в голове. Мне говорили, что французские провинциалы — хорошие католики. Я не могу ни утверждать, ни отрицать это; люди, которых я видел в провинции, все были похожи на верстовые столбы, на лбу которых было обозначено их большее или меньшее удаление от Парижа" (378).

(О Германии).

10 октября 1898

Людвиг Берне говорил Гейне при свидании во Франкфурте в 1827 году:

„С приобретением собственности и притом приобретением ломким — являются страх и рабство. Еще недавно я имел несчастие приобрести отличный чайный сервиз; чайник был удивительно красиво вызолочен, на сахарнице было изображено супружеское счастие в виде лобызающейся четы, на одной чашке — башня св. Екатерины, на другой — гауптвахта, на остальных — всё родные ландшафты. Теперь я постоянно мучусь мыслию, что мне придется бежать. Как тогда я успею упаковать все эти чашки и особенно большой чайник... Да, мы, люди, странные чудаки! Тот самый человек, который, для сохранения свободы в мнениях рискнет, может быть, спокойствием и радостию своей жизни, и даже самою жизнию, не захочет потерять какие-нибудь две-три чашки, и, чтобы сохранить свой чайник, останется безмолвным рабом. Право, я чувствую, как этот проклятый фарфор давит меня в то время, как я пишу: я становлюсь таким кротким, таким осторожным, таким боязливым...

В конце речи Берне добродушно засмеялся и воскликнул:

— Но я еще достаточно силен для того, чтоб разбить мои фарфоровые оковы, и пусть только попробуют разгорячить меня, красивый вызолоченный чайник полетит в окно вместе с сахарницей и супружеским счастием, и башней св. Екатерины, и гауптвахтой, и родными ландшафтами, и я снова сделаюсь таким же свободным человеком, каким был прежде". („Людвиг Берне" кн. I, 160).

Очень скоро Берне доказал это и действительно выкинул за окно свои фарфоровые оковы.

Вообще, в этой части своих воспоминаний на Гейне видимо пахнуло искренностию и вообще настроением

его молодости: фигура Берне нарисована живо и чрезвычайно симпатичными чертами, несмотря на то, что сквозь рисунок проглядывают суб'ективные черты Гейне: высокомерие поэта и художника по отношению к политику. „Поэты — не политики", — говорил впоследствии Бисмарк [1], большой поклонник Гейне, когда при нем упрекали память последнего в том, будто он принял пенсию от Гизо [2]. — „К тому-же, — добавил он, — я сам дал-бы пенсию такому поэту, как Гейне".

Несомненно, что „политика — часто враг поэзии. Она сушит, она озлобляет, она заставляет прокалывать всех людей булавками гражданского негодования и рассаживать их в коллекции, классифицированные по слишком узкому принципу: чудесная бабочка окажется рядом с отвратительной гусеницей не потому, что они стадии одной и той же эволюции, а потому, что на крыле у бабочки и на брюхе гусеницы окажутся полоски одних и тех-же „политических цветов" — белого легитимизма или трехцветной республики".

Да, все это несомненно, и вот откуда вражда Гейне к Берневскому типу: сам поэт был вовлечен в политику, сам он писал такие же кровожадности [3], в которых потом упрекал Берне, сам готов был булавкой гражданского негодования проколоть даже великого поэта — Вольфганга Гете. Но поэт, наконец восстал против политика, тем более, что Гейне не мог не чувствовать, при всем своем художественном высокомерии, — что он, как политик, гораздо ниже Берне. У Берне все было цельно и искренно.

[1] Бисмарк (1815 — 1898), германский канцлер.

[2] Гизо (1787 — 1874) французск. историк и госуд. деятель.

[3] См. например, его пророчества в книге о Германии относительно предстоящей германской революции, перед которой даже французская покажется жалкой шуткой. (Прим. В. К.)

У Гейне — много поэтических декораций. Ни Гизо, ни Бисмарк никогда-бы не выразили желания дать пенсию Людвигу Берне, потому что — да об этом просто не могло быть и мысли. Вообще, „Парижские письма“ Берне, несмотря на все высокомерные выходки Гейне против их стиля и их настроения — живут так-же долго, как и соответствующие произведения самого поэта-критика. И особенно, на нас, русских, спустя почти три четверти века,— от книги Берне веет всею едкостью нашей современной политики, и при всей узости этого настроения — также и глубокой, искренней, подымающей нотой гражданского негодования. Пока люди сидят в тюрьме,— естественно, что их кругозор ограничивается ее стенами, а их лучшие истинно человеческие стремления — обращаются на то, чтобы сломать в тюрьме решетку. Иногда поэтам сами тюремщики предлагают прогуляться по лугам и полям (порой на длинной цепочке). Ну, что-ж, остальные заключенные не все осуждают за это поэтов. Но и не все поэты принимают предложение,— это тоже естественно... Потому что бывают времена, когда поэты, как-то невольно, делаются политиками и порой совершенно искренними.

1 августа 1830 года, в письме с Гельголанда Гейне писал:

„... Я снова примирился с морем, и мы снова сидим по вечерам вместе и ведем таинственные разговоры. Да, я хочу совершенно оставить политику и философию и снова предаться созерцанию природы и искусства. Право, все эти мучения и труды совершенно бесполезны... Мир не может стоять на одном месте, но совершает постоянное круговое вращение, не приносящее результатов. Прежде, когда я еще был молод и неопытен..... меня услаждали прекрасные стихи Байрона:

„Волны уходят одна за другою и одна за другою разбиваются и рассыпаются на берегу, но самое море постоянно идет вперед“.

Ах, кто долго смотрит на это явление природы, тот замечает, что ушедшее вперед море снова возвращается в свое прежнее русло, потом снова и так-же порывисто старается опять уйти вперед, наконец, опять малодушно бросается бить отбой, и, беспрерывно повторяя этот маневр, все таки остается на одном и том же месте... Человечество также движется по этим законам природы... Сегодня новый месяц и несмотря на всю тоскливую жажду сомнения, мучащую мою душу, в нее прокрадываются чудные предчувствия. В эту минуту в мире происходит что-то необыкновенное. Море пахнет пирожками, а тучи прошедшею ночью глядели так печально, так сумрачно. В час вечерних сумерек я бродил одинокий по берегу. Вокруг царствовала торжественная тишина. Небо походило на купол готической церкви... Волны шумели; бурные песни вылетали из них, то разражаясь болезненно-отчаянными звуками, то исполняясь великого торжества. Надс мною проносился воздушный караван белых облачных призраков, которые были похожи на людей, шедших в печальной процессии с преклоненными головами и глубокомысленными взорами. Они как будто следовали за чьим-то гробом. Кого хоронят? Кто умер? — спрашивал я себя. Не великий-ли Пан умер".

Это письмо помечено 1 августа, а 6 августа Гейне пишет восторженный привет июльской революции. В то время, как море и небо, в чудной картине, веяли на него похоронной процессией — в Париже народ (море) еще раз двинулся вперед и похоронил средние века в лице последнего из царствовавших Бурбонов. Грешный человек,— я не верю в предчувствия и мне сильно кажется, что чудесная картина явилась в воображении Гейне уже после того, как пришли газеты... Может быть, я и ошибаюсь, но мне кажется даже, что в ней два ясных напластования: одно —„предчувствие" июльской революции и похорон прошлого,— другое (жареные пирожки, которыми пахнет море) — позднейшая ирония поэта Гейне по адресу политика — Берне. Он предчувствовал во 1-х, что в то время, когда он слушал прибой в Гельголланде,— народное море Парижа хоронило прошлое Франции. И во вторых — он предчувствовал еще, что „море оста-

нется на одном месте", что глупому морю только чудится запах жареных пирожков. Слишком уж сложное поэтическое предчувствие, и мне очень интересно, существует ли историческая критика этих писем из Гельголланда, вставленных поэтому между 1-й и 3-й частями его воспоминаний о Берне, много лет спустя, как они были написаны. Во всяком случае — эти письма — апофеоз поэтического темперамента своему таинственному предвидению и ирония поэта по адресу политика. Кончаются письма („девять лет спустя") скептическими замечаниями:...

..... „серебряные волосы, которые в моем воображении так величественно развевались по плечам Лафайета[1], героя обоих миров, превратились, при близком рассмотрении, в парик коричневого цвета, скудно прикрывающий узкий череп"...

Все остальное изменилось соответствующим образом.

Еще очень красивое место из тех-же писем с Гельголланда:

„В то время, как войско короля герулов сражалось с лангобардами, король герульский спокойно сидел в своей палатке и играл в шахматы. Он грозил смертью каждому, кто принесет ему весть о поражении. Часовой, который, сидя на дереве, следил за ходом битвы, постоянно кричал: „Мы побеждаем, мы побеждаем!" Наконец он произнес с громким стоном: „Несчастный король, несчастный народ герульский!" Тогда только король заметил, что битва проиграна, но было уже поздно, потому что лангобарды в то-же время проникли в его палатку и убили его."

Эту историю из Павла Варнефрида автор читал, когда с материка получился толстый пакет с газетами, в которых было известие о падении Карла X.

[1] Маркиз Лафайет (1757 — 1834) знаменитый франц. политическ. деятель, участник великой революции.

„Он так же, как и король герулов, сидел за шахматами, когда победители вторглись в его палатку... Он никогда не хотел слушать правду. Он преклонял слух только ко лжи своих придворных. Они постоянно восклицали: „Мы побеждаем, мы побеждаем". С глубоким удивлением оглянулся он вокруг себя, когда Journal des Débats, как некогда вестник короля герулов, внезапно воскликнул: „Malheureux roi! Malheureuse France!"

С тех пор герульские короли совсем перевелись в Западной Европе, или вернее — перевелись такие вестники. Чтобы вместе с восклицанием „несчастный король!" — не слышать также восклицания: „несчастная страна" — все зап.-европейские народы заставляют вестников тревожить слух королей всякими вестями, — хотят ли они или не хотят слушать. Иногда бедным королям не дают даже спать, и это тем более досадно, что и распорядиться то приходится совсем не им. Герульские короли теперь живут еще только на востоке Европы... К одному — бедному падишаху, — правда лонгобарды уже врываются в палатку. Но зато другой слышит все еще крики вестника: „Мы побеждаем! Мы побеждаем!" Порой, — эти крики поддерживают даже, для удовольствия последнего из герульских королей в Европе — даже некоторые хитрецы из стана лонгобардов!

— „Ах, — говорил Берне, вздыхая. — Как путник в жаркое летнее время тоскует по свежей прохлаждающей воде, так часто я тоскую по свежим прохлаждающим глупостям, которые могут только цвести на почве нашей отчизны. Это такие глубокомысленные, такие меланхолически-веселые глупости, что сердце ликует при виде их. Здесь, у французов глупости так сухи, так поверхностны, так рассудительны, что не доставляют никакого удовольствия тому, кто привык к лучшему. Вот почему во Франции я с каждым днем буду становиться сердитее и печальнее и наконец умру. (Книга III, 248).

Это место удивительно свежо теперь для нас: какие сочные, веселые глупости приходится нам теперь читать

в родной прессе. Но только на родине-то именно эти фрукты не так вкусны: их приходится есть из-под цензурной палки.

Удивительна также грустная параллель между тогдашним временем для Германии и теперешним нашим в следующем сне. Какой-то ремесленник, побывавший в Америке, рассказывал Берне что в сев. американских городах по улицам ползают очень большие черепахи, у которых на спинах написано мелом, в какой гостинице в какой именно день оне попадут в суп à la tortue... И представьте, говорил Берне, что ночью я вдруг увидел во сне моих друзей немецких патриотов, превращенных в таких же черепах; они спокойно ползали взад и вперед, а на спине у каждого точно также было большими буквами обозначено, в какой день и в каком именно месте его бросят в проклятый суповый котел (249).

Гейне: „Глупость моих ближних никогда не умрет, потому что мудрость существует только в единственном числе и имеет свои определенные границы, а глупостей — тысяча и все они безграничны. Ученый юрист Шупп говорит даже, что на свете дураков больше, чем людей" (Путев. карт., Книга Легран, 216).

„Камень тяжел и песок есть бремя, но гнев дурака тяжелее того и другого". (227).

Под конец, художник-портретист опять берет у Гейне перевес над антагонистом политика — поэтом, и из под его пера опять встает образ настоящего Берне.

„Он — великий боец, который так мужественно бился на нашей политической арене и стяжал себе, если не лавровый, то уж конечно дубовый венок". (269).

Раньше Гейне насмехался над „Парижскими письмами“:

„Боже мой! Какие страшные обороты речи, какие преступные глаголы! Какие революционные винительные падежи, какие повелительные наклонения, какие антиполицейские вопросительные знаки“.

И затем поэт удивляется и иронизирует. Теперь же он пишет:

„Парижские Письма“ в отношении к слогу стоят гораздо выше, чем прежние сочинения Берне, в которых короткие периоды вызывают невыносимое однообразие и доказывают почти ребяческую беспомощность. Эти короткие периоды больше и больше пропадают в „Парижских письмах“, где необузданная страсть порывисто переходит в периоды более обширные, более полные, и где они, достигнув колоссальной величины, катятся, прекрасные и законченные, как будто в постройке их участвовало высшее искусство“.

Статья же о Менцеле-французоеде — это уже

„светлое озеро, в котором небо отражается со всеми своими звездами, а дух Берне плавает на нем, как прекрасный лебедь, спокойно стряхивая с себя оскорбления, которыми чернь пачкала его белые перья“ (273)...

И при этом...

„из его сердца вылетают трогательнейшие безискусственные звуки патриотического чувства — вылетают точно стыдливые признания, которых человек уже не может удержать в последнюю минуту своей жизни и которые представляют скорее рыдания, чем слова. Смерть стоит тут-же и кивает головой, как неопровержимый свидетель правды этих признаний!“

„Да, он был не только хороший писатель, но и великий патриот!“ (282).

12 октября 98

Сегодня баронеса[1] рассказывала Н. К. Михайловскому[2] анекдот, или вернее действительное происшествие, пре-

[1] Баронесса Варвара Ив. Икскуль фон Гильденбанд, жена дипломата, вращавшаяся в петербургских литературных кругах. Занималась филантропической деятельностью и издавала дешевые книжки для народа.

[2] Н. К. Михайловский (1842 — 1904 г.), знаменитый публицист, критик и социолог, редактор „Русского Богатства“.

красно характеризующее настроение и государственную мудрость настоящей минуты. Произведен у какого-то молодого человека обыск. Ничего предосудительного не найдено, кроме писанного листка, в котором говорится, что никакие заговоры и конспирации теперь не могут иметь силы и значения: революционных элементов в обществе мало и т. д. В виду этого автор или авторы полагают, что теперь лучше всего ... легальная деятельность. Необходимо твердо стать на почве закона и отстаивать всякое право и законность. Это рассказывал сам министр Горемыкин.

— Ну, что-же—сказали ему,— молодого человека отпустили с похвалой?

— О нет! Разве вы не понимаете, что это-то и есть самое опасное. Мы сами знаем, что с заговорами мы теперь справимся; а вот эти попытки легального протеста. Это теперь самый опасный лозунг.

Роковое „самоотрицание" существующего порядка в этом эпизоде высказывается ясно: Закон — воля самодержца, об'явленная установленным порядком,— обращается в революционный лозунг; за него хватаются „неблагонадежные" элементы, а чиновники принимаются его преследовать. Еще несколько шагов в направлении этого рокового парадокса, и у нас создастся и „верноподданная его величества оппозиция".

„Пусть только случится,— писал Л. Берне в „Менцеле-французоеде,"— что между испанскими якобинцами найдется какой-нибудь математик — и союзный сейм тотчас-же запретит у вас логарифмы". У нас достаточно найти несколько раз при обысках свод законов, чтобы об'явить эту книгу „из'ятой из библиотек". Впрочем, уже и теперь том I свода законов — стоит на счету книги неблагонадежной. Вот что значит руками преграждать течение

реки и вот когда, кажется, начнется „настоящее“, т. е. вместо борьбы изолированных кружков молодежи и радикальных разночинцев — мы получим наконец борьбу общества, которое не может-же, наконец, существовать вне закона [1].

14 октября 98

В сегодняшнем № „Спб. Ведомостей“, со слов „Русского Труда“ рассказывается маленькая проделка Грингмута, арендатора „Моск. Вед.“ и столпа российского консерватизма. До сих пор еще наш консерватизм так связан с субсидиями и пособиями, что от них до мошенничества и хищения один только шаг. Недавно (года два) контроль уличил князя Мещерского в шашнях самого неблаговидного характера с железно-дорожными об'явлениями. Теперь Грингмут пойман на дрянном плутовстве с пересылкой газет в железнодорожные киоски. Этот господин ухитрился как-то взять без торгов книжную торговлю в киосках нескольких жел. дорог за бесценок. Но и этого ему показалось мало: на днях составлен протокол, раскрывший организацию тайной, бесплатной пересылки газет и книг, без оплаты железнодорожного тарифа или почтовых расходов. Оказалось, что непосредственно уличен брат Грингмута, действовавший в качестве его главного распорядителя и поверенного.

В этом же году Симонов (нынешний председатель Астраханского суда) передавал мне, что он лично вел

[1] Современное положение вещей внушило В. Г. идею его сказки „Стой солнце, не движись луна!“ Сказка эта, представляющая собою политическую сатиру в духе Щедрина, была закончена в 1899 г. и предназначалась для заграничных изданий. Однако, автор не был ею вполне удовлетворен и вещь эта при жизни писателя нигде в печати не появлялась. (Вошла в т. XXII наст. изд.).

следствие в Москве о растрате Гиляровым-Платоновым[1] денег, собиравшихся в то время на „братьев славян". Факт растраты установлен, но дело прекращено под значительным давлением тогдашнего ген.-губернатора — по причинам чисто формальным[2].

Недели две назад я слышал, что в Петербурге появился некто Медведский[3]. После его доноса на „Русское Богатство", подкладка которого разоблачена Михайловским[4] и подхвачена зло и остроумно Бурениным,— он был удален даже из „Русского Вестника" и приютился в „Моск. Ведомостях". Теперь он „разошелся" с редакцией, приехал в Петербург и юлит около „либеральных" редакций, предлагая какие-то „разоблачения" относительно недавних друзей. Пока, кажется, ему еще не удалось продать эти разоблачения. А материала, вероятно, достаточно! Говорят, будто это он доставил сведения о „железнодорожной" истории Грингмута. Последний, испугавшись

[1] Н. П. Гиляров-Платонов, публицист патриотического направления, издатель газеты „Современные Известия".

[2] „Подробно записано в моем календарике на 98 год" (Прим. автора). В этой записи, занесенной без обозначения даты на стр. 127 — 130 записн. книжки, говорится, что дело о растрате возникло по доносу, сделанному на Гил.-Платонова его бывшей любовницей. „Обвинительный акт был составлен и предание суду должно было состояться непременно, но в это время вмешался всесильный ген.-губ. города Москвы кн. Долгоруков и... „патриот" вышел сух из этой очень грязной воды.— Палата прекратила дело на том основании, что будто растрата есть нарушение доверия, и нужна наличность потерпевшего, т. е жалобщика. (А доносчица жалобщицей считаться не может)".

[3] К. П. Медведский, бывш. сотрудник „Русского Вестника".

[4] Здесь речь идет о политическом доносе, направленном против „Русск. Богатства" и лично против Михайловского; Медведский выступил с этим доносом в своих „Литературно-общественных заметках" („Русск. Вестник" 1896 г.). Ответ Михайловского появился в „Русск. Богатстве" 1896 г. кн. V и IX.

дальнейших „разоблачений", опять вернул Медведского в лоно редакции. Таким образом, консервативная дружина Страстного бульвара опять в полном сборе. Впрочем, это слухи.

Возвращаюсь к Гейне:

„Писатель, говорит он, который желает содействовать социальному перевороту, должен опережать на целое столетие свое время. Наоборот — трибун, намеревающийся произвести переворот политический, не должен слишком отдаляться от масс". („Французские обстоятельства", стр. 183, старое издание).

Гейне описывает ад. В первом ряду жарились католики, во 2-м евреи, в третьем язычники,

„которые, как и евреи, не могут принять участия в вечном блаженстве и должны вечно жариться. Я слышал, как один из них... завопил из своего горшка: „Умилосердитесь надо мною, я был Сократ, мудрейший из смертных, я учил истине и справедливости и пожертвовал жизнию за добродетель". Но дюжий глупый чорт не переставал работать и только проворчал: „Толкуй там, все язычники должны жариться, и нам ни для кого нельзя сделать исключения".

(Путев. карт. Идеи. Книга Легран. старое изд. стр. 149).

Гораций советует писателю „оставлять сочинения на 9 л. в портфеле (nonum prematur in annum)".

„... Я сам не из числа умных людей,—писал Гейне (в книге Легран),— но примкнул к этой партии и уже 5588 лет мы ведем войну с дураками... Правда, что умные не считают меня равным себе, и я часто слышу их скрытое хихикание. Я очень хорошо слышу, но делаю вид, что не замечаю. Сердце мое обливается кровью, и когда я остаюсь один, то начинаю плакать. Я знаю, что мое положение неестественно; все что я делаю, умным кажется глупостью, а дуракам — преступлением.

Они ненавидят меня, и я чувствую тяжесть погозорки: „камень тяжел и песок есть бремя, но гнев дурака тяжеле того и другого". Совершенно справедливо, что я разорвал самые священные узы, потому что мне приходилось (было суждено?) [1] жить и умереть между дураками. И как привольно жилось-бы мне с этими людьми! Захоти я вернуться к ним, они и теперь приняли бы меня с распростертыми об'ятиями... Позвольте мне, сударыня, выронить слезу трогательного волнения! Ах, и я пил бы с ними пунш до тех пор, пока меня посетило бы вдохновение, и тогда они отнесли-бы меня в портшезе домой... один подал бы мне туфли, другой — шелковый халат, третий — ночной колпак, и они сделали-бы меня экстраординарным профессором или президентом миссионерского общества, или директором музея римских древностей. Мое добродушие, моя вера, мое вдохновение могли-бы принести много пользы именно для меня самого. Наконец, мое отличное поэтическое дарование оказывало бы мне услуги в дни рождений и свадеб знатных особ, и было-бы совсем недурно, если-бы в большом национальном эпосе я воспел всех тех героев, о которых мы самым положительным образом знаем, что из их истлевших трупов выползли черви, выдающие себя за их потомков..."

„..... Ах, вее это правда, но что же мне делать, когда у меня эта несчастная страсть к разуму! Я люблю его, несмотря на то, что он не отвечает мне тем-же"... (Ib. 226 — 229).

„Я право не знаю, стою ли я, чтобы когда-нибудь украсили мой гроб лавровым венком. Поэзия, как ни любил я ее, была для меня всегда лишь священною игрушкою или освященным средством для небесных целей. Я никогда не придавал большой цены славе поэта и хвалить-ли или бранить будут мои песни,— это меня мало беспокоит. Но я желаю, чтобы на гроб мой положили меч, потому что я был храбрым солдатом в войне за свободу!" („Италия" 120).

20 октября 98

Третьего дня умер Полонский [2].

Сегодня я был в Цензурном Комитете. Там только что отслужили панихиду, попы ушли, но запах ладона струйками носился еще по большим комнатам, заваленным

[1] Замечание В. Г.

[2] Я. П. Полонский (1820 — 1898), поэт.

трупами погибших изданий. Цензора были еще в мундирах. Полонский был — их, служил сначала в иностранной цензуре, а потом переведен в главное управление, говорят — „для усиления пенсии".

Испортив себе не мало крови (у нас цензор вычеркнул больше 3-х листов в этом месяце), я получил какое-то предубеждение против покойника. Как можно было писателю, настоящему писателю, каков был Полонский, начинавшему в добролюбовское время, написавшему много стихотворений, по нынешнему времени совсем не цензурных — служить в цензуре? Старые писатели это как-то мирили. Щербина [1] писал когда-то:

„В этом управлении
Служба мне — не манна!
В этом положении
Жутко мне и странно!.."

И однако — служил. Никитенко [2] был уже заправский цензор, служивший много лет и отводивший душу в (превосходном, правда) дневнике. Служил и Майков... [3] Полонский дожил до того времени, когда это уже нельзя было делать с такой непосредственностью. К тому-же он не был ни олимпийцем, как Майков, ни чиновником как Никитенко. Г. И. Успенский [4] рассказывал, что, когда он познакомился с Я. П. Полонским,— он был радикал. Через некоторое время Г. И. приехал, кажется, в Новгород и там, на улице повстречалась ему коляска. В коляске сидело семейство железнодорожника Полякова

[1] Н. Ф. Щербина (1821—1869), поэт.

[2] А. В. Никитенко (1804 — 1877), писатель и цензор, автор известного дневника „Моя повесть о самом себе и чему свидетель в жизни был".

[3] А. Н. Майков (1821 — 1897), поэт, состоял председателем комитета иностранной литературы.

[4] Г. И. Успенский (1840 — 1902), писатель.

(кажется) — и одетый щегольски Полонский. Он наклонился из коляски и крикнул трусившему на ваньке Успенскому:

— Все об'ясню после!

Тогда даже присутствие Поляковых не препятствовало поэту „об'яснять" „компрометирующее" обстоятельство. Полонский, кажется, учительствовал в этой семье. Но все же учительствовал, не помышляя о цензуре.

В цензуру он попал после...

В 2 часа я был в его квартире: скромная квартирка, на углу Надеждинской и Бассейной, в 4 или 5 этаже. Бедняга уже с больной ногой подымался по этой лестнице. Скромная передняя с огромным шкафом, простая мебель,— и посередине небольшой гостиной — навсегда успокоившийся Я. П. Полонский,—маленький, сморщенный и набальзамированный. Неважный хор пел со святыми упокой или что-то в этом роде... В передней и в комнате — фигуры писателей. Пьяный Фофанов [1] держит свечу, подняв ее, как факел, и делает какие-то жесты, не то аффектированные, не то сумасшедшие. Эффектная фигура Далина-Линева [2], старик Ламанский [3], Михайловский, Венгеров [4], и наконец — М. П. Соловьев, — начальник Главного Управления.

После панихиды я шел с Венгеровым. Он рассказывал, что Полонского в цензуре держали в черном теле: он был младшим цензором иностранного отделения и всячески отказывался от перевода в Главное Управление. Говорят, написал Соловьеву несколько резких

[1] К. М. Фофанов (1862 — 1911), поэт.

[2] Д. А. Далин-Линев (род. 1852 г.), публицист и беллетрист, сотрудник „Биржевых Ведом." и др.

[3] В. И. Ламанский (1833 — 1914), академик, славист.

[4] С. А. Венгеров (1850 — 1920), критик и историк литературы.

писем и, вообще, в глазах писателей он в последние годы был „цензором“, в глазах цензуры — все таки плохим и ненадежным чиновником, тянувшим за литературу. Бедный Полонский, бедный Кузнечик-музыкант, бедный русский поэт! Венгеров говорит, что в квартире Полонского нельзя было упоминать самого слова цензура! Это была боль последних годов его жизни...

Я видел его один раз в жизни, в Нижнем-Новгороде, лет 10 назад. Тогда он произвел на меня впечатление довольно бесцветное...

Когда панихида кончилась,— у гроба осталась еще небольшая кучка людей; тут я увидел Григоровича [1] и М. П. Соловьева... Сухой старик в мундире, несколько мрачной и жесткой бюрократической наружности. Он ходил кругом гроба, развертывал ленты венков, как бы цензуруя надписи.

22 окт. 1898

Месяца два назад, священник Н. Н. Блинов [2] выступил на X с'езде естествоиспытателей и врачей, а затем с отдельной книгой „Языческий культ вотяков“ с доказательствами наличности человеческих жертвоприношений... Книга бездарная, бессмысленная и совершенно изуверская, полная заведомых искажений. В письмах ко мне Блинов изображает себя „шестидесятником“ („загнали нас шестидесятников в угол“), а в книге старается доказать, что вотяки поклоняются лишь мрачным демоноподобным божествам, требующим и получающим человеческие жертвы. В части теоретической — он доказывает, что

[1] Д. В. Григорович (1822 — 1899) известный писатель-народник.

[2] Н. Н. Блинов, вятский священник. В связи с „мултанским делом“, в котором Блинов являлся сторонником обвинения, между ним и В. Г. Короленкс возникла переписка. (См. „Письма“ т. IV и V).

вотяки буддисты, но кроткий Будда у них превратился в „страшного бога". Как „знаток местной жизни" — он рассказывает чудовищные „случаи", без всякой критики повторяя дикие росказни урядников во время мултанского процесса. Мне пришлось опять взяться за перо по этому делу. Это все еще очень волнует и раздражает меня, и к концу этого месяца, после двух статей [1] — чувствую, что мне опять хуже, хотя до бессонницы дело все еще не дошло. У этих людей существует предрассудок — будто всякое язычество только и состоит в преклонении перед мрачными силами природы. Между тем, язычник-индус еще до буддийского периода создал следующее стихотворение, в котором уже видно искание единого бога:

Тот, кто дает нам жизнь, кто дает нам мощь,
Тот, чьим велениям послушны все боги,
Чья тень — бессмертие, кто сам же и смерть,
Кто тот Бог, которого мы чтим жертвоприношениями?

Он, чье величие возвещают эти снеговые горы,
Это море с его далекими притоками,
Чья длань — небесные пространства,
Кто тот Бог, которого мы чтим жертвоприношениями?

Он — создавший ясное небо и крепкую землю,
Сияние мира и свод небесный,
Измеривший свет сквозь эфирные пространства,
Кто тот Бог, которого мы чтим жертвоприношениями?

Который провидел даже из заоблачных течений,
Этих силодавцев и огнеродцев,
Он — единый Бог, над всеми богами,
Кто тот Бог, которого мы чтим жертвоприношениями?

(Взято из Ольденбурга: Будда, его жизнь, учение и община. Изд. Солдатенкова, 1884) (стр. 14).

[1] „По поводу доклада священника Блинова" („Русск. Бог." 1898 г. № 9) и „Из Вятского края" (подпись Парфен Зырянов) — „Русск. Бог." 1898 г. № 10. См. т. XXVIII наст. изд.

У индейцев Америки есть свой „Великий дух“, у вотяков Инмар, у якута Ани-тойон, не уступающие по существу нашим монотеистическим представлениям. А если у них есть лешие, водяные и т. д., то и у нас их достаточно. Но у нас есть еще худшие предрассудки: мы берем Инмара, или Праджапати, того единого, кому приносятся молитвы и жертвы, и на том лишь основании, что у него другое название,— зачисляем их в разряды демонов.

И вот, в вятском крае начинаются религиозные преследования сотен темных, но искренних людей, христиане являются преследователями, язычество дает своих мучеников,— а „шестидесятники“ в роде Н. Н. Блинова пишут книги, как будто продиктованные духом средневекового демонолога Ремигиуса...

23 окт. 98

Похоронили Полонского,— вернее, проводили на вокзал. Сегодня — пятница, Полонский принимал тоже по пятницам (это, кажется, называлось „поэтические пятницы“). Теперь в церкви говорили, — что это последняя пятница Полонского. Торжественность в эти дни все возростала и похороны вышли уже совсем торжественные: был великий князь Конст. Константинович [1] и Победоносцев [2]. При выходе из церкви я видел две митры. Толпа тоже собралась большая.

Все это было очень торжественно и печально... Мы шли по Литейному, а наперерез над толпой плыл другой белый катафалк, с другим гробом. Повернув на Невский — опять встретили такой же белый катафалк, только

[1] Вел. кн. Конст. Конст., поэт, писавший под псевдонимом „К. Р.“

[2] К. П. Победоносцев, обер-прокурор синода, вдохновитель реакционной политики Александра III и первых лет Николая II.

поскромнее. Потом еще. Точно весь Петербург занят исключительно похоронами. За одним из этих встречных катафалков шло очень мало людей, но я заметил тот час же за гробом — трех девочек гимназисток... Полонский уже отжил свое, он давно уходил также от близких, — и немудрено, что тут вечная трагедия, чисто личная трагедия смерти, тонула в пышности „представительства". Но вид этих трех девочек, шедших за скромным гробом — матери? отца? может быть последнего близкого человека? — как то резче и со свежей болью ставил ту же трагедию.

С Полонским торопились к поезду... Гроб поставили в темный вагон, в роде товарного. Отпели литию и последние звуки „вечная память" заглушил „первый звонок". Публика двинулась к выходу, встречая другое течение: это впустили на платформу пассажиров. Давка, теснота, артельщики несут багаж, пассажиры торопятся, „второй звонок", усиленное движение... С отправкой поезда видимо торопятся. Третий звонок и свисток я услышал уже на лестнице вокзала.

Полонский отправился в свой путь кажется в $2^1/_2$ часа...

Он, как и Тургенев, повидимому очень боялся смерти. Люди этого поколения начинали резким, но недостаточно глубоким отрицанием, потом переходившим в туманный мистицизм. „Молиться, — говорил Тургенев, — значит просить, чтобы 2×2 стало пять". А затем — сначала написал „Призраки", а потом „Песнь торжествующей любви" и наконец „Клару Милич". В последнем рассказе мистическое настроение сказалось уже целиком: после ночного визита умершей Клары в руках у героя остается даже вещественное доказательство — клок волос Клары. В таком настроении — смерть должна быть особенно страшна: это не простое разложение и слитие

с природой, и не „мытарства“, наполненные все таки определенными образами. Это темнота, в которой окажешься наедине с покойником, и этот покойник—ты сам.

„На смерть Тургенева“—Полонский написал, что ни фимиамы, ни пение, ни слезы

„Уж не нужны тому, кто в страшных глубинах
„Вселенной ищет путь к Создателю вселенной“.

Смерть для них „страшная глубина“ и неведомые пути к неведомому Создателю, которого надо где-то отыскивать в страшных глубинах... И вдобавок, может быть, еще он помнит грехи молодого отрицания и кощунства, которого не искупает полуобращение из мистического страха под старость...

„Каждый век думает, что его борьба важнее других. Это вера века, в ней он живет и умирает, и мы будем жить и умрем в нашей системе“. (Гейне, Италия, 115).

„Сердце поэта — центр мира. Как же не быть ему в настоящее время разорванным? Кто хвалится своим сердцем, что оно осталось у него цело, тот доказывает только, что у него прозаическое, отстраненное от всего мира сердце. По моему-же сердцу прошел большой мировой разрыв, и в этом я вижу доказательство, что судьба почтила меня высокою милостию в сравнении с другими и сочла достойным поэтического мученичества“. (Ит. 154).

25 октября 98

Нечто в роде сказки из „Тысячи и одной ночи“. Существует на свете некто Клопов[1]. Был когда-то учителем, потом увлекся статистикой и организовал какие-то частные исследования мукомольного или хлебного

[1] Изложенный ниже эпизод с Клоповы послужил В. Г. материалом для статьи „Суррогаты гласности для высочайшего употребления“, напечатанной в 1903 г. (без подписи) в № 16 журнала „Освобождение“. издававшегося в Штутгарте П. Б. Струве. См. т. XXXI наст. изд.

производства. Сначала какое-то ведомство выдавало на это какие-то суммы, потом стало отказывать. Но от Клопова избавиться было нелегко. Человек не вполне нормальный, но с какой-то дикой настойчивостию, фанатик статистики, которую, впрочем, знает плохо, он стал надоедать высокопоставленным лицам, назойливо, дерзко и со смелостию отчасти фанатика, отчасти сумасшедшего. Он обращался в земства, к частным лицам, в канцелярии — и все таки добивался своего. „Исследования" тянулись, от времени до времени появляясь в виде огромных книг, плотно набитых сырьем цифр и таблиц, без плана и системы... Я видел его несколько раз, в том числе один раз — получив телеграмму: „встретьте такого-то числа на пароходе, важное дело". Телеграмма была из такого места, откуда на пароходе приехать было невозможно, и я понял, что на пароходе Клопов хочет уехать, а не приехать. Пошел по пристаням, и, наконец, счастливая случайность столкнула нас на пристани „Самолет". Он шел, уткнувшись глазами в землю, натыкаясь на пассажиров и носильщиков и, повидимому, не ожидая никакой встречи. Даже когда я его окликнул, он не сразу узнал меня и не сразу вспомнил, что сам меня вызвал. Оказалось, что ему нужны „молодые люди" для исследований. „Я приезжаю, положим, в Саратовскую губ., останавливаюсь в Саратове, а молодых людей рассылаю по радиусам". Я рекомендовал одного, но тот доехал с Клоповым до Лыскова и вернулся с впечатлением, что это сумасшедший.

Как бы то ни было, „исследования по радиусам" тянулись. Когда истощилось терпение официальных ведомств, Клопов проник к великим князьям, сначала Николаю Мих. а потом разочаровавшись,— к Александру Михайловичу. При встречах, он все толковал о том, что

„необходимо действовать через великих князей“,— и все посмеивались. Однако, „исследования“ оживились, Клопов прочно уселся в каком-то министерстве, стал получать жалование в Твери, жил кажется в Туле — и все рассылал по радиусам своих помощников.

И вот, в июне месяце настоящего года,— Клопов был принят уже в Царском селе — царем! Сначала, это казалось просто невероятно, и первые рассказы об этом Клопова были приняты, как простая бляга. Об его сношениях с Александром Михайловичем было известно. По временам он появлялся вдруг с глубокомысленным и торопливым видом, требуя тех или других сведений. Раз я получил записку —„пошлите туда-то два экз. „Голодного года“[1], очень важно“. Это опять было для вел. князя. Казалось, оригинальная фигура фанатика-статистика заинтересовала князя, как выходец из другого мира. Может быть, ему казалось, что „там“, за стенами дворцов — вообще все люди таковы... Но чтобы эта настойчивость могла привести Клопова так далеко,— этого никто не думал.

И вот, все таки совершилось. Ал. М-ч привез статистика во дворец, строго на строго наказал ему не говорить с царем дольше 1/4 часа, отвечать только на вопросы — и конспиративное свидание состоялось. Клопов тотчас же нарушил все приказания относительно дисциплины, говорил 1 3/4, метался, разронял бумаги, которые царь помогал ему подбирать, и — повидимому очень понравился.

Что говорил Клопов царю? Восстановить этот „исторический“ до известной степени разговор чрезвычайно

[1] „В голодный год“. Очерки, возникшие в связи с работой В. Г. на голоде в Лукояновском уезде, весной 1892 г. Вошли в т. XXVII наст. изд.

трудно. Клопов не такой человек, чтобы мог говорить связно или потом связно восстановить свою речь. Повидимому, он сказал следующее: Александр II освободил крестьян, Александр III стяжал имя „Миротворца". Николаю II предстоит освободить Россию от чиновничества. Это теперь банальная ходячая фраза, которую, кажется, я читал даже во взбалмошной книжке взбалмошного Пороховщикова[1]. Что это значит, — „освободить от чиновничества", — этого, конечно, не мог бы растолковать и Клопов. Как пример „бессилия царя" перед министрами, Клопов привел между прочим: „Вот вы приказали выдать мне пенсию и даровые билеты по железным дорогам, а министр финансов и мин. путей сообщения и не подумали исполнить высочайшей воли". Эти „идеи", которые Клопов развернул перед царем, единогласно передаются всеми, кому Клопов рассказывал о своем свидании. Остальное мелькает какими-то обрывками.

Что все это не выдумка — есть вещественное доказательство: в результате свидания Клопов получил предписание, написанное личным ад'ютантом государя, или вернее комендантом дворцовой охраны Гессе, — „произвести по высоч. повелению, частное исследование" в местностях, пораженных неурожаем, и — семь даровых билетов 1-го класса в особом вагоне. Итак, „исследование" все таки производится.

Конечно, теперь многие принимают инцидент очень серьезно: за Клопова схватились и с другой стороны, и через него к Государю посылаются сведения: в Туле

[1] А. А. Пороховщиков, бывший редакт.-издатель газеты „Русск. Жизнь". Здесь речь идет о его брошюре „Самодержавие на святой Руси накануне XX века. Его расхищение, обезличение и восстановление". См. об этой брошюре „Дневник" кн. III, запись под 16 сент. 1895 г.

кружок земцев-дворян, с Бобринским во главе (председатель Богородицкой управы?[1]) произвел очень основательное исследование 4-х волостей, изложенное кратко, сильно и красноречиво рисующее разорение народа. То же сделано относительно некоторых местностей Тульской губ. Была тоже дана Клопову записка, составленная на основании очень солидных данных, относительно общего положения России. Последнюю приписывают В. И. Ковалевскому[2]. А это значит, что на Клопова смотрит серьезно и этот весьма умный карьерист (но Клопов только лукаво мигает глазами: о, он ни капли не доверяет Ковалевскому!). Теперь Клопов, нагруженный, уехал опять для нового свидания в Ливадию!

Интересно, что теперь это все уже секрет полишинеля. Выдавая свое предписание, царь сказал Клопову, чтобы он пред'являл его „в крайних случаях". Клопов пред'явил его „только 12 раз" официальным лицам. Н. Ф. А.[3] был приглашен к Клопову на частное совещание, где были казачий ген. Тутолмин, князь Волконский (внук декабриста), какой-то бравый полковник, еще несколько лиц и... инженер Койшевский, бывший нач. водяной дистанции в Нижнем. Это очень неглупый человек и отчаянный вор, прогнанный со службы года три назад „по 3-му пункту", т. е. без прошения. Не поручусь, что он прогнан именно за воровство. Во всяком случае,— он тоже в числе „чающих"... Н. Ф. А. сообщил все это мне весьма секретно, так как Клопов сам просил держать в страшнейшей тайне. Но вчера, когда я, истерзанный цензурными мытарствами, вернулся домой, тетка встретила меня ра-

[1] Знак вопроса у автора.

[2] В. И. Ковалевский, тов. министра финансов.

[3] Ник. Фед. Анненский (1643—1912) известн. статистик и публицист, член редакции „Рус. Бог.", близкий друг В. Г.

достным известием: „Знаешь, Клопов был у царя, говорил с ним час 3/4...“ — „Постойте, да вы откуда знаете?“ — сказал я, невольно оглядываясь на прислугу, подававшую кушание... У нас, внизу, живет заведомый сыщик, и мне так жалко было доброго царя, которого секреты могли дойти до чьих-нибудь ушей...

— Приехал из Москвы А. П. Ч.[1] и рассказывал.

Действительно, приехал и действительно рассказывал. Он слышал от самого Клопова, но секрета уже не делает, так как сам слышал после с разных сторон.

Ничего из этого, разумеется, замечательного не произойдет, но история в высшей степени знаменательная. „Самодержавный царь“, очевидно, чувствует потребность как нибудь разорвать тесный заколдованный круг бюрократии и придворных. Истинная трагедия состоит в том, что насмешливая судьба подсунула для этого — полусумасшедшего, которому может быть, только его юродство и позволило прорваться через цепь царской охраны... Впрочем, трудно сказать, вышло ли бы что-нибудь более путное, если бы на место Клопова был кто нибудь более толковый. „Освободить от бюрократии“ — сказать легко, но где-же около царя люди, которые бы ему в этом помогли. Для этого нужен — или могучий характер, способный произвести настоящий переворот вокруг своего трона, — или постепенный рост самого общества, которое все подымаясь, наконец, займет свое место. Ведь „освободить от бюрократии“ значит создать самоуправление. А до сих пор его всё только сокращают.

„Не надейтеся на князи, на сыны человеческие“. Писатели подавали „петицию“ с личного поощрения благожелательного царя. В результате — М. П. Соловьев

[1] А. П. Чарушников, книгоиздатель.

и небывалое цензурное давление. Сразу, после вступления на престол, царь ясно заявил свои взгляды на польский вопрос. В результате пустяковый указ о школьной молитве и опала ксендза Рымейко, который напомнил директору Плоцкой гимназии об этом указе.

Все время разговора — царь держался просто, добродушно и, повидимому, очень симпатично. Очевидно, добрый и желающий добра человек,— но каково будет при нем России — это вопрос, так как это, повидимому, от самодержавного царя не зависит ни в какой мере.

26 окт.

Любопытно: Клопов внушает вел. князьям, что они „должны действовать", „должны приносить пользу России" и т. д. На это будто бы Ал. Мих. отвечает ему: „мы-бы рады, но ведь мы ничего не можем. Вот по морскому делу я знаю, по военному тоже. Все мы также понимаем иностранные дела, и вы видите, каким уважением государь пользуется за-границей. Но во внутренних делах мы решительно ничего не смыслим и если-бы я, напр., стал возражать хоть Витте,[1] — он меня тотчас-же собьет, как ребенка на уроке. А ведь и государь учился со мною, и он знает то-же, что я ..."

Без сомнения, все это уже известно министрам, так как, конечно, Клопов пред'являл „высоч. повеление" о производстве исследования (в том числе напр. Казанскому губернатору Полторацкому). Хорошо и положение министров: частное лицо ходит к государю уверять, что его министры — гнусные обманщики, намеренно скрывающие от него истину. Между тем ... намеренно-ли, и знают-ли они ее сами? Что ложь окружает государя кругом — это верно. Но это ложь особого рода, склады-

[1] С. Ю. Витте, изв. госуд. деятель, в то время министр финансов.

вавшаяся исторически, стихийно, из условностей, из обрядов, из бюрократической эволюции, из безсознательного подчинения установившемуся „порядку управления". Эта ложь — своего рода крепость, камни которой уже давно покрылись мхом. Принято думать, что ничтожная часть России — закрывающая для государей остальную Россию — состоит из отдельных лиц, сознательно преследующих известную политику. Между тем, при всем своем ничтожестве — это все таки исторический пласт, обладающий своей собственной формой и силой давления, сплющивающей всякую личность по своему шаблону. Может быть, один Победоносцев и Витте могут считаться действительно ответственными за то, что там происходит. Зато, вероятно, первый — убежденный изувер, второй — действительно очень умный, незаурядный человек. Остальные — ничтожества, принявшие быстро ту форму, какая требовалась средой. Горемыкин [1] — сам законник и „подававший надежды" в этом смысле,— сначала стал Пилатом законности, а теперь уже, с ужасом (может быть, вполне искренним) говорит о ней, как о самой опасной вещи. Мин. путей сообщения — Хилков [2], благодушный мечтатель, искавший в Америке счастья, а может быть и свободы,— теперь сразу принял обще-министерскую окраску и не в состоянии бороться даже с путейским воровством. Ермолов [3] — написавший книгу о современном положении России, в которой высказал совершенно определенные взгляды,— теперь ничем их не выразил и покорно несет общее презрение всей России за ничтожество своей деятельности, на которую возлагалось столько ожиданий... И все потому, что всякий держится за

[1] И. Л. Горемыкин, министр внутр. дел.

[2] М. И. Хилков, министр путей сообщения с 1895 по 1905 г.

[3] А. С. Ермолов, министр земледелия.

портфель и боится только случайной немилости царя или верной немилости „среды", если он проявит какую-нибудь оригинальную и резкую черту.

Кого они обманывают, в самом деле, когда их тоже всякий обманет. Лишь бы этот всякий говорил, что — „все обстоит благополучно" и ничто не грозит их портфелям и их министерским самодержавиям. А под ними — такие-же несчастные самодержцы, начальники департаментов и т. д., по нисходящим ступеням... Недаром Щедрин говорил: самодержавный образ правления, это тот, когда страна управляется столоначальниками. В самом деле: — губернатор — опять самодержец в своей губернии, самодержец до такой степени, что Баранов[1] напр. создавал свои собственные суды, Вятский губернатор в голодный год об'явил свою собственную сепаратную таможенную политику и на границе поставил таможенные кордоны. И опять таки каждым губернатором ворочают приближенные, которые сами ежеминутно все таки трепещут и приспособляются...

И когда теперь начинает в России пробиваться какое-то сознание, что все это смятение, вся эта смута отдельных самодержавий может быть приведена в порядок лишь возвращением прежде всего к какому-нибудь единому самодержавию, т. е. к закону; когда начинают напоминать, что закон — есть кристализованная воля монарха, которой все должны подчиниться; что монархический образ правления не должен быть смешиваем с восточной деспотией, — то весь этот хаос отдельных самодержавий приходит в движение и тревожится. И пожалуй — недаром. Деспотия борется теперь у нас с монархией — и это сущность начинающегося исторического периода. Но люди сколько нибудь проницательные не могут не видеть, что

[1] Н. М. Баранов, нижегородский губернатор.

на установлении „монархии неограниченной“ дело остановиться не может. Логика событий пойдет дальше. В самом деле. Пусть дело дошло до того, что наконец законом в России действительно стала воля единого монарха, и отдельные губернские и уездные самодержцы приведены к повиновению. Хорошо. Но тогда не вступят-ли тотчас-же в конфликт две „воли монарха“. Одна — кристализованная воля всех пред'идущих монархов, лежащая в своде законов Российской Империи, — а их так много. Другая — личная воля данного монарха, как индивидуума, которому в то или другое время приходят в голову те или другие желания. Он — человек, он может чувствовать симпатии и антипатии, на него могут воздействовать те или иные лица (вспомним приключения с Назарьевым, с картиной Репина[1] и многое другое, что описано раньше). Как быть, если личная воля монарха, воля данной минуты — идет в разрез с писанной, об'явленной волей „закона“... „Закон выше меня“ — говорит Александр I у Толстого (в „Войне и Мире“). Это в устах Александра только удобная фраза. Но ей предстоит стать фактом: нужно, чтобы „кристаллизованная воля“ русских монархов, т.е. то, что об'явлено во всеобщее сведение „в установленном порядке“ — стало выше колебаний индивидуальной воли того или другого монарха, не принявшей формы закона. А тогда значит нужно, чтобы, в случае столкновений этих двух „волей“ — русский гражданин отвечал: „Я, ваше величество, стою за ту волю вашу и ваших предков, которую они об'явили через сенат, а вы не отменили. Во имя этой в а ш е й воли я противлюсь вашему капризу“... А это уже начало чисто

[1] Речь идет вероятно о картине Репина „Иоанн Грозный и его сын Иван“ (Третьяковская галлерея) написанной в 1885 г. и снятой с выставки по повелению Александра III.

конституционное. Затем эта „кристаллизованая воля“ может потребовать и компенсации за свое нарушение. Министры будут прикрываться „личными приказаниями“. Отсюда ответственность министров.

В этом лежит логический узел, который придется или развязать, или рассечь русскому самодержавию. Как деспотия — оно бессильно перед хаосом отдельных деспотий. „Освободить Россию от бюрократии“ — значит, усмирить эти деспотии законом. Времена усложнились — и быть фактически неограниченным монархом теперь не в силах был бы даже, вероятно, Петр Великий. Нужно значит, чтобы хаос остановился и русская жизнь получила бы стройное обращение около какой-нибудь неподвижной оси. Это и будет закон. Но нужно примириться с тем, что это движение пойдет в сторону дальнейших ограничений. Петр Великий, если бы он пришел теперь,— понял бы это, сумел-бы „усмирить столоначальников“ и главное — себя самого. И только через это он сам из бессильного деспота превратился бы надолго еще в сильного монарха. Но Петра Великого у нас нет и, кажется, кончился период русской истории, когда монархи стояли впереди прогресса страны. Теперь всего нужно ждать от элементарного политического развития самого общества. Процесс пока — стихийный и тяжелый.

27 октября

На днях в Париже произведено покушение на А. А. Половцева[1]. Грабитель проник в его спальню, пытался убить его, потом захватил деньги и скрылся. Раненый Половцев позвал на помощь, но когда явилась прислуга — грабитель убежал.

[1] А. А. Половцев, член госуд. совета, статс-секретарь.

Однако, его арестовали на другой день, узнали по руке, которую укусил Половцев, защищаясь. Этот грабитель и убийца — сын бывшего виленского генер.-губернатора Гурко. Иностранные газеты, приходящие в редакции — полны подробностями этого происшествия. Но нашим — запрещено сообщать даже фамилию виновника. Теперь говорят, будто другой сын Гурко приехал в Париж и привез брату револьвер... Может быть это уже добавление на французский лад.

1

Уже несколько времени ходят слухи о близости чумы. Она уже в Самарканде. Все газеты и журналы (бесцензурные) получили распоряжение — не говорить об этом ни слова. Опять политика страуса. Необходимо, чтобы болезнь пришла внезапно, застала общество врасплох и чтобы ошеломленный народ опять приписал все докторам и „шмаре“... Ни земства, ни города не делают никаких приготовлений — „чтобы не было тревоги“. Только на границе построили кордоны, в которых врачи, фельдшера и казаки сторожат чуму, чтобы арестовать ее на границе... Одна моя знакомая едет туда. Принц Ольденбургский уже там, теперь едут женщины врачи и отряды фельдшеров...

Как всегда эта молчаливая возня вызывает преувеличенные тревоги: сегодня, говорят, будто чума уже в Таганроге...

31 октября

Вчера появилось в Правительственном Вестнике, а сегодня в остальных газетах сообщение от „Высочайше утвержденной Комиссии о мерах предупреждения и борьбы с чумною заразою“. Чума уже в пределах России,

в кишлаке Анзобе Самаркандской области. В некоторых провинциальных газетах появились подробности: болезнь в этом отдаленном кишлаке занесена, будто-бы, каким-то богомольцем-хаджей. Первый случай смерти был в начале сентября, врач явился 3-го октября. Почти месяц чума, которой ждут уже 2 года, хозяйничала на свободе. К 3-му октября, по официальному сообщению, в Анзобе из 357 жителей умерло 219 (когда чума началась, об этом, конечно, правит. сообщение умалчивает).

Разумеется, политика замалчивания в полном ходу. Все статьи о чуме будет цензуровать сама Комиссия. В. А. Розенберг[1] был уже в этой комиссии — представил заметку, составленную на основании сведений, проскользнувших через провинциальную цензуру. Молодой человек, какой-то секретарь, нашел заметку неудобной и сообщил, что вероятно, цензурному ведомству будет неприятность и за то, что уже появилось в печати.

Из моих знакомых уехали уже „на чуму" две: Роза Абрамовна Брагинская, женщина врач, еврейка и Наталия Федоровна Розенберг, недавно окончившая медицинский факультет за границей и выдержавшая экзамен в Москве,— молоденькая женщина, замечательно симпатичная и скромная. Мы, все ее знакомые, узнали об ее от'езде уже несколько дней спустя после этого от'езда. Вообще, едут многие — многим-ли суждено вернуться.

Анзоб — какая-то горная трущоба, на высоте 2 т. ф. над уровнем моря, населенная, как говорят, каким-то странным племенем, осколком войск Александра Македонского, дожившим до 20-го века, чтобы быть уничтоженным чумою.

[1] В. А. Розенберг, журналист, член редакции „Русск. Ведомостей"

В последние годы много говорят об „историческом материализме“,— доктрине у нас тесно связанной с марксизмом. Молодежь сильно увлекается этой теорией, реакция против узости так называемого „народничества“ здесь соединяется с заманчивой определенностью исторической схемы. Исторический материализм и социально экономическую эволюцию Маркса суют всюду. Один студент рассказывал мне недавно курьез: проф. Исаев [1] на лекции разбирал отношения Онегина и Ленского с точки зрения „классовых интересов“ и отыскивал в них „экономическую подкладку“. Лабриола, римский профессор и приверженец той-же теории экономического, вернее „исторического“ материализма, говорит в своей интересной книге („К вопросу о материалистическом взгляде на историю“): „Под шумом страстей, которыми поглощены повседневные заботы людей, за видимыми движениями стремлений, составляющих материал, на котором останавливаются историки, за правовым и политическим механизмом нашего гражданского общества, вдали от того смысла, который придает жизни искусство — существует, изменяется и преобразуется основная структура общества, поддерживающая все остальное ...“ В этом красивом периоде так и чувствуются „матери“ — силы греческой космогонии, к которым спускался Гетевский Фауст, слепые, где-то вдали под землею определяющие судьбы и движения вселенной. Кажется, это все таки осколки телеологии, хотя и материалистической, и такой-же материалистической метафизики. Сложные явления органической, биологической и тем более социальной жизни —

[1] А. А. Исаев, экономист.

не допускают „единого“ двигателя, и по мере того, как мы захотим упрощать факторы жизни — мы незаметно будем спускаться из области жизни — в подземелья „простейших“ сил-матерей. Сначала черты общества, потом организма будут все отпадать ...

Но даже и Лабриола возмущается неразумными адептами школы, пытающимися применить теорию к таким явлениям, как мораль, искусство и т. д. „Итак, говорит он,— мораль, искусство, наука — только продукты экономических условий? Проявление категорий этих условий? Испарения, украшения, лучи и миражи материальных интересов? Подобные утверждения, высказываемые в таком оголенном и сыром виде, с некоторого времени переходят из уст в уста, являясь удобным оружием в руках противников материализма, пользующихся ими как пугалом. Ленивцы ... охотно мирятся с таким грубым признанием таких заявлений. Какая радость для всех беспечных умов: обладать раз навсегда в небольшом числе положений обобщением всех знаний и иметь возможность проникнуть во все тайны жизни при помощи одного и единственного ключа! Все задачи этики, эстетики и философии свести к единственной проблеме и таким образом избавиться от всех затруднений! Этим способом глупцы могли бы свести всю историю к коммерческой арифметике ...“

Лабриола предвидит, что людям этого умственного типа может придти охота к — „новой интерпретации“ „Божественной комедии“ Данте, — „иллюстрированной фактурами суконных товаров, которые продавались ловкими флорентинскими купцами для получения крупных барышей“ („Essais“ — стр. 242-3).

Очевидно Лабриола угадал, и у нас уже есть попытки иллюстрировать фактурами — Евгения Онегина.

31 октября 1898 года.

I.

На основании ст. 178 уст. о ценз. и печ. св. зак. т. XIV (изд. 1890), министр Внутренних Дел определил: воспретить розничную продажу нумеров газеты „Народ".

II.

На основании ст. 154 уст. о ценз. и печ. св. зак. т. XIV, изд. 1890 г., министр Внутренних Дел определил: приостановить издание газеты „Донская Речь" на восемь месяцев.

„Народ" — газета некоего Стечкина, по слухам бывшего шпиона, человека во всяком случае чрезвычайно сомнительной репутации. Говорят о какой-то негласной субсидии, выдаваемой этому господину министром финансов Витте. Витте во всяком случае умный человек, а это было-бы очень глупо,— никогда газета Стечкина не может стать сколько-ниб. влиятельной, и эта субсидия только скомпрометировала бы министерство. Впрочем, у нас начинают „ценить" печатное слово, но „оценивать" органы, готовые прямо продаваться, еще не умеют. Да и зачем эта роскошь? Есть много готовых органов печати, которые напечатают все, что угодно „из за чести",— раз это исходит от министра. За что потерпела провинциальная „Донская Речь",— еще не известно. Газета — подцензурная. Значит, казацкая цензура оказалась слишком либеральной...

5 ноября 98

С некоторых пор я хожу пешком или езжу на велосипеде на угол Бассейной и Знаменской, где, на углу, беру какую-нибудь небольшую газету,— преимущественно

„Сын Отечества“ — для телеграмм. Сегодня, придя туда часов в 9, я не застал моего знакомого газетчика. Впрочем, он скоро прибежал, запыхавшись, и подал мне № „Сына Отечества“. Оказалось, что сегодня утром произошло большое событие, доставившее газетчикам много хлопот и беготни: „Новому Времени“ запрещена розничная продажа, и теперь приходится обычным покупателям заменять „Новое Время“ другими изданиями.

— Ну, Нотовичу[1], счастие, — говорит старик. — Да как-же. „Нового Времени“ артель брала ежедневно 7200 экземпляров, да мы „Контора“ половину этого числа (у него на шапке знак „Общей (г.г. издателей) Конторы“). Теперь чем заменить? „Новости“, „Газета“ (т. е. „Петерб. Газета“), уж „Листка“ ведь такой господин, который „Новое Время“ читал — не возьмет... Вот если-бы Трубникова „Мировые Отголоски“ не прекратились, — шибко бы стали брать. Теперь всего больше идут „Новости“. Мы брали 260, теперь взяли 600, да еще 300 на комиссию, и все уйдут...

Трубников в своих „Отголосках“ не даром систематически доносил на „Новое Время“, обвиняя газету в безбожии и — неуклонном проведении франкмассонства[2]. Он хорошо чувствовал, что публика „Нового Времени“ — его публика. Полная беспринципность, применение к обстоятельствам, порядочная газетная техника и травля инородцев... Все это было и у Трубникова. Понятно, что он — враг „Нового Времени“. М. П. Соловьев тоже почему то враг „Нового Времени“, — но даже ему трудно бороться с этим левиафаном русской печати.

У газеты Суворина есть хорошее оружие. Некоторые животные, во время нападения на них, в качестве защиты

[1] О. К. Нотович, редактор-издатель газеты „Новости“.

[2] Франк-массонство — конек М. П. Соловьева. (Прим. автора).

выпускают зловонную и вредную жидкость. В трудной борьбе за существование среди цензурных условий — часть нашей печати тоже выработала приспособление такого же рода. Публика, даже широкая, теперь уже непременно требует хоть изредка проявлений „гражданской смелости“ и независимости мнения. Но это опасно с другой стороны, и по временам приходится платиться. Тем не менее от времени до времени газеты „смешанного направления“ позволяют себе печатать такие вещи, которые ни за что не могут появиться в газетах либеральных. А им сходит, потому что, совершив такой подвиг, газета разбавляет его тотчас-же какой-нибудь сугубой мутью и зловонием в таком „патриотическом“ или ретроградном роде, что хоть нос зажимай. На днях еще цензор Елагин рассказывал мне, что даже цензора в таких случаях робеют перед некоторыми газетами, стремящимися доказать свою благонадежность... Этим достигается двойная цель: оффициальные сферы не могут обвинить в „систематическом“ либерализме, и грех газеты принимает характер случайности. А публика готова простить гадости, вспоминая, что все таки,—„вот напечатали-же то-то или то-то...“

Теперь на время придется вероятно ждать чего-нибудь ультра-нововременского — чтобы сняли запрещение, которое, конечно, приносит огромные убытки... Сознательная-ли это политика — сказать трудно. Наша пресса, стесненная и кругом обставленная препятствиями, давно приучилась „бить в сторону наименьшего сопротивления“. Это налагает, думаю, особый отпечаток на самый склад ума и настроение „ближайших сотрудников“... [1].

[1] Под этой записью имеется более поздняя приписка В. Г.: „Розничная продажа опять разрешена „Новому Времени“ — 13 ноября“.

10 ноября 98

На днях разрешен г-жам Козакевич и А. А. Давыдовой (редактор — г-жа Э. К. Пименова)[1] новый детский журнал. Просили о разрешении журнала „Юная Россия" и представили программу. Программа утверждена,— но название „Юная Россия" сочтено опасным. Почему? В 60-х годах существовало тайное общество „Молодая Россия", выпустившее несколько прокламаций. Прошло больше 30 лет с тех пор, но не только слова „Молодая Россия", но даже „Юная Россия" все еще сохранили свою пугающую силу! Издательницы с большим прискорбием назвали журнал „Юный Читатель".

В Полтаве разыгралась целая „политическая история". Жил там некто Налимов, бывший офицер, бросивший службу и занявшийся садоводством, говорят — из „опростившихся" или толстовцев, которого все считали порядочным человеком. Когда открылась вакансия директора местного земледельческого училища — земство провело туда Налимова. Однажды кто-то, сам Налимов или его подчиненный, обходя школу, нашел ученика за чтением брошюрки, которая оказалась запрещенной. Одни говорят, что это было что-то толстовское, другие, что какая-то прокламация стачечников. Бывший „толстовец" не нашел ничего лучше, как тотчас-же помчаться к жандармам. Налетели, произвели обыск и арестовали какого-то сторожа, давшего ученику брошюрку. Даже жандармы, повидимому, не придали „делу" никакого значения.

[1] Е. П. Козакевич — женщина-врач; А. А. Давыдова — основательница и издательница журнала „Мир Божий" (впоследствии „Современ. Мир"); Э. К. Пименова — переводчица и популяризаторша.

Но история получила дальнейшее очень прискорбное течение. Остальные земские служащие возмутились поступком „педагога“, призывающего на помощь жандармов в стены своей школы. Поэтому 27 человек, исключительно земских служащих, обратились к Налимову с коллективным заявлением, в котором, оценили его поступок, как „непедагогический“ и несогласный с традициями земской службы. Таких писем послано два: в одном, после оценки поступка Налимова, сообщалось, что авторы прерывают с ним всякие сношения, из чего предоставляют ему самому сделать вывод. Другое письмо ограничивалось сообщением, что авторы более не считают Налимова своим товарищем. Налимов хотел-было оставить службу, но потом остался (по настоянию управы), а через некоторое время... из Петербурга получилось вдруг предписание: всех 27 человек исключить со службы, без права служить в земстве когда-бы то ни было, и — в 24 часа (!) оставить пределы Полтавской губ. Это мудрое решение застигло земство совершенно врасплох — удалить сразу 27 служащих — это значить совершенно приостановить все дело. Председатель Шкляревич выхлопотал отсрочку и помчался в Петербург.[1] В департаменте полиции сказали, что считают „дело“ серьезным; Горемыкин, наоборот (как всегда) — высказал „личное мнение“ — что это пустяки. Но... все таки принял меру, которая выкинула на улицу 105 человек (считая и семьи). „Кто из нас не ругает

[1] Пешехонов, статистик, тоже попавший в эту историю, говорит, что Налимов, кроме того, в письменном доносе инсинуировал на „вредное влияние“ некоего Степанова, который во время его отсутствия заведывал школой. Пешехонов уверяет, что это вредное влияние совершенная ложь,— однако Степанову одному из всех не дали впоследствии даже отсрочки и выслали немедленно из Полтавы! (Примеч. автора). Речь идет об А. В. Пешехонове, впоследствии близком сотруднике и члене редакции „Русск. Богатства“.

жандармов,— сказал будто-бы Пилат Лонгинович Горемыкин.— Я и сам ругаю жандармов; но они сделали из этого шум, ну, а я ответил... на шум — треском"[1]. Этим bon mot вполне об'ясняется мудрая „государственная мера".

Как всегда — мера, кроме участников, постигла еще некоего Олеховского, который был п р о т и в письма и сам его не подписал. Но так как п р о т и в письма он высказывался в собственной квартире,— то заодно с остальными попал в проскрипционные списки, так как значит „у Олеховского была политическая сходка"[2].

В числе людей „вредного образа мыслей" попались и люди „без всякого образа мыслей", самые непосредственные обыватели, теперь совершенно убитые разгромом. Они никогда и не думали о политике; они думали толко, что педагог может обходиться без жандармов в стенах учебного заведения!

Сам Налимов об'ясняет свой поступок тем, что, если-бы он не донес, то донесли бы на него! Оправдание плохое, но система шпионства среди педагогов очевидно хороша!

Одно из последствий свидания Клопова с государем. Сегодня у меня был Далин (Д. А. Линев) и рассказывал о новом эпизоде из своей печальной эпопеи[3]. Он было

[1] Пешехонов решительно уверяет, что никаких „ругательств" по адресу жандармов не было. Также не было и шума. Письмо вовсе не распространялось, а назначено было лишь к сведению Налимова. (Прим. В. Г.).

[2] Тоже неверно: никакой сходки ни у Олеховского, ни в музее, которым он заведывал,— не было. Олеховский был против письма и не подписался. (Прим. В. Г.).

[3] По требованию начальника главн. управления по делам печати Соловьева, Линев был удален из числа сотрудников „Биржев. Ведом." Подробности этого инцидента см. в „Дневнике" 1896 г. (т. III), запись от 13 окт.

сошелся таки с Гайдебуровым и решил сотрудничать в „Руси“, не подписывая фамилии. Гайдебуров обещал, что „Русь“ будет вестись в духе, не противоречащем основным положениям, которых держится „передовая“ пресса. Между тем в газете стали появляться статьи о необходимости восстановления прихода, как мелкой земско-административной единицы. Далин обратился с вопросом по этому поводу.

— Видите-ли,— пояснил Гайдебуров,— один господин имел случай беседовать в Ливадии с государем, и тот высказался в смысле, благоприятном идее „прихода“...

С некоторых пор, действительно, „приход“ начинает мелькать на страницах некоторых газет. „Руси“ напр. не было и дела до прихода. Теперь она забегает вперед с этой идейкой.

В „Руси“ ответственным редактором некто Головинский, креатура М. П. Соловьева. Это „редактор по назначению“. Он состоит вторым редактором „Нови“, где получает 350 р. в месяц, даже не являясь в редакцию. Кроме того, ему разрешено еще собственное издание „Северный Курьер“. Нечто в роде универсального редактора!

Кстати: Клопов получил (пока в обещании) — 100 тыс. „на исследование“, и теперь сам в затруднении: организовать такое исследование ему, разумеется, совсем не под силу. Вообще, дело все более сходит на фарс. По рассказам самого Клопова — царь все молчит. Кроме того, очевидно, бессвязная болтовня этого явленного пророка начинает надоедать. Однажды в Ливадии царь остановил его вопросом:

— Вы долго еще будете говорить об этом предмете?

— Я сейчас кончу...

— Теперь кончили?

— Да.

— Я хотел вам сказать, что я сразу же был с вами по этому предмету совершенно согласен и вам не было надобности доказывать это...

Теперь, говорят, Клопов посылает в Ливадию какого-то своего родственника. К нему обращается множество лиц с просьбой сообщить о них или об их мнениях государю. Между прочим Клопов чуть было не представил государю резкую записку некоего кн. Оболенского, которую, к счастию, все таки пересмотрел раньше. В ней была фраза— такие-то меры, поданные „под соусом Александра III". Интересно, что это назначалось сыну Александра III. Очевидно, русский человек полагает, что наступила пора не только для фамилиарности, но и для амикошонства, пока еще не крикнули: „брысь". Еще интереснее,—что этот князь— недавний еще крепостник, стоявший в земстве за розги и против школ. Это предводитель —ского уезда, одно время прославленный в газетах за свое мракобесие! О, святая Русь!

12 ноября 98

Еще к характеристике нашего политического периода: Гоф-камергер (кажется так) и тов. министра вн. дел Сипягин внес проект, который будет обсуждаться в Госуд. Совете. Самодержавие теперь на распутьи: с одной стороны логика событий влечет его „к правовому порядку", к признанию существования в законах, накопленных самим же самодержавием всего прошлого,— ограничения деспотии, случайных настроений и личных негласных приказов данного монарха. Вскоре России придется определить это и искать гарантий устойчивости этого по-

рядка. А это, как все чувствуют — есть „сущность“ конституционных тенденций.

Но есть и другое течение — к патриархальности, к непосредственному воздействию самодержца на все стороны жизни. Перед умственным взором части русских „политиков“ носится туманный образ некоего патриарха-царя, который выходит к своему народу, садится под развесистым древом, принимает жалобы и решает их сам. Конечно, все уже понимают, что на адмиралтейской площади теперь такое древо уже произрастать не может. Проект Сипягина заменяет его „Комиссией прошений, на высоч. имя подаваемых“, которая, по этому проекту, должна совершенно преобразоваться. Она ведает все дела, уголовные и гражданские; лицо, стоящее во главе ее — получает приказания непосредственно от государя и ставит решения, независимо от каких бы то ни было законов. Учреждение это снабжается огромным штатом, так как легко представить себе, что оно должно будет не только „наводить справки“ в соответствующих учреждениях, как это делается теперь, но и производить самостоятельные следствия через „очи и уши царевы“ — как говорилось в старину.

Это, конечно, бессмысленная утопия,—которая, впрочем, имеет шансы понравиться. Недаром-же молодой царь отовсюду, даже от врывающихся с улицы пророков, в роде Клопова, слышит, будто главное зло России в том, что его, царя, „обманывают министры“. Против проекта Сипягина все остальные министры. Победоносцев, говорят, написал жестокую критику. И действительно,— проект есть ни что иное, как попытка создать параллельное госуд. устройство, рядом с уже существующим. Пойдут другие канцелярии, параллельная переписка, может быть борьба и путаница и смута еще большая. А все таки патриархальных

времен вернуть невозможно. В этом проекте, самодержавие, чувствующее себя все более и более ограничиваемым, пытается стряхнуть с себя целый исторический период и вернуться к своей юности. Утопия очевидная. Но это все таки последовательно и может, пожалуй, пленить воображение молодого царя. Остальные-же министры стоят за „настоящее", т. е. за положение между двух стульев... Протестуют против призыва к прошлому, к „чистоте" самодержавного принципа, но отворачиваются и от неизбежного будущего... Нет в России настоящих государственных людей, нет и признаков настоящего политического смысла в правящих сферах.

На днях открыли памятник Муравьеву-вешателю в Вильне[1]. Царь явно стоит за „примирительную" политику относительно Польши, а „логика событий" приводит к тому, что вешателю ставят памятник в крае, где еще живы не только дети, но даже отцы и матери им повешенных.

Русское общество отнеслось холодно к событию, несмотря на вопли „патриотической прессы". Представителями печати на „празднике" были В. В. Комаров (от „Света",— обвиняемый болгарской прессой в продажности), Грингмут (проворовавшийся на мелочах в России) и Лялин от „Нового Времени". Остальная печать отсутствовала и молчала, за редкими исключениями (напр. „Биржев. Ведомости" поместили хвалебную статью).

Самое отвратительное в фигуре Муравьева это — то, что он есть олицетворение мстящего страха. Польское

[1] М. Н. Муравьев, ген.-губернатор шести северо-западн. губерний, усмиритель польского восстания 1863 г.

восстание было лишь пародией на восстание. Ни время, ни обстоятельства не способствовали его розвитию. Только что освобожденный народ был против бунтующих панов. Во все время не произошло даже сколько нибудь серьезной стычки. Но Петербург сначала испугался, как пугался он впоследствии столь-же мало опасного движения молодежи в 70-х — 80-х годах. „Сохраните нам хоть Литву“, — так, говорят, напутствовала царица Муравьева. Потом за этот страх, за эти минуты испуга Россия мстила Польше. Муравьев подавлял опереточное восстание жесточе, чем в других местах подавлялись серьезные движения. Всякий другой на его месте подавил бы мятеж так же легко, но не всякий мстил бы за мятеж такими разнузданными репрессиями. Не всякий посеял бы такие семена горечи и ненависти в покоренных.

После каракозовского выстрела[1] — виленского палача выпустили на время и на русское общество в Петербурге[2]. Современники рассказывают чудовищные вещи о терроре, распространенном в столице Муравьевым и его опричниками...

15 ноября 98

Вчера мы были в театре Суворина (Малый театр). Давали „Федора Иоановича“ Ал. К. Толстого. Это было 17-е представление, театр был полон, и билеты все еще можно получать только за неделю. После ничтожества современного репертуара, — это художественный перл, на котором отдыхают вкусы публики. Нужно отдать справедливость, что характер Федора — выдержан превосходно, и трагизм этого положения взят глубоко

[1] Покушение Каракозова на Александра II в 1866 г.

[2] В апреле 1866 г. Муравьев был назначен председателем верховной комиссии по делу Каракозова.

и с подкупающей задушевностию. Годунов — скроен немного на севременный лад, — его речи и сравнения звучат анахронизмом. Сцена „на Яузе", когда народ пытается освободить Ив. Петр. Шуйского — уже совершенный лубок. Апофеоз боярства звучит вообще довольно ясно во всей пиэсе, и все таки благодаря основным достоинствам, — это жемчужина нашей драматургии. По странной прихоти цензуры, — пиэса не давалась много лет, и идет как раз теперь, когда публика находит много аллюзий на современное положение и на нынешнего царя. Впрочем, русская публика — не экспансивные французы или итальянцы. Она не подчеркивает современности в драмах.

„Миссия" бедняги Клопова начинает, очевидно, тревожить кое-кого в „консервативном лагере". В 90 номере „Гражданина" помещена заметка („Вместо речей консерватора", подписанная „За Икс — Игрек"). В ней изложена в форме диалога история „титулярного советника Правдина".

„Зачем так мрачно смотреть на будущее России... и искать в тоскливом бессилии человека, — когда человек этот нашелся и в нем явился спаситель России?

„Что такое? — оживился приятель.

„Как кто? Разве ты не слыхал? Сам господин Правдин!.. Представь себе картину: всеобщая темь — вся Россия стонет и тонет в сетях обмана; все, что устроено для узнания правды или молчит, или лжет, и вдруг в этой тьме встает человек и в себе одном олицетворяет три великие исторические фигуры: Диогена, фонарь, которым он вооружился, и человека, которого он нашел"...

Здесь запахло кн. Мещерским, так как и фонарь причислен к „великим историческим фигурам", но как бы то ни было — выходит все таки, „что этот троефигурный человек — титулярный советник Правдин".

„Он сперва погрузился в раздумье; чтобы решить вопрос: что лучше?—себя-ли вывести в люди, или правду выводить на свет Божий? Обдумывая этот вопрос, он решил то и другое соединить вместе... поднялся и взлетел..... Дорогою явился еще один вопрос: сперва-ли открывать правду, всюду утаенную и потом явиться к знатным лицам с откровениями добытой истины, или прежде явиться к знатным лицам, и потом уже открывать правду. Не долго думая, он решил предпочесть второе, и, долетев одним взмахом до Петербурга, начал сейчас-же об'езжать все знатные персоны.

— „Как доложить о вас? — спрашивет швейцар, спрашивает курьер, спрашивает дежурный чиновник.

— „Доложите — титулярный советник Правдин, желающий разыскивать правду.

„Хотя я и не знатная особа, но он приезжал и ко мне.

— „Куда вы? — спрашиваю.

— „Повсюду,— еду открывать правду. Буду вывозить ее в свет.

— „Чтобы на ней выехать? — засмеялся я.

— „Отчего же нет? Взаимное одолжение. Я служу правде, а она мне послужит.

„И вот... Петербург узнает, что нашелся, наконец, спаситель России, который, среди всеобщей лжи лиц и учреждений собирается узнавать и сообщать правду...

„Для этого он мудро избрал три средства: открытый лист, под'емные деньги и фигуру, выражающую жажду к правде. В вагоне он решил сидеть в калабрийской шляпе, чтобы никто в нем не смел заподозрить чиновника...

„На чье-то замечание, что правда — „скромный и застенчивый цветок, который сейчас-же закроется, как только подкатит к нему вагон с великим титулярным советником во образе правдокопателя" — и что до нее надо добираться скромно и без шума,— титулярный советник отвечает: „я, как труба иерихонская, от моего голоса все стены, закрывающие правду,— рушатся".

„И он все едет... по городам и селам.

„Приедет, остановится и пока локомотив накачивается водой, он накачивается правдой.

— „Готово! — кричит машинист.

— „Готово! — отвечает титулярный советник Правдин...

... „Один исправник смел усумниться и телеграфирует губернатору: „Прибыл в уезд господин, требующий настоящую, а не губернаторскую правду. Как прикажете поступить?"

В заключение автор прибавляет:

„Правда олицетворяется в Правдине и Правдин тогда, найдя в себе вчера человека, завтра найдет в себе тайного советника... Ей-богу, найдет.

„И мы тогда спасемся".

После этого кн. Мещерский продолжал следить за деятельностью Клопова. 25 декабря в „Сыне Отечества" была приведена следующая видержка из „Гражданина".

„Князь Мещерский, — пишет газета, — обиделся за тульскую администрацию. Он рассказывает, что какое-то доверенное лицо, которому было поручено исследовать положение нуждающихся в Тульской губернии обратилось не к администрации, не к Тульскому губернатору и не к предводителю дворянства:

„Он отправился к разным молодым представителям либеральных партий в губернии, им воздал поклонение, их одних признал достойными представителями правды, и в тех именно, которых знали по губернии только потому, что они считались явными противниками представителей власти в губернии, — в них имено он признал тех лучших русских людей, которых голоса должны быть выслушиваемы, заглушая такие, как голос старого, доблестного, трем царям служившего губернского предводителя дворянства, как голос старого, трем царям верой и правдой служившего губернатора"...

Как, в самом деле, ослепляет кн. Мещерского желание видеть правду только на одной стороне. Как он не понимает той простой вещи, что, если лицо, о котором он говорит, было послано для исследования положения дел в губернии, то, по самому существу дела, оно обязано было обратиться за сведениями отнюдь не к оффициальным лицам и без того своевременно представляющим отчеты".

Намек на „тайного советника" уже совершенно прозрачен. Очевидно, против бедного Клопова начинается война и косвенно достается также царю, слушающему „тайные советы" титулярного советника...

Недавно редакции бесцензурных газет и журналов получили распоряжение от Главного Управления по делам печати: ничего не говорить о самоубийстве Гурко. Этот Гурко — сын бывш. ген.-губернатора, покушавшийся на жизнь Половцева в Париже (см. заметку под 27 окт.). Таким образом, факт подтверждается. Гурко отравился или, как, разумеется, не замедлила вариировать циркулирующая в Петербурге молва — отравлен. Прибавляют, что по многим признакам — он же убийца приказчика в меняльной лавке. Это дерзкое убийство совершенное среди белого дня в столице — осталось нераскрытым. Теперь, будто бы, сыну бывшего начальника III отделения и варшавского генерал-губ. предстояло бы судиться сначала в Париже, а потом в России за двойное убийство... Трудно сказать, правда-ли это второе обстоятельство. Когда на факт наложен цензурный колпак,— он часто дает совершенно неожиданные ростки.

19 ноября 1898

Черты к истории цензуры,— вечно юная история!

В этом месяце в „Русск. Бог." должна появиться моя заметка „Знаменитость конца века" [1]. Речь идет о знаменитом Эстергази [2], обещающем свои „разоблачения", которые должны одновременно появиться в Лондоне и Париже.

[1] „Русск. Бог." 1898 г. № 11. Собр. соч. изд. „Нивы" т. V. (Вошла в т. XXX наст. изд.).

[2] Майор Эстергази, участник знаменитого процесса Дрейфуса, автор поддельного бордеро (препроводит. письма), на основании которого Дрейфус был обвинен (в 1894 г.) в шпионстве и продаже германскому правительству секретных документов. В 1898 г. Эстергази, скрывшийся в Англию, публично заявил, что автором бордеро был он.

Герой подлогов, готовый из за денег разоблачить свое и чужое негодяйство, стал знаменитым писателем, откровений которого с нетерпением ждут две, а может и более столиц! Попутно я касаюсь также дела Дрейфуса и того любопытного явления, что у нас и до сих пор есть горячие защитники французского „штаба подделывателей". Как известно, во Франции существовал проект памятника Анри, сознавшемуся в подлогах. „Это будет первый еще памятник, поставленный заведомому и доказанному негодяйству. На нем придется написать: „Здесь покоится прах Анри, доблестного подделывателя документов".

Цензор это место вычеркнул.

Другая выкидка. „Рошфор [1], обращаясь к толпе своих фанатизированных приверженцев, придумывает казнь для членов кассационного суда. Сжечь живьем?—это не ново. Гильотинировать?—это слишком мягко. (И вот французский патриот изобретает вид казни, который я не привожу в подробностях, так как это хуже всякой порнографии. Достаточно сказать, что речь идет о вырезывании ножницами век, после чего к глазам привязываются в ореховых скорлупах голодные тарантулы!). Вот для чего эти господа употребляют теперь изобретение Гутенберга".

Всё, поставленное в скобках, цензор вычеркнул! [2]. В прошлом году наш парижский сотрудник написал, что Рошфор „все таки человек остроумный". Это было вычеркнуто. Цензор вспомнил, что он—бывший комунар. Теперь мы приводим с негодованием изуверство Рошфора,—и цензура считает нужным оберегать его репутацию. Вероятно, цензор вспомнил, что он „все таки патриот".

[1] Анри Рошфор, известный французский публицист, в то время редакт.-издатель газеты „L'Intransigeant".

[2] Эта вторая цензорская выкидка была восстановлена автором в Нивском изд. собр. соч.

Впрочем — об остроумии не позволил говорить цензор Елагин. Об изуверстве — запретил упоминать цензор Соколов.

Последний третьего дня прибежал к нам в тревоге: он разрешил очерк Станюковича, в котором рассказывается, как лет 30 назад капитан русского судна для шутки выстрелил по китайским мятежникам тайпингам, которые дрались на берегу с китайскими войсками. Цензурный комитет находит,— что рассказ может повести бог знает к каким международным осложнениям на востоке!

Из той же области: вчера я встретился с Ст. М. Блекловым. Это статистик и писатель. В прошлом году он затеял в Туле издавать газету. Разумеется, прежде всего пришлось отправиться к губернатору. Губернатор — немец Шлиппе. Он был когда-то аккуратным управляющим у Шереметьева, чем и доказал свою пригодность на роль „хозяина губернии". По поводу его об'езда „вверенной губернии" в „Церковном Вестнике" был возбужден вопрос: „следует ли встречать губернатора с колокольным звоном"— как встречали Шлиппе. „Вестник" ответил, что это не подобает. Шлиппе вдобавок лютеранин, что не мешает ему в оффициальных речах приглашать: „Сплотимся вокруг нашей Матушки-церкви". Присутствующие думали, что речь идет о попадье...

Этот мудрец очень встревожился, узнав, зачем явился Блеклов.

— У вас есть уже разрешение?— спросил он с беспокойством.

— Нет. Я счел своею обязанностью и т. д.

— Я не могу согласиться. У меня для моих надобностей есть оффициальная часть губернских ведомостей.

Остальное — le beau reste — я дозволяю чиновникам моей канцелярии помещать в части неоффициальной, и это доставляет им некоторое дополнение к жалованию... Теперь вы посягаете на этот скудный заработок бедных тружеников... Не могу согласиться.

Блеклов пытается раз'яснить, что это опасение не верно, что вот в Курске губ. ведомости нимало не пострадали, но губернатор прерывает.

— Я в таких годах, когда „убеждения невозможны".

Несколько ошеломленный Блеклов говорит:

— Позвольте вас поблагодарить за откровенность, с которой вы высказали причины отказа.

Губернатор тычет себя пальцем в грудь и произносит с гордостию:

— Я всегда таков!

В конце концов Блеклову отказали. В об'яснении с директором департамента Зволянским, Блеклов услышал новое соображение:

— Мы уверены, что газета будет оппозиционная.

— Помилуйте! Какая-же оппозиция при цензуре.

— Ну там — между строк... подбор статей...

Впрочем, обещали пересмотреть дело с условием: Блеклов должен предварительно изложить для департамента свой „образ мыслей". Тот, разумеется, бросил затею.

Джаншиев (Эпоха великих реформ) [1] приводит из „Русской Старины" (1897, Сент.) рассказ судебного следователя Лучинского о бывшем черкасском городничем

[1] Г. А. Джаншиев (1851 — 1900). Первое издание „Эпохи великих реформ" вышло в 1892 г. В. Г. Короленко очевидно имеет в виду новое издание 1898 г., куда включен впервые опубликованный в „Русской Старине" рассказ о черкасском городничем.

Щербцове. Этот еще дореформенный администратор производил, разумеется, деятельную кулачную расправу... „в особенности с теми, кто при об'яснениях решался упомянуть слово „закон". Заслышав это слово, городничий немедленно вылетал из присутствия, произнося: „вот я тебе покажу закон!" И при этом раздавалась громкая пощечина. „Вот тебе закон" (другая пощечина). „Город высочайше мне вверен, а ты мне смеешь говорить про закон,— понимаешь-ли, город высочайше мне вверен,— я тебе закон! Вот я пропишу тебе закон: взять его!".

Сей дореформенный городничий бил в самый центр вопроса, ныне опять стоящего перед нами — спустя 30 лет после реформы. Закон — также ненавистен городничему, как был ненавистен известному щедринскому помпадуру, как теперь ненавистен министрам. Простодушный городничий смотрел на самодержавие, как на нечто, отчужденное высочайше в его пользу, а на закон, как на опасное ограничение самодержавия. Теперь самодержавие опять стоит перед той же альтернативой или оно раздробляется в тысячи мелких самодержавий; тогда кричат, что царя нет, что у нас много царей, значит нет единодержавия, которое возможно только при господстве закона. Или — закон! Но тогда действительно историческое самодержавие подавляет личную волю самодержца...

Интересна в этом случае ясность постановки вопроса: „Город вверен мне высочайше, значит я выше законов, высочайше-же утвержденных". (Вспомнить случай в Геленджике — столкновение старосты с полицией: „Я полиции здесь царствовать не дозволю"). [1]

[1] См. об этом „Дневник" т. III, запись 1898 г. под заголовком „Стрига".

Некто Новалетте, испанец, рассказывает, что первый пароход был изобретен в Испании еще при Карле V. „Машинное судно“ испытано, дало блестящие результаты, но „советники Карла V, высшее духовенство, сановники и полководцы были возмущены дерзновенною попыткою капитана испанской службы де-Карая идти наперекор силам природы, и, если бы не защита императора, то изобретателю пришлось бы плохо“. Король сумел защитить изобретателя, который, однако, в конце концов, попал на должность куда-то в отдаленную провинцию, а в это время судно было сломано. Так назыв. „марксисты“ утверждают, что все движется изменением „в формах производства“. Дай машину — и любое общество совершенно изменится. Но машина изобретается умом, ум подавляется предрассудками или верованиями, верования поддерживаются инквизицией и т. д. Бедный испанский Уатт [1] и Фультон [2] (в одном лице!) мог бы сказать современным ему „марксистам“, если бы они тогда существовали:

— Ах, уничтожьте, пожалуйста, инквизицию и предрассудки, и я вам дам отличную машину.

А без этого — машина, уже изобретенная, осталась мертвой на целые столетия и не произвела никаких чудес!

Автор истории испанских открытий и изобретений дон Мартин Фернандец де Новалетте называет изобретателя капитаном испанской службы Бласко де Карай. Проект представлен в 1543 г. императору Карлу V. Первый опыт произведен 17 июня 1543 г. в барселонской

[1] Уатт, знаменитый усовершенствователь паровой машины.

[2] Фультон, изобретатель парохода.

гавани на трехмачтовом корабле „Trinidad“ в присутствии императора, его сына, членов царственного дома, канцлера, министров и прочих сановников. По свидетельству хроникера, все остались довольны состоявшимся на их глазах экспериментом... Впоследствии была снаряжена комиссия, давшая вполне благоприятное заключение о машинном корабле... И однако, сын Карла V, Филипп II, посылая в Англию великую Армаду, даже и не вспомнил об этом самодвижущемся судне, при опытах с которым сам присутствовал! (Факт извлечен из „Нижегород. Листка“, № 315, 16 ноября 98).

Главным противником де-Карая был канцлер. Если, однако, допустить, что оппозиция канцлера и других вельмож была бы побеждена (что, все таки, нельзя признать случайностью),— значит-ли это, что изобретение привилось бы прочно. Едва-ли. Несколько лет назад я плыл в Америку на судне компании Cunard [1]. Превосходная машина (даже две) совершенно устраняют, по словам капитана, необходимость оснастки парусами. И действительно, один параход компании был построен без мачт. Оказалось, однако, что на этот параход нельзя было набрать команду: матросы отказывались плавать на корабле, на котором нет рангоута. Пришлось поставить рангоут. Это теперь. А что сказали бы матросы времен Карла V о пароходе вообще, если даже сравнительно просвещенные люди сломали его, не взирая на защиту самого короля!

Очевидно, нужно изменить машинки в мозгу людей, чтобы затем машины внешние могли в свою очередь начать свое воздействие.

[1] Путешествие В. Г. в Америку на всемирную выставку в Чикаго состоялось летом 1893 г. (См. „Дневник“ т. II и „Письма“ кн. IV).

Сторонникам „машинно-социального“ прогресса дело представляется так: процесс развития техники есть нечто предопределенное. За изобретением парового котла идет отделение от него цилиндра, за отделением цилиндра последует рано или поздно изобретение отсечки пара, потом — наивыгоднейшее распределение частей механизма, в комбинации с трудом человека и т. д. В этом есть стихийная обязательность... „Наивыгоднейшее“ будет непременно найдено, и тогда над данной производственной группировкой надстроится все остальное с той же стихийной обязательностию [1].

Тут, однако, есть уже слово „наивыгоднейшее“,— а это вводит понятие чисто человеческое. Затем забывают, что самая обязательность процесса развития производственных форм — коренится в нашем уме. А для ума и для способностей человека есть не одна эта обязательность. Есть еще и другие. Поставьте перед собой человека и обещайте ему горы золота, угрожайте лютыми казнями, чтобы он не сказал в уме: „четыре!“, когда вы ему скажете громко: „дважды два“. Никто не будет в состоянии выиграть такого пари. Как только вы скажете дважды два,— в уме с полной и непобедимой стихийной обязательностию выскочит вывод: четыре. Это значит, что стихийная обязательность логики — непобедима. Кроме таблицы умножения, она подсказывает нам много другого, вплоть до сложных философских и даже нравственных формул. Вот почему мы видим столько людей, повидимому даже не особенно безукоризненных, которые, однако, нередко, являются мучениками своих идей. Сильный умственный аппарат оказывает свое давление на волю,

[1] Против этого абзаца на полях дневника написано: „Вспомнить первые модели паровозов на выставке, в Чикаго“.

добытая и вполне скристаллизовавшаяся мысль так обязательна, что не один Галилей с неудержимым порывом крикнет: „e pur si muove“ [1], даже в виду костра, который недавно еще страшил и заставлял лгать. Старик Галилей, очевидно, не был создан из той глины, из которой делают мучеников. Он отрекся от всего,— он пошел на все унижения,— но обязательный вывод сам выскочил у него из головы, e pur si muove!

Бывают целые периоды, когда такие назревшие выводы в области мысли, религии, общественных понятий, овладевают миллионами голов и тогда идея — отрицательная или положительная, научная мысль или религиозный догмат вихрем проносятся над целыми поколениями, охватывая одинаково все классы. Это — христианство, это — реформация, это — философия XVIII века. Это такой же стихийно-обязательный процесс, как и самое изменение производственных форм. И в течении целых периодов этот процесс является производящим, а не производным, сам расчищает почву для Бласко-де Караев, а не ждет, пока они ему расчистят почву.

А там — буря стихла — и опять выступает на первый план стук шестерни и шипение приводного ремня... Нет единого производящего в истории,— если не считать таковым какого нибудь всемирного тяготения! В ней всякое явление, всякий двигатель, являясь следствием предыдущих, в то же время служит причиной множества последующих явлений. Можно на время, для удобства исследования, предположить что угодно, но серьезно предполагать существование единой определяющей силы в истории — все равно, что искать философского камня.

[1] И все таки она движется.

30 ноября 98

Вчера в „Петербургск. Ведомостях“ появилось (в № 328) письмо Медведского, озаглавленное: „Что такое „Московские Ведомости“ г. Грингмута“. Медведский утверждает, что он „изнемог“ в борьбе с Грингмутом и вынужден был отказаться от участия в газете, вследствие бездарности Грингмута и полного непонимания последним истинного консерватизма, который Грингмут смешивает с доносами. Так как это все было и ранее поступления Медведского, так как он знал хорошо, куда шел и притом сам был приглашен Грингмутом, после того, как все осудили обоих именно за доносы,— то очевидно, что дело тут не в убеждениях... Факт несомненный — что „Московские Ведомости“ пали очень низко даже в глазах гг. Медведских: недавно отказался от всякого участия в них Иловайский[1]...

5 декабря [Москва][2]

В Москве я купил 1-ю книжку журнала „Знамя“, редактор-издатель Н. Д. Облеухов. Это другой отпрыск „Московских Ведомостей“, одновременно с Медведским покинувший Грингмута. Теперь он выступает с журнальчиком самого „последнего“, самого „марксистского“ направления. Гимназически-наивно, зелено и глупо, но необыкновенно „марксисто“. Интересы труда, классовая борьба, необходимость „об'единения рабочих классов“ и т. д. и т. д. Ничего подобного цензура не пропустила бы

[1] Д. И. Иловайский, историк и публицист ретроградного направления, автор известн. официальных учебников по русской и всеобщей истории.

[2] В. Г. выехал в Москву 1-го декабря, вызванный известием о болезни матери.

ни в одном журнале и невольно приходят в голову вопросы: почему это дозволено Н. Облеухову? Правда, Облеухов еще недавно в „Моск. Ведомостях“ писал статьи (в роде „Уфимский социализм“), содержавшие явные доносы на самые скромные попытки осветить „условия труда“ в уфимской губ.

Сегодня „Моск. Вед.“ злорадно сообщают, что финляндская печать (в лице Hufvadsbladet, Nya Pressen, Uusi Suometar и Päivälehti) получила предостережение. Основано оно на ст. 12 закона о печ. в крае: „Если ген.-губ. усмотрит, что какая либо местная газета неверным толкованием положения Финляндии относительно империи подает повод к неудовольствию или иначе представятся к тому уважительные причины (!!)[1], то он имеет власть прекратить издание газеты временно или навсегда, по своему усмотрению“. (Сб. пост. В. К. Финл. 1891, № 26. Беру цит. из Моск. Вед. № 335).

Таким образом финляндская печать поставлена вне закона, как и наша. „Обрусение“ идет очевидно вперед.

Разрешена розничная продажа газеты „Народ“,— по общему голосу это — рептилия министра финансов, что, однако, и ее не избавляет от кар.

7 декабря

Телеграммы российского агентства переполняют газеты сообщениями о том, что, по случаю тезоименитства государя, 6 декабря в разных городах служатся молебны и происходят парады, а города разукрашены флагами, а вечером иллюминацией. Хотя все сие совершенно всем известно и без телеграм, хотя все сие происходило, происходит и будет происходить во всех городах, даже

[1] Курсив и вопрсклицат. знаки принадлежат В. Г.

уездных — где парады производятся местной гарнизой,— но бедные газеты обязаны заполнять чуть не пол листа этими интересными сообщениями. Кроме того,— российский обыватель узнает о „наградах“ и наконец — „милость“ прессе:

„Министр внутренних дел определил приостановить издание журнала Baltische Monatschrift на 3 месяца и воспретить розничную продажу №№ газеты „Goniec Lodzki“.

8 декабря

Молитва Гейне (предисловие ко 2-му изд. „Книги песен“).

„... Грустное зрелище, когда писатель постепенно стареется перед нашими глазами, на виду у всей публики... О боги! Я не прошу вас оставить мне юность. Но оставьте мне добродетели юности: бескорыстную ненависть, бескорыстные слезы! Не дайте мне сделаться старым ворчуном, который из зависти преследует молодые умы, или тусклым, вечно ноющим человеком, постоянно хнычущим о добром старом времени... Дайте мне сделаться старцем, который любит юность и, несмотря на старческую слабость, все еще принимает участие в ее играх (это пожалуй и лишнее)[1] и опасностях! Пусть колеблется и дрожит мой голос, лишь бы смысл моих слов оставался бесстрашным и свежим!“

10 декабря 1898 [Петербург]

Вернулся в Петербург из Москвы. Новость: на 17 декабря был назначен литературный вечер в память Мицкевича. Вечер, по всему было видно, должен был иметь выдающийся успех. Лучшие чувства русского интеллигентного общества, казалось, на этот раз идут рядом с „примирительным“ настроением государя.

[1] Замечание В. Г.

Приехав из Москвы, я застал на своем письменном столе городское письмо от Вейнберга[1]:

„Вечер Мицкевича запрещен. Петр Вейнберг."

Немудрено, что самодержавное чиновничество сумеет вызвать какую-нибудь вспышку и среди недавно еще восторженно встречавших царя поляков. А там пойдет в ход „черная неблагодарность"— и над одним самостоятельным и добрым порывом русского „самодержца" будет поставлен крест.

На днях я получил из Сарапуля, от С. Н. Миловского[2] письмо, в котором он пишет:

„Ваша статья на счет доклада священника Блинова[3] произвела здесь впечатление". Между прочим один из членов суда (Горицкий), получивший два выговора от сената, за ужином в клубе сказал будто бы „Короленко за мултанское дело получил 3 тыс. рублей". Местный адвокат и лесничий заступились за мою репутацию, и в сарапульском клубе вышел изрядный скандал, закончившийся, впрочем примирением.

Этот слух, как мне передавали, был пущен Раевским[4] и полицейскими еще до конца дела. В Сарапуле стремятся к самым простым об'яснениям: „три тысячи", ни больше, ни меньше. Впрочем, многие мои литературные „друзья" только слегка варьируют этот мотив: один господин передавал мне отзыв моих „приятелей" из редакции „Русской Мысли": я все это делал, чтобы выдвинуть

[1] П. И. Вейнберг (1831 — 1908) известн. поэт - переводчик и критик.

[2] С. Н. Миловский (псевд. Елеонский) 1861 — 1911 г., беллетрист, бытописатель русского духовенства.

[3] См. об этом выше запись под 22 окт.

[4] Раевский, тов. прокурора, обвинитель в деле мултанских вотяков.

себя. М. А. Протопопов[1], грубый и прямой в своих антипатиях, к которым принадлежу и я, говорил прямо моим ближайшим товарищам по редакции: „по своему делу шум производит". С другой стороны—толкуют о героизме и. т. д. Между тем все дело гораздо проще: я написал заметку, каких писал десятки и раньше. Но дело разгоралось и затягивало меня, выростая само. Лично мне принадлежала в этом деле некоторая доза негодования на насилие и некоторое чувство справедливости. Те же чувства заставляли меня 10 лет изливаться в обличениях и мелкой газетной борьбе... Но тогда дело не шло дальше мелкой борьбы. Начиная мултанскую кампанию, я, конечно, и не предвидел, что из этого выйдет дальше... Если бы, что было весьма вероятно, процесс был проигран окончательно,— то-то бы, должно быть, накинулись на меня те-же „друзья", не говоря о прямых противниках...

16 декабря

12 декабря открыт в Варшаве памятник Мицкевичу. Речей не было. Говорят, Сенкевич[2] составил речь, чисто литературную. Написанная, она поступила в цензуру и — ее запретили целиком. Тогда кн. Любомирский решил, что и никаких речей не будет. Действительно, бормотать жалкие банальности было-бы просто неприлично. В телеграммах российского агентства этот эпизод был передан кратко: „Распорядитель, кн. Любомирский от речей при открытии памятника отказался". Выходит, что инициатива этого отречения всецело принадлежала полякам.

Даже в описании „Нов. Времени" описание этого торжества очень красноречиво. Кончилось оно в 1/4 часа

[1] М. А. Протопопов, литерат. критик, сотрудник „Отечествен. Записок" и „Русск. Мысли".

[2] Генрих Сенкевич, знаменитый польский романист.

при гробовом молчании огромной толпы. „Привиллегированные зрители по белым билетам были допущены за ограду, остальные, оцепленные спереди жандармами и полицией[1], поместились напротив памятника по Краковскому предместию“... Церемония прошла в полном порядке: ни одного крика, ни одного возгласа из толпы. Впечатление,—говорит „Новое Время“,—получилось торжественное, но молчаливое“.

У других—демонстрации сопровождаются криками. Наши власти, добившись полного молчания, полагают, что достигли цели, забывая, что бывают и демонстрации молчания. Кажется, можно сказать определенно, что с этим молчаливым торжеством кончилась краткая иллюзия польско-русского „примирения“. Теперь опять вся надежда на полицию, на жандармов и на штыки.

А еще так недавно вся Варшава пьянела от восторга, видя в своих стенах русского самодержавного царя, „одушевленного самыми великодушными намерениями по отношению к Польше“... Лучшие писатели, как Болеслав Прус, писали о том, что „польское сердце устало питаться ненавистью и захотело любви и единения с братьями русскими“... Да, был момент, когда польское сердце готово было раскрыться,—да это и не мудрено. Но это покоилось опять на иллюзии самодержавия. А у нас есть поговорка: не обидел царь, так обидел псарь... А псарь у нас гораздо сильнее...[2]

[1] Курсив В. Г.

[2] Из Варшавы я получил следующее анонимное письмо: „Подобает-ли Союзу писателей устраивать вечер в память Мицкевича друга Булгарина! Не лучше ли подумать о постановке достойного памятника Пушкину в Петербурге?“ Точь в точь такое же письмо показывал мне И. Н. Потапенко. Значит, оно разослано „циркулярно“. (Штемпель Варшавы от 16/XII-98). (Прим. В. Г.).

17 декабря 93

Повторяется русская история, сильно повторяется. Вчера не пришла к нам учительница,— Ю. И. Герд. Прибежала знакомая барышня и сообщила, что муж Юлии Ив.— Владимир Александрович Герд — арестован ночью. Это выдающийся педагог, директор гимназии Тенишева, поставленной на самых рациональных началах. Это был частный опыт — выработать новый тип среднего учебного заведения, вне мертвящих и одуряющих форм нынешних классических гимназий. Повидимому, даже официальные сферы с интересом ждали результатов этого опыта... И вот теперь — директор в кутузке. Найдено несколько листков и несколько книжек. Несомненно, что Герд стоял вне всякой революционной деятельности, и все таки — один из талантливейших педагогов Петербурга теперь арестован, а его дело скомпрометировано.

Я зашел в тот-же день к Юлии Ив. Квартира — точно по выносе покойника, не изглажены еще следы разгрома. Старушка мать Герда — в слезах... Совершенно так, как была моя мать лет около 20 назад. Да, повторяется русская история. Во всем мы прогрессировали, даже порой во время правительственной реакции — только политический „суд“ и политическая полиция все так-же жестоки и так-же далеки от всякого понятия о праве.

А то, что растет,— растет своим чередом. На Паленской мануфактуре стачка и, говорят, двое рабочих, заподозренных в шпионстве,— убиты...

Именины или день рождения у Южакова...[1] Каждый год два раза он берет в редакции довольно крупную

[1] С. Н. Южаков (1849 — 1910), публицист-народник, член редакции „Русск. Бог.“ Имеется статья-некролог о нем В. Г. (т. XXV наст. изд.).

сумму и разменивает ее на батареи бутылок вина и пива. Занимает в Пале-Рояле пустой №, невдалеке от своего, для раздевания — и затем день у него проходит среди дыма, бессвязного говора и шума. Курят, говорят, пьют... Кто не пьет, — стремится поскорее убраться из этой атмосферы табачного дыма и чадящих разговоров. А не быть — нельзя. Это во 1-х — традиция, а во 2-х, Южаков страшно и искренно огорчится.

Бывают старые писатели, молодые писатели, изредка студент, порой инженер и не мало старых чиновников из „неокладных сборов" и банка. Всегда бывает М. А. Антонович... [1]

Преобладают „люди 60-х годов". Зрелище в общем печальное,— отголосок старых времен, когда „пили, как боги", и, конечно, спивались, как сапожники. Хозяин бегает, угощает и целуется со всеми. Разговоры отрывочные и бессвязные... Порой споры... Старые „непримиримые" радикалы, служащие в госуд. банке, фыркают на „новые направления"... Иногда разговоры эти бывают очень характерны...

— Спросите у него — где он служит? Кому он служит? — язвительно указывает М. А. Антонович из „Современника" на старого радикала Грибоедова.

— Дур-рак ты, старый дурак,— внушительно отвечает тот... — А сам ты кому служишь?

— Да! Я служу! Тут все таки традиция...

— Трра-адиция! Дурак ты, а не традиция. Ну, что тебе нужно?

— Кто за вами стоит?

— Ну, кто?

[1] М. А. Антонович (1835 — 1918) критик пользовавшийся известностью в 60-х годах, бывший видный сотрудник „Современника".

— Жид! Ротшильд.
— А за тобой кто?
— Тра-ди-ция. Да!
— Ну, что ему старому дураку нужно?..
И т. д.

Антонович торжествующе улыбается. Г-в поникает головой и его длинные седые волосы „человека 60-х годов" свешиваются вниз... Когда-то это был человек деятельный, энергичный и замечательно остроумный. Его анекдоты и рассказы, всегда пропитанные тонким юмором и гражданскою аттическою солью, переходили из уст в уста... Но служба в частном банке с одной стороны и частые „либации" [1] в честь 60-х годов с другой постепенно сказали свое влияние. Юмор и соль выдыхались, оставалась жестикуляция и отрывки острот. Под конец вечера обыкновенно он уже только производит жестикуляцию и издает нечленораздельные звуки... А все таки, врожденная живость заставляет его дергать вас за руки и [принуждать] слушать...

— Д-да поэзия! — говорит он... Поэзия это важное дело...

— Какая поэзия? — спрашивает Антонович.

— Не понимает — с сожалением говорит Г. — Он не понимает. А в наше время. Слушай, Короленко, вот я скажу тебе... Был кружок, понимаешь: крру-жок. (Он подмигивает и продолжает). Ну, так кружок. Цели разные. Устав... пункт 6 и 7, последние: при приеме нового члена обязательно вопрос: как относится к женщине? (голос вздрагивает) и второй: понимает-ли поэзию? Если не понимает (делает энергический жест и восклицает с внезапным энтузиазмом): в шею!

[1] Возлияния.

— Какая поэзия?—опять язвительно вопрошает Антонович.

— В ш-шею!

— Да какая поэзия?

— Ты не понимаешь?

— Поэзия бывает разная. Символ поэзия?

— Ну во-от! Я ему поэзию, а он — символ...

— Да, символ! Человек пьет, а он изображает птицу...

— Какую там птицу?

— Какую? Ну, рвет себе грудь, кормит птенцов...

— Птицу? Как стал к ней лебедь подплывать?...

— Ну, вот тоже символ. Не признаешь?

— Не признаю... Какие символы? Слышишь, Короленко? Я ему поэзию, а он — символ...

— А ты не понимаешь символа? Я же тебе говорю: разрывает грудь, кормит детей...

— Ну, вот, говори с ним... Я говорю: поэзия — это жизнь...

— А воспитательный дом не жизнь? На канаве стоит...

— Чорт знает что...

— Д-да... ведь это... пеликан,— грустно произносит еще кто-то совсем слабым голосом...— На бубновых тузах изображается... В пользу воспитательного дома...[1]

— Поэзия жизнь... Символы к чорту...

— В шею!

— Ну, вот, так и говори: не признаешь, это другое дело! И т. д. и т. д.

Да, люди выветриваются, как и горные породы.

[1] Петербургский воспитательный дом содержался государством на доход, поступавший от продажи карт.

21 декабря 98

М. А. Антонович, впрочем, и вообще-то репутация проблематическая. — Отчего вы не сошлись с Писаревым?[1] — спрашивал раз мой брат у Чернышевского[2], когда тот жил в Астрахани, уже по возвращении из ссылки...[3].

— А! Писарев был сотрудник неподходящий... Он ведь сам не знал, что напишет о том или другом предмете. Садится писать одно, глядишь — вышло совсем другое. Какая же тут возможна редакция! Антонович — этот был гораздо удобнее. Принесет статью, прочитаешь, попросишь к себе. Начнешь говорить с ним. Так ли то, так ли вы написали вот это? Поговоришь, поговоришь, возьмет статью, — принесет дня через два — все как следует...

Я не слышал сам этого разговора и потому не знаю, бродила ли на губах Чернышевского та странная улыбка, которую так легко можно было принять и за простосердечие и за иронию... Во всяком случае, этот ужасный М. А. Антонович, так свирепо ниспровергавший авторитеты... по указке авторитета Чернышевского, когда остался без указки развел такую „журналистику" в „Современнике", что хоть святых вон неси. Тургенева сравнил с Аскоченским[4], а с Благосветловым[5] и Писаревым стал ругаться, как извозчик...

Интересно еще одно: русский человек, говорят, без наук все науки произошел. Зато часто и рассуждает

[1] Д. И. Писарев — изв. критик 60-х годов.

[2] Н. Г. Чернышевский (1828 — 1889 г.) знаменитый писатель, один из редакторов „Современника". См. воспоминания о нем В. Г. в т. XXIV наст. изд.

[3] Против этого абзаца на полях дневника написано: „Чернышевский сначала жил в Кадае, потом — в Александровске".

[4] В. И. Аскоченский, писатель реакционного направления, основатель журнала „Домашняя Беседа".

[5] Г. Е. Благосветлов, журналист, основатель журнала „Дело".

о теории Лапласа или о законах Кеплера, не зная простой арифметики. То же,— увы! — и в гражданственности. Не так давно прославилось Полтавское земство, большинством высказавшееся в пользу телесных наказаний. В числе этого большинства был некто N, человек 70-х годов, из радикальной семьи, и, что всего характернее,— до сих пор живущий радикальными воспоминаниями этого революционного периода. По его мнению,— отмена розог,— это посягательство на права крестьянского мира... (сечься!). М. А. Антонович считает тоже, что он свято хранит заветы своего времени — Чернышевский и 60-е годы!.. Но когда заговорит о „жидах" или „полячишках"— от него так и несет „Моск. Ведомостями", „Светом" и т. д. Азбука истинной свободы — терпимость религиозная и национальная, без которой теперь немыслима никакая прогрессивная программа,— не про него писана. Вот, вероятно, отчего напр. Тихомирову[1] так легко было шагнуть прямо от террора в „Моск. Ведомости". Достаточно было разувериться в „боевой программе", а элементарных „принципов" все равно и не было...

Новое ограничение академической свободы: теперь на диспуты в университетах будут пускать только по билетам, и студенты не все будут иметь доступ на ученые состязания. Повод следующий.

Было при университете два аспиранта на кафедру[2] некто Доробец и некто Хвостов. Последнему покровительствовал Боголепов[3], бывший тогда попечителем. Тогда

[1] Лев Тихомиров, публицист, бывший революционный деятель принесший покаяние и перешедший в лагерь крайних реакционеров.

[2] Речь о Московском университете.

[3] Н. П. Боголепов, министр народн. просвещения.

Доробец прибег к помощи свыше. Он был болен сикозом, и был исцелен молитвой какой-то замоскворецкой бабы. Об этом в „Моск. Ведомостях“ была напечатана восторженная статья на тему: „И в наше время знаменья бывают в яве“... Доробец полагал очевидно, что ему, столь явно отмеченному перстом благодати кафедра принадлежит по праву. Но Боголепов все таки проводил Хвостова. Тогда Доробец сделал донос. Боголепов имел неосторожность писать что-то неблагоприятное о Делянове и чудесно-исцеленный переслал Делянову это письмо. Добродушный Делянов, однако, не придал этому значения, а впоследствии Боголепов сам сделался министром. Вот когда, надо думать, чудесно-исцеленный остался недоволен „благодатью“, которая не внушила ему своевременно, что тот, на кого он доносил министру,— сам будет министром.

Но и его соперник, Хвостов, оказался полным ничтожеством, совершавшим ученый путь под особым покровительством. Когда его покровитель стал министром, он совсем „зазнался“. Теперь он представил докторскую диссертацию, совершенно, как говорят, плохую. Студенчество заволновалось. Когда-же, после бледных речей официальных оппонентов, декан, не позволив высказаться частным опонентам, сразу об'явил прекращение прений и „признание“ диссертанта достойным искомой степени,— то аудитория разразилась шиканьем...[1]

Вообще, на почве новых порядков в высших учебных заведениях такие эпизоды разыгрываются то и дело. В 1896 году в петербургском университете некто.....[2]

[1] В этом месте, между страницами дневника вклеена вырезка из № 348 „Нижегородск. Листка“ от 19 дек. 98 г., заключающая сообщение об инциденте с Хвостовым и распоряжение ректора унив-та Зернова о преграждении студентам доступа на публичные диспуты.

[2] Пропуск в рукописи.

защищал диссертацию по истории русской дипломатии екатерининского периода и, когда его уличили в полном незнакомстве с капитальнейшими иностранными работами по тому-же предмету, то он прямо заявил, что любовь к отечеству он ставит одним из „научных принципов“ и потому сознательно отвергает роботы врагов своего отечества. Зато в диссертации находились горячие дифирамбы по адресу декана, влиятельного члена факультета. Совсем недавно, если не ошибаюсь в ноябре или начале декабря вышел полный скандал в горном институте. Некоего Мурзакова, тоже ласкового „ученого“ теленочка, проводили на вакантную кафедру. Ему оставалось только защитить диссертацию. Все шло отлично, официальные оппоненты сделали несколько мелких возражений, но вот поднимается частный оппонет (Бауман) и начинает возражения уже гораздо более серьезные. Инспектор довольно резко обрывает его, но... все таки после речи Баумана и другого частного-же оппонента выясняется, что вся диссертация есть лишь простой перевод с немецкого, от слова до слова. Отступления-же от оригинала об'ясняются лишь двумя причинами: во-1-х плохим знанием немецкого языка, а во 2-х незнакомством с терминологией предмета. На этот раз пришлось даже „покровителям“ отступиться, в ученой степени было отказано и ласкового теленочка увели от казенного стойла.

Бывало это и прежде. Но тепер об этом слышишь постоянно...

Распоряжение министра Внутренних Дел.

19-го декабря 1898 года.

В виду продолжающегося вредного направления газеты „Русь“ выразившегося ныне в статье „Культурные земцы“, помещенной в № 174 этого издания, от 18-го сего декабря, министр Внутренних дел, на

основании ст. 144 уст. о ценз. и печ. определил: об'явить газете „Русь" третье предостережение в лице издателя ее, титулярного советника Василия Гайдебурова, и редактора, надворного советника Матвея Головинского, с приостановлением издания газеты на шесть месяцев.

20 декабря, „на основании ст. 154 Уст. о ценз. и печати св. зак. т. XIV (изд. 1890) Мин. вн. дел определил: приостановить издание Goniec Lodzki на 3 месяца.

30 декабря 98 [1]

Кара „Руси" сопровождается некоторыми обстоятельствами, выделяющими ее из остальных. Прежде всего в последнее время очень редко об'являлось за какую именно статью наказывается газета. Здесь указывают и № и неблагонадежную статью. У меня есть № со статьей „Культурные земцы". В ней сообщается, что „врач Е. представил в Курмышское земское собрание (Симб. губ.) записку, в которой указывал на то, что важнейшим препятствием для благотворной деятельности земских врачей является народное невежество, о которое разбиваются все старания и заботы врачей. В виду этого г. Е. просил собрание оказать денежное пособие на организацию задуманных им при заведуемой им амбулатории народной библиотеки и народных чтений". „Казалось бы, — пишет автор заметки, — что, кроме благодарности со стороны земских деятелей — должно было вызвать это предложение"... „Однако, — не так взглянули на дело г. г. курмышские земцы. Лишь только началось чтение записки г. Е, как господа курмышцы постарались показать

[1] С 23 по 29 я был в Москве. (прим. В. Г).

во всей красоте свою культурность". Гласные демонстративно уходили из зала, другие, притворяясь, что не понимают, громко спрашивали: „Что это читают?" Один из гласных, бывший земский врач г. Литвинов торжественно заявил: „Врач должен лечить, а не литературными упражнениями заниматься; прекратим это чтение". Другой гласный, г. Пантусов, сказал: „Врач должен лечить, а не заниматься какими-то просвещениями с фонарем и разными разностями! Не читайте дальше, не нужно!" Наконец — тот же Литвинов рекомендовал собранию „предложить управе поставить на вид этому врачу, чтобы он занимался только своим делом". Вслед за этим поднялся невообразимый шум.

„К чести курмышского уезда, — продолжает заметка, — земское собрание оказалось состоящим не из одних дикарей". Гласный Таланцев, представитель лесного ведомства Куйффер и, наконец, председатель управы заступились за оскорбленного врача. Председатель заявил, что он знает г. Е. за одного из самых деятельных врачей в уезде, что устройство чтений и другим врачам не мешает заниматься прямым своим делом, что, наконец, пока он председателем, — мера, рекомендуемая по отношению к врачу Е., „никогда не будет принята".

„Курмышские дикари были немного пристыжены этим энергическим протестом культурного человека". Однако, энергический председатель вышел из управы, а на его место выбран Пантусов, один из нападавших на врача. Затем в заметке сообщается, что народное образование в курмышском у. находится в самом печальном положении и что при обсуждении вопросов просвещения гласными выражаются „самые удивительные мнения". Приводится „выходка" гласного Волкова по поводу ходатайства о пособии в 50 р. для одного даровитого крестьянского

мальчика, пристраиваемого в техническое училище „добрыми людьми“... „Если мы будем давать крестьянам на обучение детей, — сказал гласный Волков, то они, пожалуй, захотят отдавать детей своих кто в кадетский корпус, кто в училище правоведения, а потом и будут обращаться к нам за тысячерублевыми пособиями“.

„Интересно было-бы знать, — спрашивает корреспондент, — откуда в курмышское земство набрались все эти дикие люди и давно-ли они действуют в этом несчастном уголке, куда, очевидно, еще не проникла цивилизация?“

Все! Я нарочно выписал статью с такой подробностию, чтобы не упустить ни одного резкого выражения, так как кара за эту невинную заметку, де еще с указанием на нее, как на особо вредную, чрезвычайно характерна.

Среди толков и недоумений, вызваных в читающем обществе и печати этим беспримерным по наглости инцидентом, — выделяется с полной несомненностию следующее: есть некий молодой человек Головинский, племянник (якобы) Победоносцева, сильно покровительствуемый Соловьевым. Ему уже устроены две синекуры: он „назначен“ Соловьевым в официальные редакторы „Нови“ и в таковые же „Руси“. При этом, „закулисно“ обещано Гайдебурову, что, когда он возьмет Головинского, то гонения на злополучную „Русь“ прекратятся. Этот жалкий дурачок согласился. Оба издателя платили Головинскому огромные жалования за эту фикцию. Между тем, в этом году Головинский получил еще разрешение на издание собственной газеты „Сев. Курьер“. Таким образом несомненный факт состоит в том, что в то время, когда редакторами не утверждались самые благонадежные лица, — молодой чиновник Головинский, ничем в литературе

не выделявшийся, был утвержден одновременно редактором трех изданий...

Разумеется, Головинскому, все таки наиболее улыбалась собственная газета. Остальное было непрочно. И действительно, Вольф даже прикрыл свою „Новь", заменив ее „Новым Миром", Гайдебуровская „Русь" все равно дышала на ладон, поэтому Головинский стал искать для „своего" органа денег и сил. В последнюю поездку в Москву я видел Соболевского[1], который передавал, что перед приостановкой „Русских Ведомостей" Головинский приезжал к нему в Москву, сообщал вперед об имеющей случиться катастрофе и предлагал перевести капиталы и литературные силы „Р. Ведомостей" в Петербург, гарантируя „свободу направления" и т. д. Конечно „Р. Ведомости" на это предложение протежируемого хлыща не согласились.

Тогда Головинский стал приставать к Гайдебурову. Получилось интереснейшее положение вещей. Редактор, навязанный почти официально одной газете, в то же время все свои интересы помещает в другую и убеждает Гайдебурова всеми силами — закрыть свою „Русь" и остатки своих надорваных уже средств перенести в издание Головинского. При этом опять гонение на сотрудников (в том числе злополучного Далина - Линева опять Гайдебуров удалил „по требованию" Соловьева) — и опять обещание, что те же сотрудники будут свободно работать в „Сев. Курьере". Когда даже дурачек Гайдебуров не согласился на предложение протежируемого хлыща,— то... последовала приостановка „Руси". А так как „Русь" в последнее время вела себя очень осторожно, то покарали „ни за что" и при этом самым циничным образом

[1] В. М. Соболевский, редактор „Русск. Ведомостей".

отметили, что карают именно ни за что, здорово живешь. Значит, — ступай в „Сев. Курьер“ или погибай... В старину тоже брали взятки. Тогда говорилось: „берет, но сделает дело“. Теперь, в виде синекуры Головинскому, взяли несомненную взятку, — но при этом еще обманули самым наглым образом бедного дурачка, который и подчинялся чудовищным требованиям, и платил Головинскому чорт знает за что бешеные деньги и все таки — потерпел полное фиаско.

Во время моего пребывания в Москве об'явлена еще одна кара: Goniec Lodzki, подцензурная газета, которой недавно была воспрещена розничная продажа, теперь приостановлена на 2 месяца.

Кажется, однако, что это последние подвиги Соловьева. В председатели Спб. цензурного комитета назначен кн. Шаховской. Говорят, назначение это в высшей степени неприятно Соловьеву, и оно как то долго тормозилось. Но теперь, говорят о назначении Плющика-Плющевского[1] на место самого Соловьева... Что выйдет из этого — посмотрим. Говорят об „облегчении печати“. Говорят еще, будто перемены простираются и выше. После смерти Палладия[2] произошли будто бы два назначения в синоде, очень неприятные Победоносцеву, и председателем синода сделан Антоний, прямой враг российского „гражданского папы“[3]... Русский человек опять начинает „уповать“ к новому году[4].

[1] Я. А. Плющевский-Плющик, юрисконсульт министерства внутрен. дел.

[2] Палладий — петербургск. митрополит, председатель синода.

[3] Т. е. К. П. Победоносцева, обер-прокурора синода.

[4] Против этого абзаца на полях дневника написано: „нов. упования“.

В „Русском Архиве“ напечатано письмо Т. Г. Шевченка[1] к Жуковскому[2]. Писано из ссылки. „Был я,— пишет Шевченко,— по долгу службы в Киргизской степи и на Аральском море, при опасной экспедиции два лета; видел много оригинального, еще нигде не виданного, и больно мне, что ничего не мог нарисовать, п. что мне рисовать запрещено. Это — самое большое из всех моих несчастий. Сжальтесь надо мною! Исходатайствуйте (вы многое можете!) позволение мне только рисовать — больше ничего надеяться не могу, и не прошу больше ничего. Сжалтесь надо мной! Оживите мою убогую, слабую, убитую душу“... „Бога ради и ради прекрасного искусства, сделайте доброе дело, не дайте мне с тоски умереть!..“

Теперь многие хвалят „царя-рыцаря“! А между тем,— что ни новая черта, то черта новой жестокости, какой-то каменной и тупой![3] Мало сослать в солдаты,— мало подвергнуть человека суровому режиму в ужасных условиях. Нужно еще взять у него досуг, который есть даже в тюрьме, нужно запретить самое невинное, даже полезное занятие, только потому, что человек его любит.

Я в ссылке и тюрьме выучился рисовать с натуры... А ведь Шевченко был настоящий артист. Что это, должно быть, было за мучение!..

[1] Т. Г. Шевченко (1814 — 1861) великий украинский поэт.

[2] В. А. Жуковский (1783 — 1852), знамснитый поэт, принимавший близкое участие в судьбе Шевченко.

[3] Против этих строк на полях дневника написано: „Это впрочем было известно из биографии Шевченко“.

Нижегородский Листок № 358 — 30 дек. 98.

Варшава. (Штрафы). Варш. Дневн. передает о каре, постигшей польскую газету Курьер Польский. Г. главный начальник края, на основании Высочайше утвержденного 20 сент. 1876 года положения комитета по делам царства Польского, подвергнул редактора-издателя газеты Курьер Польский, Людовика Страшевича, денежному штрафу в размере одной тысячи рублей, за появившееся в № 1, от 20-го сего декабря, названной газеты тенденциозное сопоставление эпохи упадка Польши в XVIII столетии с настоящим положением вещей [1].

31 декабря 98

Любопытная черта провинциальной цензуры. А. А. Дробышевский, редактор „Самарской Газеты" прислал мне письмо цензора от 15 декабря по следующему поводу: Дробышевский написал статью „О Мицкевиче и Пушкине", статья вызвана постановкой памятника польскому поэту. Цензор запретил ее и, вызванный на об'яснение, без всякой церемонии прислал Дробышевскому письмо, которое я и привожу здесь целиком:

15 дек. 1898 г.

„В Редакцию „Самарской Газеты".

„Не встретил-бы препятствий к напечатанию в Сам. Газ. статьи „Мицкевич и Пушкин", когда чествуется память первого из них в Варшаве, если бы редакция относилась хотя-бы равным образом к деятелям государственным, коим возводятся памятники. Обмолвившись один раз довольно кратко об адмирале Нахимове, редакция не известила своих читателей ни о памятнике-церкви, воздвигаемом в С.-Стефано над телами павших в последнюю войну воинов, ни о памятнике гр. Муравьеву в Вильне.

Вл. Кондоиди.

P. S. Если в случае я ошибаюсь и запамятовал, прошу указать мне те №№ газеты, в которых сообщались те вести, которые кажется мне были игнорированы „Самарской Газетой".

[1] Курсив В. Г.

„Отвечено было,— приписывает Дробышевский, что о Нахимове была отдельная заметка (хотя и небольшая), а о памятниках в С. Стефано и Муравьеву сообщалось подробно в телеграммах. Цензор ответил, что „телеграммы в счет не идут".

Таким образом, газеты обязываются ценить по меньшей мере равно — поэта Мицкевича и вешателя Муравьева, и одна статья запрещается потому, что в газете не было другой[1].

[1] Настоящей записью от 31-го декабря дневник 1898 г. заканчивается. На последних трех листках тетради (перед оглавлением) наклеены вырезки из газет: первая из Сарат. Листка № 176 заключает письмо Л. Н. Толстого к кн. Мещерскому, написанное в 1897 г. по поводу отнятия детей у родителей сектантов; остальные вырезки, собранные под общим заголовком „Периодич. пресса в 1898 г." посвящены фактам репрессий по отношению к целому ряду провинциальных и столичных изданий.

1899 год[1]

11 января 1899 [Петербург]

Как члену комитета литературного фонда мне доводится приходить в соприкосновение со многими очень грустными явлениями. Это — так сказать, изнанка истории нашей литературы. Теперь вот на меня возложена обязанность уплачивать за квартиру, в которой живет сын Д. Д. Минаева, известного поэта. Этому сыну лично фонд не доверяет и если помогает, то лишь его детям, внукам поэта. Сын-же чистый дегенерат. Тусклый взгляд, легкое заикание, странные, сильно вырезанные ноздри, выдавшиеся скулы; движения порывисты, старается держаться с достоинством попрошаек из дворян. Пробовали доставлять работу, — ничего не выходит. Женился на женщине неграмотной, дети уже не учатся... Повидимому — деспот. Жена его страшно боится,— признавалась мне, что он ее бьет. Кажется, привлекалась уже раз за прошение милостыни на вокзале... Подозревал-ли Минаев, когда с легким сердцем пьянствовал, „как боги Гомера“, что он готовит своим детям?

Другая такая-же семья—Федорова-Омулевского, известного романиста и поэта. Его „Шаг за шагом“— неважный в художественном отношении тенденциозный роман когда-то читался всеми, и „светлая личность“

[1] С начала 1899 г. дневник ведется в новой тетради обычного формата, в твердом зеленом переплете. (См. описание рукописи № 2 в статье от Ред. Комиссии).

романа (так и назывался Светлов) служил в 60-х годах „идеалом“ молодежи. И в то самое время, когда Омулевский выдумывал своего „героя“, блестящего, как хорошо отчищенный суконкой медный таз,— сам он опускался, опускался и умер от пьянства, оставив жену,— опять полуграмотную бабу и двух детей, — мальчика и девочку.

Вчера мальчик выбросился из окна... Сейчас у меня была сестра, годом только старше брата. Она пришла просить, чтобы Манасеин (врач и председатель комитета фонда) выдал свидетельство о ненормальности самоубийцы.

— В действительности он сделал это сознательно, — говорит она как-то особенно странно.

— Почему вы в этом уверены? — спрашиваю я ее.— Что-же тогда его побудило к самоубийству?

— Как же мог кончить иначе сын Игнатия Васильевича Омулевского? Не мог работать... Не было воли...

Она еще совсем девочка. Комитету фонда пришлось немало возиться с ней. Она училась в гимназии Оболенской, то уходила с квартиры, на которую ее определяли, к матери, то опять бросала мать. Ее аттестовали, как способную, но странную, неровную, часто дерзкую. Я ее видел раньше: она не прощала другим никакой слабости и едва-ли сама отдавала себе отчет в своих желаниях и поведении. Теперь это уже почти девушка. Довольно красивое лицо, немного странные глаза, распущенные белокурые волосы. Лицо еще почти детское, но уже с каким-то особенным, почти трагическим оттенком.

— У него, как и у меня не было воли,— говорит она,— он не годен для жизни. Он не мог иначе кончить...

Я говорю, что по моему это неверно и, если-бы он пережил этот кризис...

— Ну, что-ж, ну, пережил бы. Конечно, ему было гяжело. Мать содержала его 5 месяцев, вместо того, чтобы потребовать труда... А потом его выселили, с дворником... Он ушел, ночевал неизвестно где, потом пришел и заявил, что он нашел себе комнату... Все это была неправда, но он был весел, переиграл весь свой репертуар на гитаре... Потом, с улыбкой на устах... Хотя, правда, на глазах были слезы...

— О чем?

— Да ведь жить хотелось,— и ее странные глаза останавливаются на мне. На одно мгновение мне кажется, что это на меня глядят глаза несчастного юноши...

— Жить все таки хотелось, но он скрывал, улыбался... Выскочил в окно... Я видела, и он видел,— она указывает головой на мрачного студента, который пришел вместе с нею...— Он хотел, чтобы на него смотрели...

Действительно,— молодому человеку поручили замазать плохо вставленное окно в комнате, в которой он жил прежде и которую отдали посторонней жилице (он помирился с матерью и сказал, что нашел работу и квартиру). Сестру попросил сходить с письмом к своей „невесте“ (была и невеста) и, когда сестра с мрачным студентом оделась и собралась выходить, он крикнул из комнаты:

— Я кидаюсь в окно!

Когда они вбежали, он мелькнул в окне,— и исчез...

— Вы думаете: роль? Вбил себе в голову, потом эта роль им овладела... временный психоз?...

Я думаю, что и у нее есть своя роль, которой и она уже сильно поддается...

— Со всем этим нужно бороться,— говорю я.

— Бороться? На это нужна воля, а у Омулевских нет воли... И потом,— зачем ему было жить. Чтобы

произвести такое-же потомство, какое произвел Игнатий Вас. Омулевский?...

Вот оно то, что народ называет „грехом“... Наверное и Омулевский, и Минаев и многие из этого поколения считали, что они в „своем праве“ предаваться гомерическим кутежам... Это,— „частная жизнь“, этим они вредят только себе. А между тем нет поступка, который бы не отражался на общей связи жизненных явлений и потому своя личность должна считаться таким-же об'ектом греха, как и чужая... Народ это чувствует, мы обязаны это понимать...

7 февраля 99

Вчера в петербургских интеллигентных кружках только и было разговоров, что о Финляндии. В газетах появился высоч. манифест, по существу, совершенно уничтожающий финляндское политическое самоуправление [1]. Отныне во всех вопросах, имеющих „общеимперский“ характер — хотя бы и в пределах Финляндии — сейму предоставляется только совещательный голос. Решать-же, какие именно вопросы должны считаться имеющими такое общее значение — должны русские министры. Иначе сказать — „привиллегии“ княжества уничтожены.

Для чего это было нужно,— сказать трудно, во всяком случае, то, что называется „реальной политикой“— здесь совершенно отсутствует. Никогда и никаких действительных конфликтов и столкновений финляндского права

[1] Манифест 3-го февраля, вводивший новые „основные положения о составлении, рассмотрении и обнародовании законов, издаваемых для Империи со включением Вел. Кн. Финляндии“. Согласно этим положениям законодательные функции Сейма были ограничены, собственное финляндское войско уничтожено, почтовые знаки отменены, русский язык признан общегосударственным в правительствен. учреждениях, свобода слова, собраний ограничена и т. д.

с русскими интересами не происходило. Газетная агитация, пустое и чванное „национальное самолюбие“ — давно уже сражаются с Финляндией... Задавить привиллегии маленькой страны конечно никакого труда не представит. А затем — традиционная „лойяльность“ финского общества и народа перейдет в скрытую ненависть, на которую и будут „до времени“ накопляться проценты...

Теперь, вероятно, начнется еще обрусение и „обрусители“ начнут грабить, об'являя всякое сопротивление грабежу — опасным сепаратизмом.

Кары печати сыпались, как из рога изобилия [1].

10 февраля 99

В январе как-то пришла ко мне барышня. Прежде она приходила ко мне с просьбами разного рода от курсов — по поводу вечеров, чтений и т. д. — и мы познакомились. Потом около года я ее не видал, и был поражен переменой, которую заметил в ее лице: нервность, постоянные вздрагивания, какое-то болезненное, почти трагическое выражение чорных глаз, болезненная складка около губ. Даже подбородок как-то разделился,—в общем выражение лица совершенно трагическое и глубоко исстрадавшееся.

Оказалось, что барышню эту продержали 8 месяцев в доме предварительного заключения. Продержали, как это у нас делается обыкновенно и с давних пор — зря, без особенных оснований, для того, чтобы от ней (авось!) что нибудь выведать. Она ничего им любопытного не сообщала,— и поэтому ее все томили. В конце концов отпустили, приказав уезжать в Новгород. Отпуская, Шмаков (жандармский полковник) — сказал ей иронически, что она

[1] Далее в дневнике следует перечень газет, подвергшихся разного рода карам в период с 11 янв. по 4 февр. 1899 г.

„и сидела-то так долго — по собственному капризу". Когда барышня стала просить у градоначальника отсрочки выезда из Петербурга, то ген. Клейгельс спросил,— „серьезно-ли ее дело?" Она ответила, что не серьезно и повторила фразу Шмакова. После этого Пирамидов, нач. сыскного отделения — накинулся на нее-же: „разве можно говорить такие вещи? Ведь за это полковник Шмаков может попасть под суд!" Впрочем, Пирамидов уверил градоначальника, что барышня солгала.

Об этом Шмакове рассказывают самые ужасные вещи. Это „психолог". Его психологические эксперименты состоят между прочим в том, что он и без того нервным барышням начинает перед допросом рассказывать о последних минутах Ветровой [1] (которая сожгла себя в крепости, по каким то таинственным и до сих пор не выясненным причинам), то прикидывается ласковым и чуть не плачет над участью арестованных, то кричит и угрожает. Арестованы 2 сестры, одна в чахотке ни в чем неповинная и ничего не знающая. От другой этот психолог старается добиться признаний, рассказывая ей о том, что ее „ни в чем неповинная сестра" — из за нее гибнет в заключении.

Этих рассказов от молодежи теперь слышишь множество. Немудрено, что это порождает совершенно особое и чрезвычайно опасное настроение. В воздухе опять начинают носиться признаки террористического настроения, создаваемого этими „психологами", разнуздавшимися под покровом произвола и тайны политических следствий...

[1] М. Ф. Ветрова (курсистка) была арестована в дек. 1896 г. по подозрению в сношениях с типографией народовольцев и заключена в Петропавловскую крепость. 28 февраля 1897 г. родственникам Ветровой об'явили, что она облила себя керосином и сожгла. При этом выяснилось, что в течение 16 дней смерть ее держалась в секрете. Молва обвиняла тюремщиков в ужасных насилиях над Ветровой.

12 — 28 февраля.

С 8 февраля университет, а за ним и другие высшие учебные заведения Петербурга охвачены сильнейшими, пожалуй небывалыми по размерам беспорядками. Дело разыгралось из за пустяков, но, очевидно, семя пало на почву очень восприимчивую. Вызваны беспорядки, по общему отзыву, бестактностию ректора Вас. Ив. Сергеевича, хотя, конечно, это послужило лишь поводом.

Вас. Ив. Сергеевич, известный профессор, автор книги „Князь и вече", считался всегда очень умным человеком. Я познакомился с ним в литературном фонде, где он был председателем комитета. Он наделен от природы лицом Мефистофеля: приподнятые кверху концами брови, тонкие губы, легко складывающиеся в ироническую улыбку; сам он при этом слегка закручивает кверху усы. В разговоре любит употреблять иронические обороты,— все внешние приемы „злого" ума и мефистофельского юмора. Такие природные данные „обязывают", и Сергеевич держался всегда этого тона. К сожалению, повидимому он и сам поверил, что его ирония есть какая то глубокая сила, между тем, как ее в сущности хватало лишь на то, чтобы с достоинством нести репутацию злого ума до первого ответственного случая.

Это обнаружилось уже в фонде. В прошлом году происходило общее собрание, которое Сергеевич, как председатель, открыл речью, вызвавшею во всех крайнее удивление. В то время как раз возникал „Союз взаимопомощи русских писателей", ныне уже благополучно сушествующий. Это учреждение гораздо более активное и более широкое по задачам, чем фонд, и вызвало оно в писательской среде значительный интерес. И вдруг в своей речи председатель комитета лит. фонда начинает очень скептически разбирать самую идею этого учреждения.

По его мнению никакая взаимность в писательской среде не возможна, в виду разницы социального положения писателей: есть писатели аристократы и писатели нищие. Записанное,— это плоско и неумно. Но в речи г. Сергеевич украшал все это своей мефистофельской улыбкой и игрой своих сардонических усов, особенно в тех местах речи, где он „все таки желал всяких благ" невозможному по идее обществу.

Н. К. Михайловский, член комитета нововозникающего союза, по окончании этой речи, спросил,—как понимать ее: говорил-ли г. Сергеевич, как председатель комитета фонда, или это его частное мнение.

— Это мое личное мнение,— заявил Сергеевич,— но я должен сказать, что не могу допустить обсуждения моей речи...

Михайловский удовлетворился, но В. И. Семевский [1] все таки подверг „личное мнение" председателя суровой критике, с точки зрения его уместности.

Полемика перешла в газеты. Сергеевич в „Нов. Времени" ироническими оборотами речи пытался доказать, что он стал жертвой крайней нетерпимости к чужому мнению, идущему в разрез с господствующим мнением большинства. При этом „очень умный" человек прикидывался или действительно не мог понять, что тут вопрос не в самом мнении, а в уместности его на сей раз, в устах председателя „литературного учреждения". Он забыл также, что попытка не допустить обсуждения уже сказанных им слов не особенно уживается с аппеляцией к свободе мнений. В переводе, по вскрытии разных иронических украшений, из под них выступала довольно плоская и элементарная глупость: я сказал свое личное мнение,

[1] В. И. Семевский, историк.

но, как председатель, воспрещаю его обсуждение, потому что мнения должны быть свободны...

— Что это с Сергиевичем? Как он поглупел? — говорили в публике. А вскоре вслед за этим Вас. Ив. Сергеевич, все с той-же сардонической улыбкой, все с той-же иронией и манерой Мефистофеля был призван на пост ректора. „Ну, теперь на месте ректора умный человек",— говорили опять в публике, мало, конечно, знавшей о небольшом инциденте в небольшом собрании.

Между тем, трудно представить себе положение более серьезное, чем положение ректора в настоящее время. С тех пор, как существуют университеты — существуют и студенческие волнения. Я был ребенком, когда в город, где я жил приехал молодой человек, студент киевского университета, который в то время был как раз закрыт. Я слышал, что он „бунтовщик" и был очень удивлен, что вместо того, чтобы бунтовать,— он целые дни сидит с книгой в садовой беседке или ходит задумчиво по алеям. Потом мне самому пришлось и бунтовать, и попадать „на родину", а затем наблюдать, как „бунтуют" следующие поколения. Даже подавленное в общем настроение 80-х годов не прекратило этого явления, и в конце этого десятилетия разразились беспорядки, по ширине и грандиозности оставившие позади много предшествующих. Оглядываясь теперь на свое собственное прошлое, я вижу ясно одно: что никогда студенческие волнения не пропорциональны вызвавшим их причинам, хотя, конечно эти причины могут влиять до известной степени на самую интенсивность волнений, как это было и в данном случае. Но все таки, за исключением этих причин, остается еще что-то, что тревожит и волнует молодые массы, не всегда даже отдающие себе в этом отчет, как тревожит

глубокая заноза, место которой не всегда можно определить, но которая все таки вызывает нервную боль, порой общее нервное настроение, выражающееся в обостренной реакции на всякие внешние раздражения.

Я помню, что в заявлении, которое я в 1877 году [1] подал, в качестве депутата, директору Петровской Академии, указывалось, между прочим, на недостойные отношения между студентами и их „начальством". Не помню уже, письменно или устно, в об'яснениях, мы указали на то, что канцелярия академии обращена в отделение моск. жанд. управления, и что были случаи, когда инспектора лично, вместе со сторожами гнались по двору за студентом, скрывавшимся от ареста... Когда дело дошло до этого пункта, бывший директор Ф. Н. Королев вдруг нахмурился и резко перервал об'яснение:

— Ну, этого мы уже обсуждать не можем. Это касается общего положения вещей [2].

Вот это „общее положение вещей" и является тем субстратом, тем весьма значительным остатком, который остается по удалении мелких причин. В 1878 году [3] несколько депутатов от медико-хирург. академии отправились к тогдашнему министру вн. дел. Это были, повидимому, представители умеренных течений в студенчестве и они старались представить министру всю неосновательность репрессий против корпоративно студенческих учреждений. Какой вред ожидается от того, что студенты будут обсуждать на сходках свои студенческие дела?

[1] Ошибка автора — в 1876 г.

[2] См. об э ом „Истор. Моего Соврем." т. II гл. XXVI.

[3] В 1878 г. студенческие волнения, вызванные стеснением академической свободы, происходили в Петербурге, Харькове и Киеве.

Один из депутатов рассказывал мне, что Милютин, очень спокойно выслушав эти заявления, сказал приблизительно следующее:

— Я совершенно с вами согласен. Полагаю даже, что мне не очень трудно было бы убедить в этом кого следует. Только вы, как честные люди, должны мне по совести ответить на следующий вопрос: поручитесь ли вы мне, что, если вам разрешат сходки, то на них будут обсуждаться только студенческие дела?

Студенты переглянулись и... не поручились.

Это совершенно понятно. В то время еще у всех было свежо в памяти, как многих из их среды в середине 70-х годов держали по 3—4 года в доме предварит. заключения, лишь для того, как впоследствии выразился весьма беззаботно обвинитель по делу 193[1], чтобы составить фонд для главарей и зачинщиков движения. Еженедельно производились обыски и аресты, а также ссылки, у каждого почти был товарищ, брат, невеста, просто любимая девушка, которых схватили и выслали, которые, быть может, умерли в казематах.

На это, конечно, министр мог бы возразить, что в среде молодежи бродит опасное волнение и государство должно защищаться. Но и студентам было-бы что ответить на это министру. А именно, они сказали-бы, и это было бы справедливо, что большинство и притом огромное большинство студенчества, именно то, которое и придает силу беспорядкам, — не имеет никаких политических убеждений и в праве было-бы рассчитывать, что его естественный нейтралитет будет уважаться. Этого именно и не было никогда, нет и теперь. Я лично помню следующий случай: когда я был в технологич. институте[2].

[1] Дело о „революционной пропаганде в Империи" 1878 г.

[2] 1871—1873 г.г.

у меня был товарищ, поляк, кажется, Фидоровский (точно теперь фамилию не помню). Это был человек, никогда не принимавший никакого участия в сходках и вообще в том, что называлось общестуденческой жизнию. Он был очень усерден, превосходно занимался и, наверное, из него бы вышел ученый. Когда в институте начались волнения (я в то время уже перешел в другое заведение [1]), — одним из первых был выслан Фидоровский (повторяю — фамилию точно не помню). Услышав это известие, я был крайне изумлен и разыскал бывших товарищей, чтобы узнать причины этого превращения. Оказалось, что когда в институте разгорались волнения, Ф. продолжал ходить на занятия; когда-же лекции прекратились, что случилось очень скоро, то Ф., чтобы не терять времени, сидел в чертежной. И вот, в то самое время, когда внизу все закипало, Фидоровский вычерчивал проекты и эпюры, точно Архимед во время взятия Сиракуз. Наступило время обеда. Фидоровский спускается с лестницы, вместе еще с несколькими такими-же Архимедами, — а навстречу ему подымается ген. Козлов.

— Как фамилия?

— Фидоровский взглядывает на генерала из за очков своими близорукими глазами и говорит:

— Я из чертежной.

— Как фамилия, — уже грозно окликает генерал.

Фидоровский называет фамилию и — его высылают. Разбирать некогда, а генералу, завоевавшему институт, нужны сразу пленные. Из толпы их выхватывать трудно, без пленных же вернуться „неудобно".

Таких примеров можно насчитать сотни. Я не знаю, что сталось затем с этим Фидоровским, но впоследствии,

[1] В феврале 1874 г. В. Г. перешел в Петровско-Разумовскую Академию, в Москве.

скитаясь по разным отдаленным местам, встречал много таких Фидоровских, попавших за то, что кому нибудь угодно было спросить: как ваша фамилия? и ставших „государственными преступниками“ по воле начальства. И, конечно, эти и тому подобные примеры волнуют молодежь самую нейтральную больше, чем всякие „системы“.

Если-бы студенты привели гр. Милютину такие примеры, он бы, конечно, ответил тоже, что сказал мне директор петровской академии:

— Это уже вопросы общие, выступающие из рамок чисто студенческих волнений. Их решить не молодежи.

Да, несомненно, их решить не молодежи, но они всегда волновали и всегда будут волновать всего более именно молодежь, потому что она наиболее чутка и восприимчива. Их решить — не молодежи, но расплачивается за них именно молодежь, и будет расплачиваться очень долго. У нас сменялись разные течения: был „нигилизм“ — и некоторые из теперешних государственных людей помнят, как вовсе даже не будучи нигилистами, они волновались в 60-х годах из за матрикул [1]. Потом общество и литература были охвачены народничеством, — и опять были волнения, причем многие „философы“ винили народничество, не замечая, что это направление вмещало в себе и радикализм и реакцию. Потом наступили 80-е годы; подавленность, угнетенность, реакция в настроении против бурных потрясений 70-х годов, самоуглубление, самосовершенствование, недоверие ко всем общественным формам и движениям, „непротивление“ и грандиозные

[1] Матрикулы — студенческие экзаменационные книжки с приложением фотографии. Студенты обязаны были иметь их при себе, как удостоверения личности. Книжки эти были введены впервые в 1861 г. одновременно с разного рода стеснениями академической свободы, что и вызвало волнения среди студентов.

волнения студентов, совершенно переполнившие в Москве бутырский замок и манежи... И отозвавшиеся на высших заведениях в других городах: Петербурге, Киеве, даже Казани. Теперь, конечно, те-же „философы“ готовы винить марксизм, который, однако, опять вмещает отлично и радикализм, и реакцию, и борьбу, и примирение с „неизбежно-грядущим“... И все дело в том, что опять повторилось движение, никогда не затихавшее в России на долго. И повторилось так сильно, как еще, пожалуй, не бывало.

Для этого соединились 2 причины: опять болящая старая заноза „общего положения вещей“ во 1-х. А во 2-х — нужно сказать, что никогда еще, или по крайней мере очень редко, [не] принимались и непосредственным начальством студентов, и полицией такие комбинации мер, которые как бы нарочно направлены на то, чтобы раздуть первоначальное пламя.

Фактическая история волнений такова: Каждый год 8 февраля, в годовщину Спб. университета, одна часть студентов обыкновенно расходилась после акта по разным частям города, по трактирам и ресторанам и там происходили кутежи и попойки. В 1895 году эти кутежи, производимые как раз самой благонамеренной частию студенчества, приняли довольно заметные размеры, — в смысле, конечно, простого нарушения полицейской тишины и порядка. Главным образом беспорядок сосредоточивался около Палкина. Когда полиция закрыла двери ресторана, студенты разбрелись по другим местам и кучки подвыпивших буянов шумели в цирке и тому подобных местах.

Другая, гораздо более многочисленная и более серьезная часть студенчества собиралась на так называемые „чаепития“, — нанимались, с ведома полиции, помещения,

где молодежь, пользуясь скромными буфетами, проводила время в беседах, слушая речи, рефераты и т. д. Поврeменам на чаепития приглашались почетными гостями профессора, иногда писатели и т. д. Полиция терпела, пожалуй даже поощряла эти собрания, потому что они отводили праздничное настроение молодежи в спокойное русло. Постепенно эти „чаепития" приобрели право гражданства и стали привлекать все больше и больше молодежи. Уличные беспорядки сокращались в размерах и уже в 1897 и 1898 годах порядок на улицах почти не нарушался. Самое большее было то, что студенты, выйдя из университета, шли через Неву гурьбой и пели „Gaudeamus"[1]. Дойдя через площадь до Невского толпа таяла постепенно, расходясь по ресторанам и трактирам. Можно было ожидать, что в настоящем году это явление было-бы еще слабее, чем в прошедшие годы.

Но умный ректор решил предупредить в нынешнем году все эти беспорядки. Совершенно не зная ни настроения молодежи, ни того, что в ее среде происходит, не обращая внимания на то, что и без его вмешательства явление это уже исчезало, — он составил и вывесил в университете об'явление, в котором предупреждал студентов, что за всякие беспорядки грозят им статьи такие-то и такие-то уложения о наказаниях. К сожалению, среди разных документов, теперь в изобилии ходящих по рукам и которыми я, в свою очередь, пользуюсь, как материалом, для своего изложения, — нет текста этого об'явления. Студенты говорят, что тон его был оскорбительный; и вообще этот перечень возможных, но еще не совершенных проступков, с итогами в виде статей уложения о наказаниях — производил впечатление странное

[1] Старая студенческая песня.

и небывалое еще во взаимных отношениях студентов с их начальством. Очень может быть, что к этому прибавилось впечатление от „иронической личности“ ректора. Ирония — плохое средство для обаяния в молодой среде. Об'явление было сорвано. Кто был настоящим автором его, — сказать трудно. Вначале говорили, что Сергеевичу оно было прислано от попечителя или от министра. Впоследствии В. И. Сергеевич говорил, что ответственность за него берет на себя. Нет никаких оснований этому не верить.

Наступило 8 февраля, петербургская знать с'ехалась на обычное торжество университета. Но как только Сергеевич вступил на кафедру, на хорах раздались шикания и свистки. Затем уже весь акт прошел под свист одной части студентов и аплодисменты другой, — вообще шум был столь значителен, что даже популярные профессора не могли произнести обычных актовых речей. Награды раздавались тоже под акомпанимент этого шума.

Таков первый акт этой драмы: до сих пор это довольно обычное происшествие в стенах университета. К сожалению, за этими стенами и притом совершенно независимо от происходившего, готовился другой акт, где главная действующая роль принадлежала уже полиции. Последняя решилась преградить студентам ход через дворцовый мост и вообще через Неву.

Зачем это было нужно, — сказать трудно, но во всяком случае это было сделано грубо и совершенно бессмысленно. Около здания университета уже заранее были в разных местах заготовлены отряды конных полицейских, которым повидимому было предписано не допустить „движения толпой“ особенно за Неву. Умные распорядители повидимому не приняли в соображение, что по окончании торжества, на котором присутствовало несколько

тысяч человек, движение толпою вблизи самого здания просто неизбежно и иначе нигде и никогда не происходит. Если-бы полиция выждала, если-бы отряды были расставлены вдали от университета, то во 1-х, быть может толпа рассеялася-бы сама собою, а во 2-х, тогда была-бы причина принимать те или другие меры.

Но обычная бесцеремонность полиции — это и есть „общий порядок вещей". Едва только „толпа" двинулась в ближайшем направлении за Неву, как из двора здания Академии Наук выехал отряд конной полиции и растянувшись поперек улицы от панели до панели, преградил движение через дворцовый мост. Студенты спокойно повернули в другую сторону и пошли на лед. На льду мостки оказались перерубленными заранее. Впоследствии мин. вн. дел в разговоре с профессором Фойницким отрицал этот факт, но этот факт несомненен: он подтверждается общими рассказами всех очевидцев.

Совершенно понятно, что и тут студентам пришлось вернуться. Между тем из университета выходили все новые и новые кучки, которые встречались с теми, кто был отодвинут от Дворцового моста и возвращался с Невы. Иначе сказать, полиция, несомненно, создала искусственное столпление молодежи и притом вызвала в этой толпе недоумение и раздражение: трудно не раздражаться, когда без всяких об'яснений отряд с нагайками преграждает дорогу на мост, в то время как и на реке ход предварительно испорчен. „Общий порядок" действительно вызвал в молодежи настроение довольно возбужденное.

Оставался теперь один путь на Николаевский мост, куда, понятно, и двинулась толпа, искусственно собранная распоряжениями полиции. Но в это время, от отряда, оставшегося назади, отделился полицейский офицер с конным

стражником и поскакал, с видимой целью обогнать студентов и ранее их приехать к мосту.

Остается не вполне выясненным, — был ли у Николаевского моста отряд полицейских или его не было. Студенты говорили мне, что впереди им виднелся такой-же отряд, и они были уверены, что их решено не пускать и туда, что, впрочем, после всего рассказанного было-бы вполне натурально. Когда офицер с солдатом приблизились к толпе, — его встретили снежками, лошади шарахнулись и офицер поскакал назад. Затем, став во главе отряда, он скомандовал: марш маршем. Многие студенты рассказывают, что он сказал при этом: „не повесят-же нас за эту сволочь студентов". Иначе сказать, даже сознавая возможность ответственности, офицер дал волю своему раздражению против студентов, раздраженных в свою очередь совершенно бессмысленными распоряжениями высших властей. Впоследствии студенты выражали опасение, что начальство принесет в жертву этого офицера, и таким образом окажется виновным по обыкновению „стрелочник". Повидимому особенного личного раздражения против офицера студенты не питают.

Как бы то ни было — „общий порядок вещей" проявился во всем своем значении. На толпу, не знавшую, чего от нее хотят и куда их гонят, почему ее „не пущают" в одну сторону и куда именно ей идти дозволено [1], — кинулись конные городовые и начали крошить нагайками кого попало. Шла мимо молодая девушка, совершенно посторонняя,—городовой сшиб ее нагайкой и бил еще на земле. Студенты были многие сильно избиты и окровавлены.

Вечером, по обыкновению, происходили „чаепития", — одно на Фонтанке, в доме коммерческого училища, другое

[1] Против этих строк на полях тетради написано: „Прообраз русской жизни".

на Петерб. стороне. Я получил приглашения на оба, но пошел на более многолюдное и ближайшее — на Фонтанку. Народу было очень много, настроение спокойное. Говорили сначала К. К. Арсеньев[1], потом профессора Яроцкий[2] и Свешников[3], потом В. А. Мякотин[4], потом студенты. Реч шла о современных настроениях, о марксизме, об „идеалистических сторонах учения Маркса", происходили прения, как обыкновенно, в конце концов розговор свелся на диалог между двумя спорившими, стало скучно, и я вышел в корридор.

В конце корридора, в обширной буфетной комнате слышалась песня. Пока мы прошли туда, песня уже смолкла и в кружке посередине зала плясали. Я взобрался на стол, чтобы лучше видеть. Какой-то кавказец отхватывал лезгинку, приглашая в круг молодую девушку, которая сначала стеснялась, но затем она поплыла впереди, разводя руками, а он топая и приседая, мчался за нею. Вся окружающая толпа молодежи принимала участие, хлопая в такт ладонями. Как только танец кончился и молодая девушка вошла в толпу, а в круг выскочил какой то студент в синей рубахе и начал откалывать „русскую", — вдруг среди шума раздался возбужденный голос:

— Товарищи! Одну минуту молчания.

Все смолкли. Какой-то высокий, красивый молодой человек протискался из задних рядов и сказал, страстно жестикулируя и сверкая глазами:

[1] К. К. Арсеньев (1827—1919), известн. писатель, юрист, общественный деятель, редакт. „Вестника Европы".

[2] В. Г. Яроцкий, экономист.

[3] М. И. Свешников, профессор государственного права.

[4] В. А. Мякотин, историк и публицист, впоследствии член редакции „Русск. Богатства".

— Не время плясать. Сегодня, утром, наших товарищей били нагайками, а вы здесь отплясываете... Стыдно!

Раздались шикания и крики: верно, верно! Студент в синей рубахе, прерваный в начале какого-то „колена", подошел к говорившему почти вплоть и, сложив руки на груди, сказал:

— Ну, что-ж такое. Вот меня самого утром избили... Завтра об этом потолкуем, а сегодня я пляшу. Валяй, ребята!

— „Верно, верно!" „Завтра все равно уже назначена сходка, а сегодня веселье. Валяй!" „Не надо! Не надо!"

Пляс возобновился, но без прежнего оживления. Многие ушли. По длинному широкому корридору шли кучки студентов, горячо обсуждая этот маленький инцидент. И всюду слышалось: „сходка, завтра сходка в университете!"

Было около часу. В зале всё продолжались дебаты, молодежь жалась к эстраде, где референт состязался с возражавшим ему ярым „марксистом". „Коллега сказал, что мы отрицаем всякую идеологию... Одна только классовая борьба и классовое самосознзание"...

Я оглянулся кругом. Завтра вся эта молодежь, принадлежащая к различным „классам" и слоям общества, поставит на карту все свое будущее и может быть в том числе оратор, не признающий ничего, кроме классового сознания и „экономических факторов"...

В час мы с Н. Ф.[1] вышли на Фонтанку и пошли по Невскому вместе с М. И. Свешниковым, профессором. Профессора уже знали, что на завтра готовится огромная сходка. Впрочем, об этом, пожалуй, знал уже весь

[1] Вероятно Н. Ф. Анненский.

Петербург, и во всех слоях общества бродило сочувствие к избитым студентам.

Невский был уже почти пуст, только полиция была настороже. Трактир Палкина по распоряжению градоначальника был закрыт, электрический шар у входа потушен, наглухо закрытые двери красноречиво глядели на улицу, охраняемые целыми кучками городовых и околодочных... Даже нас, двух солидных людей, проводил пытливым взглядом какой-то зоркий полиц. офицер, стоявший на углу. Мы могли-бы успокоить полицию: не было никакого сомнения, что двери Палкина в эту ночь были решительно вне всякой опасности.

На другой день, 9 февраля, в актовом зале собралась громадная сходка, к которой Сергеевич обратился с речью. В речи опять преобладала ирония. Г. Сергеевич совершенно не понимал, до какой степени его ирония не идет к тому концерту, который уже начинался среди молодежи. Однако по предварительному решению, его выслушали молча, без всяких возражений. К сожалению, я не мог достать полного текста этой речи. Из многих пересказов я беру здесь то, что передавали все варианты. Сергеевич, во 1-х, указал на неуместность шума, который оскорбил гостей университета, что, конечно, было в значительной степени справедливо. Но затем он вставил несколько совершенных глупостей: он, Сергеевич, поставлен министром, министр — государем. Оскорбляя его, молодежь оскорбляет государя! Затем, все варианты приводят фразу: „законным путем вы ничего не добьетесь". Наконец, все это завершилось опять „иронией". — „Что-же касается до сражения с полицией, то это совершенные пустяки: в прошлом году студенты победоносно прорвали цепь полицейских, в нынешнем — военное счастие улыбнулось полиции... Маленькая взаимность, и ничего больше"...

Очевидно, г-ну ректору атаки „марш-маршем“ эскадрона против студентов кажутся чем-то не выходящим из „общего порядка вещей“...

Речь была выслушана в полном молчании, но молодежь тотчас-же сделала из нее свои выводы. Помириться с „взаимностию“, о которой говорил ректор, было разумеется невозможно. „Законным путем“ ничего добиться нельзя. Из этого, конечно, следовало, что остаются средства незаконные. Сходка, на которой было более 2 тыс. человек, „вотировала единогласно, — по словам „бюллетеня“[1], — деятельный протест против грубого и наглогопо ругания человеческого достоинства“[2].

10 февраля, после новой сходки, на которой был отвергнут „протест в форме петиции, как унизительный“, было принято решение: об'явить университет закрытым и всеми мерами добиваться официального закрытия. 11-го февраля это решение студенты начали приводить в исполнение. Большинство профессоров, и сами возмущенные поведением полиции, а также понимая, что сопротивлением только подольют масла в огонь — прекратили чтение лекций и советовали студентам спокойствие („спокойно и стойко идти к своей цели“ — сказано в „бюллетене“ 2-го дня по закрытии университета). Профессора Марков[3], Горчаков[4], Сергеевский[5] нашли свои аудитории пустыми, но сочли своей обязанностию просидеть на кафедре положенное время. При этом профессор Марков

[1] Бюллетени, составляемые студентами и посвященные событиям в университете в связи с возникшими волнениями.

[2] Против этих строк на полях тетради написано: „Расходились в образцов. порядке“.

[3] А. А. Марков, математик.

[4] М. И. Горчаков, профессор церковного права.

[5] Н. Д. Сергеевский, профессор уголовного права.

счел все движение, направленным к тому, чтобы вынудить его, профессора Маркова, сократить экзаменационные программы. Проф. Горчаков (священник), поставив стул в дверях, обратился к студентам с речью, проф. Глазенап[1] приглашал слушателей предаться изучению бесстрастных звезд, как занятию более возвышающему душу, чем политика. Но так как, к сожалению, бесстрастные звезды не решают вопроса о полицейских нагайках, то эти добросовестные попытки остались тщетными. Профессору Сергеевскому, начавшему лекцию, студенты помешали шумом.

В 12 часов (того-же 10 февраля) состоялась опять сходка в актовом зале, где между прочим Сергеевич обратился к студентам с речью. Бюллетень этого дня отмечает в этой речи „попытку придать студенческому движению политическую окраску". „Студенты, говорившие после ректора — опровергнули это утверждение" — прибавляют составители бюллетеня[2].

Вторая речь Сергеевича подробно изложена и гектографирована. Нужно отдать справедливость ректору,— он сказал много такого, что, как будто прямо стремилось утвердить сдудентов в принятом решении.

„Господа! Выслушайте меня спокойно и до конца, так как я быть может, говорю перед вами в этом составе в последний раз. Императ. Спб. Университет переживает в настоящую минуту критический момент... Я помню много студенческих историй, помню знаменитые первые волнения 1862 г., и после них я пережил и был свидетелем немалого числа таких историй, и я скажу, что такого критического момента еще не переживало студенчество никогда и нигде. (В изложении эти слова подчеркнуты. Ректор подчеркивал грандиозность начавшегося движения, а молодежи и без того, конечно,

[1] С. П. Глазенап, профессор астрономии.

[2] Против начала следующего абзаца на полях дневника написано: „Указание на необход. сдержанного повед. студ."

казалось, что их волнение охватило всю Россию)[1]... Вас, конечно, не удивит, что я не признаю правильным вашего решения и попытаюсь обвинить вас перед вами самими и перед вашим здравым смыслом. Выслушайте и обдумайте в одиночку то, что я вам скажу. Всякое дело можно правильно обдумать, только обдумывая его спокойно, что совершенно невозможно в толпе, заключающей свыше 1500 ч. Подобные вопросы (какие?)[2] можно обсуждать только в уединении. Я еще раз обращаюсь к вашему разуму и прошу обдумать то, что я буду говорить. При всяком действии можно надеяться на успех, лишь соображая окружающие условия. Без счета и взвешивания условий нельзя добиться успеха. Это хорошо знают юристы, а еще лучше натуралисты. Вы могли-бы требовать даже райских птиц, но какова их судьба в нашем климате. Они ведь, господа, совершенно не переносять его. С этой точки зрения (необходимости действовать сообразно с условиями) я и разберу ваши действия. Университетские правила запрещают сходки. Почему? Во 1-х студентам не предоставлено право решения вопросов. Второе — правильное решение какого-бы то ни было вопроса невозможно при такой массе. Нигде нет такого многочисленного парламента. Бывают многолюдные сабрания, но вопросы предварительно обсуждаются комиссиями немногочисленными и затем уже представляются собранию (ректор забыл, что то же самое сделали и студенты,— с самого начала движения им управлял комитет кассы, предварительно обсуждавший все вопросы и затем предлагавший их собранию)[3]. Разберем ваше решение. Оно невозможно, и вы приняли его только потому, что действовали такой громадной толпой. Ваши уполномоченные просили меня ходатайствовать перед начальством о закрытии университета. Если это не будет достигнуто, то вы обещали (говорю то, что мне передавали уполномоченные) — прибегнуть к обструкции. Что такое обструкция? Это слово английское, оно обозначает помеху, вмешательство. „Если не будет закрыт университет, мы будем мешать отправлять его функции". Скажите! Ведь вмешательство возможно только силой! Ныне существующий порядок в университете состоит в том, что в такие то дни и часы читаются такие-то лекции. Наблюдение за исполнением этого порядка возложено на меня. Вы приняли обструкцию и совершенно изменили нормальный порядок. В университете распоряжаюсь не я, а ваши уполномоченные, функционирует

[1] Слова, заключенные в скобки, принадлежат В. Г.

[2] Замечание В. Г.

[3] В скобках слова В. Г.

„временное правительство". Этого легко было достигнуть, так как смести меня было нетрудно. Какие у меня силы? Один инспектор, 4 его помощника, да человек 30... не знаю как их назвать... педелей. Мы выметены, здесь теперь временное правительство, которое не позволяет читать лекций. Некоторые профессора сказали, что они встретили силу (?). Нормальный порядок нарушен, и я могу лишь сказать: подумайте, — вы сместили меня, за мною стоит попечитель, за ним министр, а дальше... Вы выбросили меня, назначенного по указу Его Величества и я считаю своим долгом предупредить вас о последствиях. Вот к чему привело вас обсуждение вопроса толпою в течение целого вчерашнего дня! Вы сделались нарушителями закона! Неужели кто нибудь серьезно подумал, что я могу передать министру ваше требование, чтобы университет был закрыт. Университет существует по воле Императора и может быть закрыт только по распоряжению высшей власти. Никогда решение, идущее снизу, не будет принято во внимание. Знайте это. Ваше решение трудно даже и передать[1].

„Теперь поговорим о поводе вашего недовольства. Повод действительно прискорбен. Все о нем знают, и все его осуждают. Еще в понедельник вечером (значит до того, как я беседовал с вами) я был у градоначальника, просил его обратить внимание на происшедшее и подвергнуть наказанию виновных. Затем я был у министра и сообщил ему даже приметы этого поручика. Господа! Нередко случается, что усердная полиция перехватывает через край. Что делать? В дисциплинарном порядке преследовать ее за это трудно. Я даже не удивлюсь, если мне сообщат, что поручик получил чин штабс-капитана. Средств для борьбы с этим нет[2]. Никаких мер принимать невозможно (восклицание: совершенно верно! Мефистофель-ректор не заметил, что он аргументирует в пользу средств и мер незаконных, так как законных нет)[3]. Вчера[4] я был на обеде с известным вам сенатором А. Ф. Кони. Я сообщил ему о вашем прискорбном решении закрыть университет...

[1] Против последних строк этого абзаца на полях дневника написано: „Прося закрытия университета молодежь просила в сущности, чтобы университетская корпорация признала его право нарушенным и настаивала на восстановлении права".

[2] Против этих строк на полях дневника поставлен знак notabene дважды подчеркнутый. Курсив вероятно В. Г.

[3] Здесь и ниже слова, взятые в скобки, принадлежат В. Г.

[4] Против слова „вчера" на полях дневника пометка В. Г. „19 февр.?"

Он удивился и сказал мне: „если-бы студенты требовали закрытия полиции, это было-бы логично. Но требовать закрытия университета! Где последовательная связь между всем происшедшим и подобным решением?..."

„В массе,—опять возвращается ректор к этому несчастному коньку,—трудно решать вопросы, она омрачает логику... Существует целое сочинение о психологии толпы... Это приводит к неверным решениям. Полиция поступила дурно, так как превысила свои полномочия, но это не уполномачивает вас делать беззакония. Из за того, что полиция делает глупости, не следует нарушать законов. Вообще, нельзя ожидать, чтобы полиция была деликатна.

„Теперь (т. е. после столь блестящей аргументации!) — я прошу вас спокойно разойтись, так как ваше положение весьма рискованно . . . . . Нельзя устраивать революции в университете. Представьте себе революцию в закрытом заведении по Неве в д. № 7[1]. Подумайте также и о том, что нельзя так нарушать правила. Все их читали, все подписались и обещали исполнять. Исполнять правила — это дело вашей чести!

„Теперь, господа, разойдитесь и обдумайте ваше критическое положение"...

Речь была выслушана в полном молчании, и конечно, молодежь тотчас-же сделала свои комментарии. Законных средств нет, полиция поступает безобразно и нельзя ждать лучшего... Следовало-бы закрыть полицию, а не университет... но вероятнее всего, что поручик будет награжден за безобразный поступок ...Под всем этим мог бы подписаться самый ярый агитатор. Трудно было только принять выводы, будто все зло происходит от обсуждения вопросов скопом. Ну, хорошо,— скажут студенты,— мы разойдемся и будем думать в уединении ... Будет-ли тогда наказан поручик, станет ли полиция деликатнее, прекратится ли безобразный произвол, ничем не вызванные аресты, высылки, нападения. „Трудно ждать" — отвечает, пожимая плечами, умный ректор ... Законных

[1] В Кадетском корпусе.

средств борьбы нет. Поручик поставлен градоначальником, градоначальник государем ... т. е. вас нагайками колотил государь.

Это говорил ректор университета, юрист—взволнованной молодежи, и это он предлагал обдумать в уединении ...

Разумеется, все эти увещания подействовать не могли и все шло своим чередом.

То самое, чего добивались студенты и что ректор называл совершенно невозможным,—он сам осуществил очень скоро и чрезвычайно просто: он пригласил в стены университета полицию: г. г. околодочные и городовые заняли входы, отбирали билеты, записывали фамилии, а г. г. профессорам предоставлялось проходить к кафедрам сквозь строй охранителей. Одного приват-доцента спросили „вид", и, не долго разбирая, арестовали, впредь до удостоверения личности. Совершенно понятно, что даже те профессора, которые считали нужным ранее читать лекции, теперь от этого отступились. Рассказывают, что у свящ. Горчакова, профессора церковного права, того самого, который в первый день, поставив стул в дверях, произносил слово убеждения к студентам, толпившимся в корридоре,—у это самого свящ. Горчакова произошел любопытный разговор с градонач. Клейгельсом. Священник-профессор заявил, что он считает себя оскорбленным присутствием полиции в стенах университета. На это Клейгельс заговорил в высоком стиле, заявив, что начало, которым руководствуется полиция—„есть любовь к ближнему ... Согласитесь, батюшка, что любовь к ближнему"...

— Позвольте вам заметить,—ответил с достоинством священник,—что я, кроме того, что батюшка, еще профессор-юрист и хорошо знаю устав о предупреждении и пресечении преступлений. И я нахожу, что поведение полиции совершенно незаконно ...

Некоторые профессора, правда, пытались читать и при этих условиях,— это были Ведров[1], Георгиевский[2], Фойницкий[3], и Исаев[4]. Особенно заманчивым казалось это А. А. Исаеву. Он сильно радикальничал в Вольно-Экономическом обществе[5] — с одной стороны. С другой,— хотя он исторгал у молодежи бурные рукоплескания разными красивыми и смелыми оборотами речи,— но под всем этим все таки не было уважения. Теперь он опять избрал лисий ход. Надеясь на свою ораторскую популярность, он всходит на кафедру, в надежде, что молодежь кинется к нему, ожидая чего нибудь особенно радикального. И, конечно, она-бы не обманулась. А с другой стороны,— какое благодарное положение перед своим начальством: он один читал во время беспорядков, и его все таки слушали!.. Но расчет не удался. Пройдя сквозь строй городовых, выстроившихся у профессорского под'езда, он ответил студентам, просившим не читать, что он еще подумает и при этом выразил мысль, что, по его мнению, „честных профессоров можно слушать и в военное время". Студенты жестоко освистали честного г-на Исаева. „Профессор, читающий лекцию в присутствии полицейских чинов, представляет зрелище, красоту которого мы предоставляем оценить читателю", сказано по этому поводу в бюллетене. Это было 13-го февр. В этот день толпа в 1500 ч. была препровождена в манеж и там переписана.

К этому времени к движению, принявшему характер настоящей забастовки учащейся молодежи, примкнули

[1] С. В. Ведров, профес. полицейского права.

[2] П. И. Георгиевский, проф. политической экономии.

[3] И. Я. Фойницкий, проф. уголовного права.

[4] А. А. Исаев, профес. политической экономии.

[5] „Вольное Экономическое Общество" — старейшее ученое об-во в России, основанное в 1765 г.

12 февраля: Горный институт, Лесной инст., Медицинская академия, Женск. медиц. инст., Электротехнический, наконец даже Институт инженеров путей сообщения. 13 февраля забастовали: Технологический институт, Инст. гражд. инженеров и Высшие женские курсы (последние — после бурных столкновений между большинством и меньшинством). Кроме того выразили сочувствие Курсы Лесгафта, Рождеств. курсы, Академия художеств и даже Зубоврачебные курсы.

У меня нет под руками формулы требований, выставленых студентами университета. Но эти требования ясно выступают в заявлениях других заведений. Всюду молодежь горячо протестует против полицейского произвола в разных его видах. Так, студенты Института пут. сообщения прислали в университет следующее заявление:

„Студенты всех 5 курсов Инст. Инж. путей сообщ. всецело присоединяются к вашему протесту против возмутительного произвола полиции 8 февраля и, выражая вам свое сочувствие, постановили: прекратить посещение лекций до тех пор, пока вы не получите удовлетворения за происшедшее и пока все мы не будем гарантированы на будущее время от возможности повторения подобных фактов".

„Весь интерес настоящей минуты, — говорит „постановление организац. комитета Горного Института", — заключается в ожидаемом ответе комитета министров на выставленные студенчеством требования: суда и гарантий против произвола полиции. Требование гарантий личной неприкосновенности, этого основного принципа всякого цивилизованного общества, остается по прежнему главным требованием студенчества, за которое оно будет до конца бороться. Произвол полиции, (выразившийся в побоище 8 февр., занятии университета и т. д.) теперь начинает переходить терпимую меру — начинаются массовые аресты и высылки (78 универсантов и 2 технолога), к которым, конечно, нельзя оставаться равнодушным. Эти меры также произвольны и возмутительны, как и предыдущие. Пусть помнят товарищи, что никакие частные удовлетворения наших требований не могут остановить нас в стремлении к достижению общей раз намеченной цели: получения гарантии личной неприкосновенности".

То-же говорится от лица студентов Лесного института: полное удовлетворение за оскорбление, нанесенное студенчеству, гарантии физической неприкосновенности и опубликование правил, которыми руководствуется полиция по отношению к студентам.

„Итак, товарищи,— заключает унив. бюллетень 3 дня по закрытии университета (13 февр.),— наш протест ... возвысился до протеста науки и просвещения против дикого произвола ... Теперь перед нами великая цель, но зато на нас возлагается великая ответственность перед присоединившимися к нам товарищами и перед всем русским обществом".

К 20 февраля забастовка охватила следующие заведения:

1) Спб. Университет	с 10	февраля . .	3964 чел.
2) Военно-медиц. академия	12	„ . . .	750 „
3) Моск. университет	16	„ . . .	4500 „
4) Киевский „	17	„ . . .	2796 „
5) Лесной институт	12	„ . . .	502 „
6) Горный „	12	„ . . .	480 „
7) Технологич. институт	13	„ . . .	1024 „
8) Электротехнич. „	12	„ . . .	133 „
9) Инст. инж. пут. сообщ.	12	„ . . .	888 „
10) Инст. гражд. инж.	13	„ . . .	353 „
11) Историко-филологич.	15	„ . . .	90 „
12) Московское техн. уч.	15	„ . . .	1000 „
13) Сельско-хоз. инст.	18	„ . . .	неизв.
14) Киевск. политехникум	17	„ . . .	340 ч.
15) С.-хоз. инст. в Ново-Александрии	16	„ . . .	неизв.
16) Высшие ж. курсы	13	„ . . .	960 „
17) Ж. медиц. курсы	12	„ . . .	370 „
18) Ж. педагогич. курсы	16	„ . . .	183 „
19) Рождеств. курсы	13	„ . . .	250(?) „
20) Курсы Лесгафта	12	„ . . .	200 „
21) Зубоврач. курсы	—	. . .	—
22) Академия художеств	14	„ . . .	375 „
23) Духовная академия	—	. . .	252 „
24) Рижский политехникум	18	„ . . .	1500 „
		Всего свыше .	20896 чел.

20 февр. в № 41 „Правит. Вестника“ напечатано высочайше повеление:

„Государь Император высоч. повелеть соизволил ген.-ад'ютанту Ванновскому произвести всестороннее расследование причин и обстоятельств беспорядков, начавшихся 8 сего февраля в Импер. Спб. университете и затем распространившихся на некоторые другие учебные заведения и о результатах сего расследования представить на высоч. усмотрение.

Вместе с сим Е. И. Величеству благоугодно было указать, что принятие мер к восстановлению в упомянутых учебных заведениях порядка остается на обязанности главных начальников сих заведений“.

Это высоч. повеление вызвало в молодежи раскол и раздвоение. Часть студенчества отнеслась скептически к будущим результатам расследования.

„Тем не менее,— писали студенты, — назначение следствия является очень важным событием. Это непосредственный практический результат нашего движения, а наше движение — первое студенческое, достигшее практических результатов. Причина этого та, что мы боремся не за какие либо эгоистические цели, не за студ. „привиллегии“, а за неприкосновеноость одного из самых элементарных чувств человека,— за человеческое достоинство, нагло поруганное 8-го февраля. Нагайка в России должна отойти в вечность. До сих пор полиция не поняла этого, — наивно прибавляють авторы, — теперь общество заставит ее понять“. Но, совершенно резонно прибавляют они— „генерал Ванновский назначен для расследования дела и решения вопроса кто виноват, а наши товарищи, по инициативе вступившего в союз с полицией ректора В. И. Сергеевича без суда, и в некоторых случаях даже без причины, исключены из университета и высланы из Петербурга[1].

Из назначения следствия логически вытекает необходимость немедленного возвращения высланных без суда и следствия. Некоторые из высланных принадлежат и числу пострадавших от полицейских

[1] Один из высланых, Дм. Ноздрин во все эти дни не был в университете, а другой (Альтван) пришел лишь затем, чтобы передать тому-же Сергеевичу зачетное сочинение. (Прим. В. Г.).

нагаек (Щепотьев, Волкенштейн). Очевидно на предстоящем следствии они должны явиться в качестве обвинителей".

Ко всем этим совершенно бесспорным указаниям воззвание прибавляет — „нежелание удовлетвориться ответственностью мелких администраторов" ... Причины явления, вызвавшего волнения,— „в недостаточной регламентации прав полиции, в отсутствии для нее судебной ответственности"...

„С прежним спокойствием, с прежнею твердостию мы должны продолжать наш оправданный событиями образ действий до тех пор, пока не окончится следствие и не будет начата разработка вопроса о наших требованиях, притом такая разработка, в плодотворности которой мы были-бы уверены, т. е. когда наши требования в основном их принципе будут признаны подлежащими удовлетворению. При действительном желании справедливого разрешения дела, — следствие должно окончиться скоро".

К этому решению примкнули депутаты всех петерб. заведений, но скоро стало очевидно, что „временное правительство" стало терять прежнее влияние на массы. Против напряжения этих бурных дней в молодежи уже началась реакция, а правит. сообщение подало выход этому чувству. Медико-хирургическая академия после речи военного министра Куропаткина — первая прекратила забастовку.

В понед. 1 марта в университете ожидается сходка, на которой должно быть принято окончательное решение. Решение университета, конечно, будет в значительной степени лозунгом для остальных заведений.

9 — 12 апреля 99

Долгий перерыв в моих записях. В это время произошло много событий. Но прежде всего заношу нечто pro domo.

Третьего дня наш редактор П. В. Быков[1] получил приглашение в Гл. Упр. по делам печати. Вчера я пошел вместо него. Соловьев принял меня вежливо и с первых слов протянул следующую бумагу.

Финляндск. Ген.-Губернатор В. секретно.
В гор. Гельсингфорсе.

1 Апреля
№ 501.

Милостивый Государь
Михаил Петрович[2]

В № 3 журн. „Русское Бог." за март месяц настоящего года, в отделе „Хроника внутр. жизни", на стр. 152-й, помещена статья под заглавием: „Финлядские дела", из которой, между прочим, видно, что „форма правления" 1772 г. подтверждена, будто-бы, Сеймовым уставом 1869 г. и действует ныне. Так как указание это является извращением истины, ибо упомянутое шведское узаконение до сего времени никаким законодательным актом с Высоты Русского Престола не признано имеющим силу закона, то не изволите-ли Ваше Превосходительство признать возможным обратить внимание на несоответственность вышеуказанной статьи действительному положению края. Подобные авторы поощряют только сепаратизм финляндцев и тем затрудняют лишь скорейшее достижение той тесной связи между окраиной и центром, на необходимость и важное значение которой Его Императорское Величество неоднократно изволил обращать Свое Высочайшее внимание.

Прошу Ваше Превосходительство принять уверение в моем искреннем почтении и совершенной преданности Н. Бобриков[3]

[1] П. В. Быков был оффиц. ред. „Русск. Богатства"; фактических редакторов журнала, Н. К. Михайловского и В. Г. Короленко, Главн. Управление по делам печати не утверждало. В тетради дневника вклеена повестка Гл. Упр. на имя Быкова.

[2] М. П. Соловьев.

[3] Ген. Н. И. Бобриков был назначен на пост финляндского ген.-губернатора, в 1898 г. При вступлении в должность он представил Николаю II записку, в которой наметил программу деятельности в Финляндии, направленную к уничтожению конституционных прав

По этому поводу у нас произошел следующий разговор:

М. П. Соловьев. Так вот, Владимир Галактионович. Вы видите, что дело очень серьезно. Нужно поправлять. Вы должны в какой нибудь форме напечатать от себя поправку, написать, что вы ошиблись.

Я. Но если мы не ошиблись.

Сол. Вы видите, что пишет ген.-губернатор. Я из доброжелательства говорю вам: поправьте! Иначе журналу грозит очень серьезная опасность. Не думайте, что если Р. Бог. подцензурно, то ...

Я. Я знаю статью, о которой идет речь, она чисто фактическая и вся состоит из цитат, взятых из официальных источников.

Сол. Все равно! Статья Мехелина[1] в „Вестнике Европы" тоже состояла из цитат и однако „В. Евр." об'явлено предостережение. Вы, как журнал подцензурный, предостережения получить не можете ... Я говорю с вами потому, что хочу вам же добра.

Я. Очень благодарен. Но мне кажется, что раз мы приводим достоверные факты... То, что не понравилось ген. Бобрикову,— есть цитата из закона. Неужели пресса не вправе делать даже ссылок на законы.

Сол. (с некоторым раздражением). Пресса все может. Все! Но и правительство может принимать свои меры. Я лишь советую.

этой страны и к ее насильственному обрусению. „Об'единительная" политика Бобрикова, сопровождавшаяся наводнением Финляндии русскими шпионами, смещением сенаторов и высылкой из пределов Финляндии лиц, протестовавших против произвола, навлекла на Бобрикова всеобщую ненависть. 3-го июня 1904 г. он был смертельно ранен сыном уволеного сенатора Евг. Шауманом, тут-же на месте застрелившимся.

[1] Лео Мехелин, финляндск. госуд. деятель и писатель.

Я. Еще раз благодарю. Нам остается только навести справки. Если наш сотрудник[1] ошибся, мы, конечно, сделаем все возможное, чтобы поправить ошибку.

Сол. Вы должны сделать даже невозможное...

Я. Надеюсь, Ваше П-во не рекомендуете нам сделать невозможное с нравственной точки зрения. А таково было-бы опровержение того, что по нашему есть истина. Вы позвольте мне еще раз прочесть письмо ген. Бобрикова.

Сол. Сделайте одолжение. Если хотите возьмите его с собой, только завтра верните. Покажите вашим товарищам. Они увидят, что дело крайне серьезно.

Он дал мне секретную бумагу и вежливо проводил до дверей. Вообще, на этот раз он держал себя с серьезной благосклонностью врача, разговаривающего с трудно больным.

На следующий день, когда я ему принес бумагу,— он спросил, принес ли я проект само-опровержения. Я ответил, что ген. Бобриков ошибается. „Форма правления“[2] несомненно подтверждена Имп. Алекс. II, и значит мы не имеем возможности отрицать факт исторически-несомненный. Соловьев совершенно изменил тон. Стал говорить резко. Я начал отвечать тоже горячась, но потом спохватился.

— Надеюсь, Ваше Пр-во,— сказал я,— что о финляндских делах можно здесь, в России, говорить спокойнее. — И при этом я сделал попытку уйти, прекратив разговор.

— Я говорю спокойно. Садитесь, пожалуйста... Я вам говорю только, что требование ген. Бобрикова должно быть исполнено.

[1] Автором статьи о Финляндии был Н. Ф. Анненский.

[2] Речь идет о конституционной форме правления, установленной в Финляндии актом 11 авг. 1772 г.

— Ген. Бобриков ошибается. Закон...

— Что вы мне говорите о законе... Ген. Бобриков знает.

— Я думаю, ген. Бобриков — не начальник гл. управления по делам печати.

— Он — генерал-губернатор Финляндии!

— „Русское Бог." издается не в Финляндии, а в России. Я не обязан считаться с мнением генер. Бобрикова. Я знаю Гл. Управление по д. печати, а Гл. Управление руководствуется русскими законами.

— Такого закона нет... На форму правления есть только ссылки. Вы читали Ордина, Мессароша? [1] Они доказали, что шведы обманом подсунули государю...

— Прошу извинить. Мы в историю закона не вдавались, и мнение гг. Ордина и Мессароша для нас не обязательно. Если мы позволим себе читать законы между строк и рассуждать о том, не подсунул ли их кто-нибудь обманом государю,— то пожалуй об'явим несуществующими очень много законов. Наш хроникер излагал факты и привел факт...

— Повторяю вам: такого закона нет.

— Он есть и я вам пришлю точную справку из первоисточников...

— Мне некогда ждать ваших справок. Завтра я делаю доклад министру,— и вы увидите последствия вашего упорства...

— Т. е. вы говорите мне, что примете строгие меры, не выслушав нашего об'яснения...

[1] Ордин и Мессарош — публицисты, проводившие в своих работах, посвященных финляндским делам „об'единительную" и обрусительную политику. Известны книги первого „Конституция Финляндии" и „Покорение Финляндии", и второго „Финляндия — государство или русская окраина".

— Я не принимаю мер. Я только докладываю министру.

— Это все равно. Ваш доклад будет односторонен, основываясь на явно ошибочном утверждении ген. Бобрикова. Нам ничего не стоит опровергнуть его, но, если вы предпочитаете не выслушивать обвиняемую сторону,— мне больше говорить не о чем. Мы — не литературные торгаши, примем последствия, но неправды писать не станем.

Повидиму, последнее заявление произвело на Соловьева некоторое впечатление.

— Пришлите ваше об'яснение, только мне некогда ждать. Нужно сегодня. Завтра доклад. Я живу на Караванной, д. № 9.

В тот-же день я с Ник. Федоровичем Анненским составил следующее письмо.

М. Г. Михаил Петрович.

По поводу замечаний Ваших относительно статьи „Финляндские дела" в хронике 3-й кн. „Русск. Богатства" имею честь представить ниже следующие об'яснения:

Цель статьи — чисто фактическое ознакомление читателей с последними законодательными актами относительно Финляндии. Ни со стороны освещения, ни со стороны расположения материала в сторону каких-бы то ни было тенденциозных выводов — статья замечаний не вызывает.

При изложении применявшегося до сих пор порядка, наш хроникер упомянул мимоходом о „форме правления" 1772 г., подтвержденной „Сеймовым уставом" 1869 г. На эту лишь одну ссылку и было во всей статье обращено внимание. Мы охотно признали-бы нашу ошибку, если-бы точная справка с соответствующими законами давала нам к тому возможность. Но, не говоря уже о других законодательных указаниях, самое Высоч. утверждение Сеймового устава, — в связи с которым только и упомянуто у нас о форме правления,— последовало в таких выражениях:

„Сохраняя за Собою принадлежащее Нам право в том виде, как оно установлено в „форме правления" от 21 Авг. 1772 г. и в акте

„соедин. и охранения" от 21 февр. и 3 Апреля 1789 г. и не изменено точными словами в вышеизложенном Сеймов. Уставе, Мы Высоч. одобряем и утверждаем сей устав..." (Сборник Постановлений Вел, Княжества Финляндского 1869 г. № 11, стр. 27).

Никаких затем правительственных раз'яснений в противоположном смысле сделано не было.

Держась в пределах строго фактического изложения, хроникер наш не мог обойти ссылки, в ряду других, и на этот закон. Позволяю себе повторить, что центр тяжести статьи лежит, во всяком случае, не в этом мимоходном замечании и что ни в этом пункте, ни в дальнейшем изложении никаких фактических погрешностей, ни даже просто суждений о событиях, происходящих в Финляндии, не заключается.

Прошу принять уверение в совершенном
моем уважении Вл. Короленко, Изд. ж. Р. Б.

В первый день (7-го) Соловьев просил сохранить в тайне эти прелиминарные переговоры. Но на следующий день, когда он заявил решительно, что завтра сделает доклад министру, я счел уже себя свободным и 9-го отправился к председателю Ценз. Комитета кн. Шаховскому. Он был крайне поражен и рассержен:

— Мы ничего не знаем... Ведутся переговоры, готовится доклад министру, а у Ценз. Комитета даже не спросили мнения... Что они там солят и варят, просто непостижимо. Я переговорю с М. П. Соловьевым.

10-го я получил очень вежливую бумагу, приглашавшую меня в Ценз. Комитет к 4 часам. В 4 часа 20 м. князь Шаховской пришел прямо из Гл. Управления и, пригласив меня в свой кабинет, сообщил, что всё миновало.

— Вчера он долго настаивал, но, впрочем сказал, что „Короленко хотел прислать справку и об'яснение"... Я читал ваше письмо. Совершенно очевидно, что ген. Бобриков ошибается. Нельзя-же заставлять людей от себя писать явную неправду...

Я поблагодарил кн. Шаховского и поехал сообщить встревоженным товарищам о том, что гроза миновала. Это, кажется, если не первый, то во всяком случае весьма редкий случай, когда редакция имела возможность представить об'яснение прежде, чем ей назначена кара. И этого едва можно было добиться настойчивыми требованиями! Я уже отмечал много случаев, когда газеты приостанавливались и лишь после этого оказывалось, что причина суровой кары — чистое недоразумение или сознательная ложь доносивших...

Между тем по городу начинают ходить слухи о происшествии с „Р. Бог.“. Вчера пришел ко мне писатель еврей Линовский-Трофимов и шепотом сообщил, что над „Р. Бог.“ собирается гроза. И. Я. слышал громкий разговор в Гл. Упр. „Да что тут церемониться! Прямо закрыть“. Кто-то еще советовал... чтобы цензора отказывались читать „Р. Б.“. Тогда можно признать его особо вредным и не поддающимся цензуре... Очевидно, это запоздалый отголосок нашей истории. Очевидно также из этого совпадения, что эти разговоры в Гл. Управлении действительно были...

14 апр. 99

Любопытная подробность того-же инцидента: в четверг и пятницу М. П. Соловьев грозил закрытием журнала, в четверг и пятницу-же, 8—9 апр. в №№ 93 и 94 газеты „Свет“ появились передовые статьи, направленные против той-же статьи „Русского Богатства“. Я читал только вторую. Начинается она так: „Не ограничиваясь извращенным толкованием значения „формы правления“, автор статьи „Русского Богатства“... и т. д. Это начало с придаточного предложения, одинаково понятно, как продолжение передовой статьи в газете Виссариона

Комарова и как продолжение Бобриковской бумаги в Гл. Управление по делам печати, которая начиналась с „формы правления". Уже давно говорят, что статьи в „Свете" или прямо сочиняются или, во всяком случае вдохновляются в канцелярии финляндского ген.-губернатора. Интересно, что именно „Свет" и „Моск. Вед." доставили русской печати сведения о депутациях финляндцев, о петиции их, и т. д. [1], сведения, которые не могли бы пройти ни в каком другом органе и которые в перепечатках из „Света", обошли всю русскую прессу. Мы заимствовали их оттуда-же,— причем, конечно, отбросили лишь ругательства, пришитые механически к фактическим описаниям. Понятно, что ген. Бобрикову трудно было возражать что нибудь против этой части статьи, которая вся составлена из материала, выдержавшего его благословение. В доносительной статье это сделать гораздо легче, чем в оффициальной бумаге. И действительно статья заключает комментарии, в роде следующих: Автор „удивляется, что законопроект воинского устава для Финляндии вырабатывался в русском главном штабе" (никакого удивления в статье, замечу, не было). Он как-бы ужасается (!) также тому, что новый закон должен иметь результатом „ликвидацию самостоятельной финской армии"... (опять никакого ужаса не было, а лишь сообщался факт). Затем автор позволил себе, говоря о назначении ген. Бобрикова, слово „об'единительная" поставить в кавычках. „В общем-же выводе,— заканчивается эта интересная статья,— скажем лишь одно: все наши вышеприведенные об'яснения отнюдь не адресованы

[1] Речь идет о депутациях от Сената, Сейма и общин Финляндии, являвшихся в Петербург с целью добиться отмены „положений" 3-го февраля. Депутация эта царем принята не была и вернулась ни с чем. После этого Гельсингфорс облекся в траур.

ни [к] г. О. Б. А.[1] ни к ред. „Русского Богатства“ в лице господ В. Г. Короленко и Н. К. Михайловского, ни тем менее к их оракулам и источникам — финляндским историкам, публицистам и сочинителям конституций: этих господ, всех вместе взятых, переубедить невозможно путем печатного слова. Их убедят разве только правительственные акты и распоряжения“... Намек достаточно ясный. Писано 9-го, а 10-го должен был состояться доклад министру... Вероятно В. В. Комаров будет даже несколько удивлен: пока правительственного распоряжения не последовало. А впрочем... все это, конечно, отразится на нас сильно. И подумать, что всю эту „политику“ держит в руках В. В. Комаров, уличенный в глазах всех беспристрастных людей в подкупности!..

Кроме нас, донос Комарова касается еще бедного „Журнала для всех“, который „за непомерно дешевую цену 1 рубля в год“, угощает читателей тоже вредными сведениями о государственном устройстве Финляндии...

О, российская политика!

Вечером узнал, что нас начал обстреливать и Мессарош в „Моск. Вед.“. Мессарош теперь человек знаменитый, даже не человек, а знамя: в Финляндии он подвергся преследованиям, о которых в том же „Свете“ сообщалось не без злорадства.

„Некий г. Бранд (писали в „Свете“), вновь назначенный цензором из гор. Гаммерфорса в гор. Выборг, вместо уволенного отставного майора Франкмхаузена, п о п а л с я, по словам газет, в в о р о в с т в е; он извлек из ошибочно засланного к нему и адресованного однофамильцу

[1] О. Б. А. (т. е. „Оба“) общий псевдоним В. Г. Короленко и Н. Ф. Анненского. Этим псевдонимом подписывались заметки (обычно в отделе хроники внутрен. жизни), темы которых обсуждались ими сообща. Писались же заметки одним из авторов вполне самостоятельно.

денежного письма 150 марок, а самое письмо отослал по назначению. При обыске у Бранда нашли рекомендательную карточку П. И. Мессароша, адресованную помощнику нач. финляндского жанд. управления в гор. Выборге, ротмистру Габеру фон-Грейфенфельсу, с просьбою оказать подателю всевозможное содействие". („Свет", перепечатано в „С. Отеч." 8 и 10 марта №№ 64 и 66)

Таким образом, началось уже „обрусение" края. Мессарош, человек с весьма сомнительным прошлым, уже стал „пружиной" в финляндской обрусительной машине, и подбирает себе под стать „благонадежные" элементы. Литератор рекомендует жандарму благонадежного человека, а благонадежный человек прямо принимается красть вложения чужих писем (в Финляндии деньги пересылаются просто в зак. письмах). Это прообраз целой системы, которая отныне водворяется в Финляндии. У нас, конечно, г. Бранд стал бы прямо неприкосновенным лицом, но в Финляндии нравы прессы, а отчасти и цензуры еще не подверглись коренному обрусению, поэтому и проделка Бранда, и рекомендация Мессароша стали всем известны, и Мессарош подвергся бойкоту: его гнали с квартир, из меблир. комнат, ему не подавали есть в ресторанах. Дошло до того, что ночевать ему пришлось в казармах.

„Моск. Вед." и „Свет" громят финляндцев, а г. Мессарош стал человеком-знаменем...

С тех пор, как началась новая эра, в Финляндии уже закрыты или приостановлены 4 газеты: прекращен выход „Oestra Finland" (в Выборге, куда цензором рекомендован благонадежный Бранд). В конце марта, по сообщению „Нов. Времени",— ген.-губернатор „вынужден был" (какое сочувствие к бедному ген.-губернатору!) на днях приостановить две газеты „Nya Pressen" и „Aftonposten"— на месяц (по сообщению той-же газеты, редакторам тотчас-же были устроены овации: певческие общества пели под окнами, в присутствии огромной толпы, из

провинции получена масса приветствий). Газете „Vaort Land“ об'явлено первое предостережение...

Можно было бы подумать, что кары эти — вызваны экстренным положением Финляндии. Но и другие области России видят то же в небывалом изобилии. Между прочим, Варшавский ген.-губернатор 27 марта оштрафовал на 300 руб. редактора газеты „Kuryer Warszawski“ (на основании утвержд. 20 сент. 1876 г. положения о Комитете по делам Царства Польского) за то, что тот отказался принять пожертвование в 3 руб. в пользу голодающих русских крестьян [1]. Выходка редактора — глупая, но и кара неумная, так как участие в той или иной форме в пожертвованиях должно быть только добровольное.

Это окраины. В России за это время:

20-го февраля 1899 года. В виду вредного направления журнала „Вестник Европы“, проявлявшегося неоднократно в статьях этого журнала касающихся правительственных мероприятий в Финляндии, особенно-же в статье Мехелина — „Новая книга г. Еленева и поправки к ней“, напечатанной в № 12 за 1898 год, и в статье „Из общественной хроники“ — в № 2 текущего года, министр внутренних дел, на основании ст. 144 уст. о цензуре и печати, Св. Зак. т. XIV (изд. 1890 г.) определил: об'явить журналу „Вестник Европы“ второе предостережение, в лице издателя-редактора действительного статского советника Михаила Стасюлевича.

14 марта, на основании ст. 178 Уст. о ценз. и печ., св. зак., т. XIV (изд. 1890 г.) министр внутренних дел определил: воспретить розничную продажу нумеров газеты „Приазовский Край“.

18 марта, на основ. ст. 155 — прекращено печатание частных об'явлений в газ. „Народ“.

27 марта на основании опять ст. 178, — газете „Народ“ воспрещена розничная продажа.

[1] „Сын Отеч.“, № 90, — 1899 г. Перепечатка из „Варшавского Дневника“. (Прим. В. Г.).

Того-же 27 марта, „в виду допущенного газетой „Киевлянин“ (бесцензурное провинц. издание) нарушения распоряжений министра вн. дел от 22 окт. 1897 г.“, на основании опять 178 ст. — воспрещена розничная продажа.

29 марта.

Распоряжение министра внутренних дел.

29-го марта 1899 года.

В виду вредного направления газеты „Сын Отечества“, выразившегося с особою резкостью в статье „Женский вопрос“, помещенной в № 84 этого издания, министр внутренних дел, на основании ст. 144 Уст. о ценз. и печ. (изд. 1890 г.), определил об'явить газете „Сын Отечества“ первое предостережение.

3 апреля:

В виду нарушения газетою „Биржевые Ведомости“ распоряжения Главного Управления по делам печати от 17-го марта 1899 г., допущенного в передовой статье № 91 этого издания, министр внутренних дел, на основании ст. 144 уст. о ценз. и печ., определил: об'явить газете „Биржевые Ведомости“ третье предосторожение, в лице издателя ее Станислава Проппера и редактора Иеронима Ясинского. с приостановлением газеты на два месяца.

Предостережение „Биржев. Ведомостям“ находится в связи с студенческими беспорядками. В статье „Что делает доброта“ газета прославляла плоды „доброты государя“ в то самое время, когда студенческое движение было уже об'явлено в правит. распоряжении движением чисто политическим и молодежь сотнями сажалась в тюрьмы и высылалась. В это именно время какой-то „певец зимой погоды летней“ — решился выступить с восторгами по поводу доброты и ее чудесных результатов, яко-бы сказавшихся в этом деле.

И претерпел, подобно известному щедринскому герою, излишне возлюбившему начальство...[1]

В студенческом движении за то время, как я не записывал в дневнике, произошли многие события и крупные перемены. После 20 февраля молодежь употребляла, видимо, все усилия, чтобы удержаться от всяких волнений. Разумеется, были среди нее горячие головы, сразу не доверявшие „миссии ген. Ванновского", но большинство и в том числе элементы организующие — хотели удержаться. В Петербурге начались лекции. Но в самом начале сделана крупная ошибка, которой воспользовалась высшая администрация. Миссию Ванновского ограничили Петербургом, а поддержание внутреннего порядка в заведениях предоставили учебному начальству. В Петербурге все пошло довольно гладко. Между прочим, в газете „Право" появилась статья К. К. Арсеньева, указывавшая на то, что раз начато „расследование", то необходимо вернуть пострадавших уже и наказанных без всякого расследования, по решению администрации, которая явилась таким образом судьей в собственном деле. Высланных действительно вернули, ограничившись карцером и тому подобными

[1]) Разрешено 18 Апр. Есть слух, что статья в „Биржев. Ведомостях", послужившая поводом к запрещению, доставлена С. Ю. Витте! — Характерно: в первом-же № „Биржевых Ведомостей", вышедшем 18 апреля в 1 день Пасхи, имеется грубая „благодарность" помиловавшему газету начальству: И. И. Ясинский печатает целый фельетон, посвященный книге М. П. Соловьева „По св. земле", вышедшей..... в 1897 году! Теперь, через 2 года посредственная книжонка расхваливается на все лады: „высокое настроение", „об'ективная художественность", „язык благородный", „краски ярки и гармоничны"... („Биржев. Вед.", 18 апр. 1899, № 93). Обнаженное холопство перестает даже казаться чем-то необычным! (Прим. В. Г.).

взысканиями. Но в то-же время в других городах продолжались массовые высылки и аресты. Особенно в Варшаве, где незадолго перед тем часть студентов устроила демонстративные похороны товарищу, замученному „административно“ долгим содержанием в цитадели, и в Киеве, где в декабре происходили внутренние волнения по поводу адресов к открытию памятников Муравьеву и Мицкевичу. В среде студенчества оказалась партия „националистов“, которые посылали адрес Муравьевскому празднеству и протестовали против приветствия полякам при открытии памятника Мицкевичу. Хотя и в этой оценке Муравьева и Мицкевича ничего, повидимому, угрожающего „устоям существующего строя“ не заключалась, но администрация воспользовалась этим случаем, чтобы придать массовым репрессиям видимость борьбы с крамолой. Дело было в декабре, а аресты совпали с беспорядками в Петербурге и их откликом в Киеве. Тогда, конечно, молодежь об'яснила эти репрессии, как наказание за солидарность с Петербургским университетом — и „обструкция“ разыгралась с новою силою [1].

21 и 23 февр. и 23 марта в „Нов. Вр.“ появились „Маленькие письма“ А. С. Суворина по поводу студенческих беспорядков. Своим теперь уже давно обычным тоном деланной искренности à la Достоевский, Суворин, умилившись по поводу повеления 20 февраля, обращает свои довольно суровые поучения исключительно в сторону молодежи:

„Никогда я не был поклонником (?) [2]) волнений молодежи и никогда они ей ничего не приносили, кроме вреда. Она должна учиться

[1] В этом месте на полях дневника написано: „16 рассеялись слухи и о голод. обстр.“.

[2] Вопросительные знаки в данной цитате также, как и слова, взятые в скобки, принадлежат В. Г. Короленко.

и повиноваться существующей дисциплине (повидимому, даже нагайки, по мнению А. С. Суворина, входят в понятие о „дисциплине"). В настоящее время государство не страдает отсутствием учащейся молодежи и может выбирать из того множества, которое желает учиться. По моему мнению, всякий имеет право учиться или не учиться по крайней мере в том возрасте, который называется „зрелым" в гимназических свидетельствах, но который очень часто оказывается незрелым в столкновениях с суровыми требованиями жизни (?). Если я не хочу учиться потому, что не хочу подчиняться дисциплине и существующим порядкам в учебных заведениях (как будто битье нагайками на улице и „порядки в учебных заведениях"— одно и тоже).— государство может мне сказать: „вы не хотите учиться, не учитесь..... Я не имею желания принуждать вас и, если двери моих учебных заведений полуоткрыты для вступающих в них,— они открыты совсем для тех, кто не желает учиться и подчиниться тому режиму, который установлен. Берите свои бумаги и уходите с Богом"..... „В самом деле, чем государство рискует, если бы весь настоящий наличный состав высших учебных заведеиий, все эти 20 т. или около того молодых людей забастовали и вышли на вольную волю"... „Добыть молодежь для учебных заведений гораздо легче, чем рабочих для фабрики уже потому, что район фабрики ограничен, а в учебное заведение с'езжаются за тысячи верст"...

В конце письма, опять умилившись по поводу „доброты" государя, Суворин кончает намеком: „и как хорошо было-бы, если-бы никто не злоупотреблял этой добротою: ни зрелые только по аттестатам, ни зрелые по всем другим причинам".

Письмо это, систематически подменяющее действительную причину беспорядков (нападение полиции на улице)— „нежеланием подчиняться порядкам уч. заведений"— вызвало в обществе бурю негодования. В следующем письме Суворин пытается оправдаться, но в своем ослеплении застарелого сервилизма— только подливает масла в огонь.

„По каким причинам это случилось,— пишет он,— все равно. Самый факт важен. Почему произошла война? Об этом пишут после

войны, когда уже убраны груды мертвых и сосчитаны несчастия. Но ужасна самая война... Беда именно в этом почине, в самом факте, а не в его причинах, которые могут быть так сложны, что не поддадутся краткой, наскоро написаной заметке".

В этой заметке вообще сквозит желание поправиться. „Я знал, что не могу всего высказать,—пишет Суворин,—но я говорил с взрослыми и считал своей прямой обязанностью высказать все, что мог"... Оправдание, очевидно, очень плохое: в то время, как в Петербурге известно, что студентов избили нагайками на улице, Суворин уверяет всю Россию, что причина движения — нежелание подчиняться „установленной в учебных заведениях дисциплине",—как будто в самом деле „нагайка" входит в состав дисциплины... Затем говорится о том, что государство

„берет деньги с народа (казалось-бы это налагает некоторые обязанности и на государство)... Это надо помнить прежде всего тем взрослым, которые с умыслом или без умысла не хотят вникнуть в опасность этого движения для самой молодежи (?)...

Вот наша черта, которая всегда меня глубоко возмущала: выезжать на плечах молодежи, точить свой либерализм о голову этой молодежи, точить, подтачивая ее и расслабляя и показывать свое неудовольствие, свои прогрессивные взгляды на те или другие порядки за спиною молодых людей, прячась за них, как трусы прячутся за дерево во время битвы"...

... „Я не могу быть поклонником учения, которое выражается фразою „чем хуже, тем лучше". Я не могу. Кто-бы что обо мне ни говорил, я думаю о будущем, мне дорога судьба моей родины, судьба России"...

Из всего этого следовало во 1-х, что к нежеланию молодежи исполнять установленные правила присоединилось, в качестве „причины" еще злонамеренное подстрекательство взрослых (можно думать профессоров), а о настоящей причине, торчащей как шило из мешка,—о произволе администрации, об арестах, высылках, нагайках,—

ни слова! И кроме того, все, кто думает иначе,— являются врагами „дорогого отечества", „будущего России" и приверженцами принципа „чем хуже, тем лучше"... „Я понимаю, что государство обязано улучшать условия существования школы... Но улица школе не принадлежит, и на ней ее питомцы обязаны подчиняться тому режиму, которому подчиняются все прохожие". Это единственный намек на уличное побоище и — опять ложь! Выходит, что студенты виновны в „неподчинении" какому-то режиму, которому обязаны подчиняться все прохожие. И несмотря на это Суворин опять своим деланным стилем злявляет, что „он правду говорил и знает, что это правда жестокая, но почему-же он не должен напоминать о ней"... Старый воробей прикидывается, что не понимает причин негодования, не понимает того, что написал ложный обвинительный акт против молодежи, тщательно замолчал настоящие причины беспорядков и вперед уже одобрил массовые увольнения, составляющие яко-бы даже обязанность государства.

После этих статей начались протесты против „Нов. Времени": сначала Минералогическое, потом Историческое общества, по предложению своих членов, отказались печатать свои об'явления в „Нов. Вр.", а также просили не высылать им газету. За ними последовали многочисленные заявления частных лиц; письма печатались в газетах, пока... цензура не взяла Суворина под свое покровительство и не запретила печатание заявлений „против газет, неодобряющих волнений молодежи"... До этого времени в газ. „Право" успела еще появиться прекрасная статья К. К. Арсеньева, спокойно, с силою сдержанного негодования, разбивавшая прозрачный сервилизм суворинской аргументации... Но уже моя заметка, назначенная для март. книжки „Русск. Богатства" целиком не пропущена

цензурой и не по причине каких нибудь резкостей, а просто потому, что речь шла о беспорядках и о мнениях по этому поводу Суворина и его противников... Впрочем, Суворин успел еще обругать „негодяями“ тех, кто восставал против него... Но слово кем-то нарочно снято в наборе и потом исправлено: читай „людишек“... Но в некоторых экземплярах вышло довольно ясно.

После этого против Суворина поданы заявления в суд чести [1], и комитетом возбуждено перед судом чести обвинение Суворина в поведении, недостойном звания члена союза. Суворин сначала согласился, но затем, назначив для своих об'яснений срок 6 апреля, — таковых не представил и теперь все оттягивает. А между тем сотрудники его Снесарев и Амфитеатров [2] отправились вызывать на дуэль Яковлева, председателя, кажется, минералогического общества, которому, по его словам, в случае отказа, Снесарев угрожал „некультурными воздействиями“ (что-то в этом роде).

Комиссия Ванновского еще не успела закончить своего „всестороннего расследования“, как разразились вторичные беспорядки, а затем 2 апр. в „Правит. Вестнике“ появилось и 3-го перепечатано всеми петерб. газетами „Правит. сообщение“, в котором все волнение об'ясняется бесповоротно „политическими причинами“. Полиции разумеется, подыскать такие доказательства было очень легко: там-то найден „рабочий листок“, там-то антиправительственное воззвание; в Киеве уже с декабря шла явная крамола, так как одни студенты желали послать

[1] Суд чести при Союзе Писателей.

[2] Ал. В. Амфитеатров, известн. публицист. и беллетрист.

телеграмму по поводу открытия памятника Муравьеву, другие протестовали; тоже и относительно памятника Мицкевича. Вышло так, что неодобряющие „вешателя“— и приветствующие поэта—мятежники... Никто только не захотел подумать о том, почему, однако, движение охватившее киевский университет, хоть на время могло об'единить и антимуравьевцев и „националистов“...

Таким образом, еще раз действительно „доброе“ побуждение царя обращено ни во что и над самодержавием монарха сыграло злую шутку самодержавие административно-полицейское.

Старик Ванновский очутился на старости в совершенных дураках...

Между тем настроение молодежи, выдерживающей столько времени столь интенсивное напряжение, достигло степени почти повальной нервной болезни. Недавно, пронеслись слухи о том, что 20 челов., заключенных в „Кресте“ [1], решили прибегнуть к „голодовке“... Около недели петерб. общество находилось под давлением этого кошмара. 16-го я узнал из вполне достоверных источников, что „психолог-жандарм“ Шмаков и прокурор Стремоухов ездили в Крест и успели убедить молодых людей отступиться от ужасного плана. Им, однако, пришлось поступиться престижем власти, до сих пор беспрепятственно державшей арестованных сколько угодно,—и обещать, что „дело“ будет кончено скоро.

Победившая администрация и учебная и всякая иная, торжествует свое vae victis [2]. Рецепт Суворина проводится неуклонно, не щадят не только непокорных, но и „исполняющих правила“. В технологическом институте была

[1] „Кресты“ — одиночная тюрьма на Выборгской стороне.

[2] Горе побежденным.

огромная сходка, на которой решено во 1-х, что меньшинство подчинится большинству, а во 2-х большинство оказалось против обструкции. Казалось-бы, дело кончено, институт спокоен, так как меньшинство решило подчиниться. Но „начальство“ исключило всех и потом, при подаче прошений — стало выбрасывать сотни из меньшинства. Тогда и большинство, возмущенное этим вызовом и из чувства товарищества,—опять устроило забастовку (уже третью по счету). То-же в горном институте. Отдельные студенты, под охраной полиции, пробираются в экзаменационные залы! Экзаменаторы ставят удовлетворительные баллы даже ничего незнающим, за одну покорность.

Этот год вышвырнет тысячи молодежи, оставив, в отместку суворинскому государству, одних Молчалиных. То-то „нравы“ внесут они современем в среду того-же государства.

По рукам ходит адрес на имя государя следующего содержания:[1]

„В. И. В. — 8 февраля столица ваша была свидетельницей зрелища, дотоле еще невиданного: на молодежь, расходившуюся с университетского акта, сделана была аттака отрядом конной полицейской стражи, с утра окружавшей здание университета, причем некоторые студенты сильно избиты нагайками. Глубокое волнение, вызванное этим происшествием не только среди учащейся молодежи, но и в обществе, — передалось из университета в другие учебные заведения столицы, а затем и остальной России, до отдаленной сибирской окраины, и вскоре все высшее учебное дело в нашем отечестве фактически приостановилось.

Так называемые студенческие волнения, к сожалению, у нас составляют явление нередкое. Наоборот — редкий пяти-годичный курс учения проходит без того, чтобы учащаяся молодежь не пережила

[1] Адрес написан в дневнике рукою В. Г.

одного или двух таких потрясений по тому или другому поводу. До сих пор не было еще сделано серьезных попыток изучения причин этого, как бы постоянного тлеющего пожара, готового вспыхнуть по тому или иному поводу, несмотря на изменчивость состава учащихся. Обыкновенно или довольствовались мерами строгости в каждом отдельном случае или-же производили в строе учебных заведений изменения, долженствовавшие облегчить применение строгих мер. Но все это не дало желательных результатов. Студенческие истории следовали одна за другой и, наконец, на наших глазах, разыгралось движение, еще небывалое по своим размерам и по болезненной глубине захвата.

Хотя и на этот раз многие, без сомнения, считали наиболее целесообразным — старое средство, т. е. все те-же меры строгости в административном порядке, но Ваше сердце, государь, подсказало Вам иное решение: в 20-й день февраля Ваше Величество соизволило возложить на генерал-ад'ютанта Ванновского важную задачу: произвести всестороннее расследование причин и обстоятельств, вызвавших волнение среди молодежи. Вслед затем высланные без всякого расследования молодые люди были возвращены в учебные заведения, с применением лишь незначительных дисциплинарных взысканий.

Таким образом, в первый еще раз, вся тяжесть вины не была, без всякого разбирательства возложена на одну молодежь, и с высоты Престола была признана необходимость всестороннего расследования печального явления. Было признано также, что движение оскорбленного личного достоинства и пылкое чувство товарищеской солидарности не должны быть еще отожествляемы с мотивами, призывающими на участников суровые кары государственной власти. Известно, что после этого волнение в среде петербургской молодежи стало стихать, и жизнь учебных заведений быстро входила в колею.

К сожалению, в настоящее время на месте умиротворения и спокойствия водворилось новое волнение, достигающее в массе учащейся молодежи размеров болезненного нервного напряжения.

Без всякого сомнения, люди, склонные к признанию непогрешимости старых приемов, готовы и теперь — с признаками некоторой видимой основательности, — приписывать этот результат „ошибке великодушия и снисхождения", сказавшихся в Вашем, Государь, повелении от 20 февр. В глазах многих все это доказывает лишь преимущество чисто административных мер, прилагаемых решительно и без всяких расследований. Но совесть подсказывает нам, Государь, другое мнение, которое, по долгу перед Вами и перед истиной, мы и решаемся почтительнейше повергнуть вниманию В. Вел-ва.

Нет, Государь! Ошибка не в гуманном и справедливом направлении, указанном Вашим повелением от 20 февр., которое уже начало производить свое умиротворяющее действие и, быть может, в результате расследования, дало-бы полезные указания относительно условий, питающих эти неустанные потрясения в среде учащейся молодежи. Ошибка лишь в исполнении — нерешительном, неполном и противоречивом. В другое время Вам благоугодно было указать на необходимость согласования в действиях различных исполнительных органов. К сожалению, в данном случае это согласование отсутствовало: в то самое время, как мягкие меры были приняты по отношению к университету и другим заведениям Петербурга, в то время, когда чувство товарищеской солидарности щадилось вблизи Вас, Государь, в Вашей столице, — в других городах продолжалось применение мер крайней суровости, принимавшихся, в административном порядке, без всякого расследования. При совокупности данных обстоятельств, молодежь не могла истолковать меры, принятые по отношению к их иногородним товарищам, иначе, как в смысле сурового наказания за солидарность в деле, за которое инициаторы не понесли наказания...

В среде, где есть десятки тысяч молодых и увлекающихся голов, нет никакой трудности в подыскании отдельных проявлений самого разнообразного свойства. Но, оценивая настоящее движение по мотивам, руководившим массой молодежи, мы считаем долгом совести — почтительнейше обратить внимание Ваше, Государь, на то обстоятельство, что, по указанным выше причинам, вторичная вспышка об'ясняется чувством товарищеской солидарности еще более быть может, чем первая. В разнородной массе всегда есть и разнородные стремления. Вся задача мер, разумно направляемых на успокоение масс, состоит в том, чтобы укрепить доверие к законности и правде и таким образом дать исход лучшим чувствам, лишив нравственной опоры чувства противуположные. Таков и был общий смысл повеления от 20 февраля, которое не оказало всего своего действия лишь потому, что деятельность отдельных частей административного механизма не была согласно направлена к той-же цели.

Ваше Императорское Величество. В настоящее время, когда тысячи молодых жизней готовы разбиться у самого порога будущей полезной деятельности, мы, связанные узами родства и близости с этой молодежью, прибегаем к Вам с нашей всеподданнейшей просьбой: повелите, Государь, прекратить административные меры, принимаемые по отношению к учащейся молодежи, вызывавшие и питавшие все время волнения в ее среде, даруйте амнистию высланным и удаленным

из высших учебных заведений и верните все дело на тот путь всестороннего расследования, указанный Вашим повелением от 20 февраля настоящего года, который один может пролить свет на причины глубоко прискорбных явлений, не перестающих в течении полустолетия потрясать высшие учебные заведения, отклоняя их с мирного пути изучения и науки"...

(Собрано было подписей 200, но многие подписывавшие заявляли, что они дают свои подписи на условии — если будет не меньше 500, другие 1000, даже 2-х тысяч. В конце концов вся затея кончилась ничем).

30 апр.

Вчера опять пришлось об'ясняться с М. П. Соловьевым. Оказывается, что ген. Бобриков вступил с нами в полемику.

„Указанная в записке редактора надпись под Сеймовым уставом 1869 года не заслуживает в данном случае внимания, — пишет финл. ген.-губернатор,— так как ею подтверждались, по исследованиям таких знатоков дела, как ст. секретарь Манассеин и Фриш,[1] личные Его Вел. права лишь по отношению исключительно к сеймовым распорядкам. И действительно, прямой смысл этой надписи не дает оснований к выводу, что „форма" и „акт" были когда либо утверждены, как цельные законодательные акты. В данном случае могла идти речь лишь о правах созвания сейма, законодательного почина и утверждения законопроектов, но отнюдь не о цельном составе этих законов. Нельзя допустить и мысли, чтобы наши Государи утверждали какие либо законы не непосредственно собственоручной подписью на подлинном тексте, а какими то намеками, к тому-же по другому делу"...

Этот документ показывает только, что ген. Бобрикову хочется во что-бы то ни стало добиться кары для „Русск. Бог." или нашей покаянной заметки (последнего еще более). В нашей статье, разумеется и говорилось только о „правах

[1] Э. В. Фриш, бывш. товарищ мин. юстиции, позднее председатель Госуд. Совета.

созвания сейма, законодательной инициативе и утверждении законопроектов". Форма правления 1772 г. заключает в себе еще отречение и чуть не проклятия самодержавию вообще, затем постановляет, что вел. кн. Финляндский должен быть лютеранином и т. д. Бумага ген. Бобрикова составлена сознательно и заведомо облыжно: не имея возможности поддерживать первое свое обвинение (даже Соловьев, как мне передавал человек вполне достойный, прочитав мое первое письмо, сказал: „однако, как Бобриков проврался"),—теперь ставит просто небывалое обвинение.

Это вызвало новую переписку. На следующий день мы с Н. Ф. Анненским составили следующую эпистолу:

М. Г. Михаил Петрович.

В ст. „Финл. дела" (3 кн. „Р. Бог.") и именно в той ее части, которая вызывает замечания, мне Вашим Пр-вом сообщенные, говорилось о некоторых особенностях законодательного механизма Финляндии („сейм не обсуждает только законы, но облечен и изв. законодат. властию"). Только в этих пределах мы и касались, в ряду других узаконений, и формы правл. 1772 г, подтвержденной сеймов. уставом именно в тех частях, на которые указывается в замечаниях. Нигде в нашей статье мы не касались вопроса об утверждении „Формы Правления, как цельного законодат. акта". Самый вопрос чрезвычайно сложный, имеет за собой целую историю: одни из статей выпадали сами собою, другие были отменяемы или изменяемы последующими законодат. актами, наконец третьи „подтверждались" прямо или косвенно. К числу именно этих, прямо подтвержденных частей, причисляются и в сообщенных Вашим Пр-вом замечаниях права „по созванию сейма, законодат. почину и утверждению законопроэктов". Ни о чем другом в нашей статье и не говорилось. По самому характеру статьи (хроника) автор не касался вопросов сложных, ограничиваясь строго-фактическим изложением моментов бесспорных. Так как речь шла именно „лишь о правах созвания сейма, законодат. почина и утверждения законопроектов", которые признаются подтвержденными и в замечаниях, — то никаких фактических погрешностей в статье я отыскать не могу, а никаких суждений и выводов она не заключала".

В 2 часа я отдал этот ответ,— причем Соловьев удивил меня: прочитав, он сказал: ну вот, напишите это в журнале, больше ничего не требуется. Я был совершенно поражен: очевидно, нач. Гл. Управления по делам печати совершенно не понимает сущности вопроса, из за которого грозит закрытием журналу. Никто и никогда не требовал, чтобы „вел. кн. Финлядский" принял лютеранство, и если теперь Финляндия волнуется и протестует, то лишь из-за нарушения основных законов о законодат. инициативе сейма. „Государь не может ввести нового закона ниже старого уничтожить—без согласия сейма",— вот из за чего поднял бурю Бобриков. Русский журнал, благодаря отчасти недосмотру цензуры,— позволил себе указать на факт существования конституц. закона, ныне нарушенного. Финляндские газеты подхватили статью.

— Ваша статья производит смуту в Финляндии,— говорил мне Соловьев со слов ген. Бобрикова.

— Позволю себе сомневаться в таком значении статьи,— ответил я. — А если финляндские газеты указывают на эту статью как на доказательство, что не вся русская печать проникнута недоброжелательством и тенденциозностию по отношению к Финляндии,— то позвольте мне лично считать это ни мало не противным патриотизму. Да, не вся русская печать разделяет настроение „Моск. Вед." и „Света", и я считаю полезным, чтобы это знали и в Финляндии,— полезным, даже с патриотической точки зрения. Курьезно, что вся эта история поднялась лишь из за того, что мы позволили себе не исказить всем известных фактов. Во всяком случае, самое „страшное" в статье, это указание на права сейма, несомненно подтвержденные сеймов. уставом. И вот теперь нам предлагают еще раз повторить это. Я растерялся.

— Предложение Вашего Пр-ва застигает меня врасплох. Я должен посоветоваться с товарищами.

— Хорошо. Я жду выхода книжки!—Это было сказано тоном, в каком он не говорил раннее (кроме самого начала переговоров). Чиновный нахал почувствовал, что я несколько сбит с толку. „Я завтра сделаю доклад, журнал закроют... Теперь финляндские дела очень обострены. Вот вы увидите“... И в виде исхода,—скажите только то, что вы написали в вашей записке. Я не счел себя в праве решить судьбу журнала без товарищей. Требование опровержения прямо невозможно, и все с этим были согласны. Но оговорка,—что мы говорили лишь о том-то (что и верно)... как ни хотелось мне решительно отказаться и от этого,—я не знал, что скажут товарищи и положение было слишком серьезно. Я ушел отчасти недовольный (осадок на душе отвратительный), отчасти довольный—мы могли выпустить еще одну книжку.

Два интересных эпизода. Когда вчера я явился к Соловьеву, он поздоровавшись и указывая стул, начал так:

— Я очень рад видеть вас, В. Г.,—но признаюсь несколько удивлен, что вижу именно вас...

— Почему это В. Пр-во?

— Повестка послана вашему редактору.

— Т.-е. офиц. редактору П. В. Быкову. Его нет в городе.

— У вас есть другой редактор[1].

— Тот совсем не живет в Петербурге. Вообще, фактически журнал ведется нами, издателями.

— Все таки, как же это... Нужно-же исполнять закон.

Я увидел, что он начинает игру, в которой вся сила на его стороне, и потому решил идти на пролом.

[1] С. Попов.

— Вашему Пр-ву известно, что мы 2 раза просили об утверждении редакторами нас, издателей.

— И вам отказали.

— Должен-ли я понимать теперешний разговор, как указание, что нам пора возобновить ходатайство?

— Вы получите опять отказ.

— В таком случае Вашему Пр-ву придется примириться с необходимостью и впредь вести все разговоры по редакции именно со мною. У меня нет охоты играть в прятки. Вам хорошо известно, что у нас, как у большинства органов печати, официальные редакторы фикция. П. В. Быков просто напросто не мог бы сказать вам ни слова по существу вопроса. Вы можете закрыть журнал по тому или по другому поводу, но повторяю, — пока мы существуем, фактическая редакция в руках Н. К. Михайловского и моих.

Он проворчал что-то невнятное и больше этот разговор уже не возобновлялся[1].

Затем в разговоре мне пришлось упомянуть о „различии в мнениях". „Надеюсь Ваше Пр-во не полагаете, что возможно привести печать к единообразию мнений".

— Напрасно вы так думаете! Именно в этом наша задача. Истина одна.

Я только пожал плечами.

— Истина одна,— но можно-ли ее предписывать циркулярами!..

5 мая

Сегодня в „Правит. Вестнике" об'явлено о приостановке „Р. Бог." на 3 месяца. Вчера около 2 часов я послал

[1] Интересно, что впоследствии он вызвал для об'яснений уже прямо меня. „Нач. Гл. Упр. по д. печати просит издателя ж. „Р. Б.", В. Г. Короленко" и т. д. (Прим. В. Г.)

с комисионером письмо Соловьеву (3 мая он опять вызвал меня и потребовал ускорения ответа), и значит все формальности приостановки были слажены в течении нескольких часов.

Письмо наше было следующего содержания:

М. Г. Михаил Петрович.

По обсуждении с моими товарищами вопроса, который служил предметом моих с В. Пр-ом об'яснений, мы пришли к заключению, которое я имею честь представить, извиняясь, что по нездоровию вынужден сделать это письменно.

Мы видим себя в положении совершенно безвыходном. В первой редакции пред'явленных мне В. Пр-вом замечаний было сказано, что из статьи „Р. Бог." видно, будто, „форма правления 1772 г." утверждена сеймовым уставом, что составляет искажение истины". На это я имел честь представить В. Пр-ву точную выписку из сеймового устава. Вслед за этим мне было заявлено, что искажение нами истины усматривается уже в утверждении, что „Форма Правл." подтверждена в целом об'еме", тогда, как „могла идти речь лишь о правах созвания сейма, законодательного почина и утверждения законопроектов". Но и это измененное обвинение вызвано очевидным недоразумением, т. как в нашей статье мы и говорили лишь об этих предметах (разве не ясно, что сеймовым уставом подтверждаются именно статьи, касающиеся сейма, законодательного почина и т. п.). Что мы действительно не имели в виду касаться так называемого „финл. вопроса" в полном его об'еме, Ваше Пр-во усмотрите хотя-бы из следующего: в „Моск. Вед." (от 2 марта, № 60) приведен полный текст всеподданнейшего представления финл-го сената. В нем, между прочим, есть указание на то, что Импер. Алекс. I, открыл сейм в Борго следующими словами: „J'ai promis de maintenir votre constitution et vos lois fondemantales"[1]. И далее, между прочим: „надеемся мы, что довольно утвердили на всегдашние времена данное нами обещание о святом сохранении особенной конституции края сего". Этой цитаты В. Пр-во в нашей статье не найдете и именно потому, что мы не имели в виду касаться в ней вопросов сложных, возбуждающих какие бы то ни было споры.

[1] Я обещал сохранить вашу конституцию и ваши основные законы.

Вместе со всею русскою печатью мы подчинены ценз. уставу, который предписывает нам в тех или иных случаях, чего мы касаться не в праве. И мы нередко не говорим того, что в другое время признается совершенно дозволительным. Но несомненное право всякого писателя самому выбирать предметы, о которых он намерен говорить в этих дозволенных пределах. Наша статья не только формально, но и по существу ничего противуцензурного не представляет. Я с удовольствием услышал вчера от В. Пр-ва, что и вы лично не видите в ней ничего, обращающего внимания с общецензурной точки зрения, и мы не видим в какой форме мы могли бы сделать заявление, требуемое В. Пр-вом. В рамках себе поставленных нам сказать-более нечего, так же, как нечего и опровергнуть. Прошу принять" и прочее...

Приостановка на 3 месяца, хотя и доставляет нам не мало хлопот, но все же устранила более серьезные опасения 8 месяцев, не говоря уже о полном запрещении,— это было бы крушение не только для журнала, но и для нас лично, так как до сих пор на журнале очень много долгов.

Я пережил очень тревожное время и пришлось крепко подумать о „способах удовлетворения" подписчиков и кредиторов. „Положение русского издания", зависимое, необеспеченное, подверженное случайностям полного произвола, коснулось меня лично очень осязательно и реально. В пределах обычных вероятностей — журнал стоит изрядно: последний год он уже окупает расходы; следующие годы должны давать избыток на уплату долгов за предыдущие годы. Тревожное время самой трудной борьбы — назади. Но... нужно еще лет 5—10, чтобы совсем покончить с наследием прошлого. А до тех пор — один почерк пера может уничтожить результат всей нашей работы и каждый из нас рискует очутиться с долгами уничтоженного журнала, которые тогда станут нашими личными долгами. По условиям экономической стороны ведения дела — такими ответственными лицами в данное время явились-бы я и Михайловский.

24 июля (Растяпино) [1]

Я так много пропустил событий, что теперь не надеюсь восстановить все происшедшее за это время. Студенческие беспорядки то вспыхивали, то угасали в разных местах. Горемыкин и Боголепов с „правит. сообщением" поддели ген. Ванновского. Потом 25 мая появилось вдруг для всех неожиданно новое правительственное сообщение. Обиженный Ванновский успел настоять: приняли и его доклад, и на его основании, опять в „Правит. В-ке", напечатали своего рода меморандум, значительно противоречивший старому. Там виновны были одни студенты и отчасти потакавшие профессора. Здесь,— кроме „наставников", в виноватых очутилось еще и общество, которое предпринимало неуместные шаги (намек на проекты ходатайств и ходатайство „матерей", которое, говорят, было подано государыне?), и затем... высшая полиция и высшее учебное начальство, а также высшие представители учебной администрации, не умевшие приобрести авторитет в глазах молодежи. Все были удивлены этим новым инцидентом по раз уже казалось бы покончennому вопросу. Признано и „оскорбление студентов" со стороны полиции... Вскоре из общего недоумения стала явно выделяться нота оптимизма: „а! досталось таки и Горемыкину и Боголепову, и градоначальнику, и Сергеевичу"... Обыватель не ставил в счет оригинальную головомойку „обществу" и т. д. Это в привычку! Зато досталось

[1] Растяпино — деревня на Оке, близ Н.-Новгорода. Здесь не редко проводила лето семья и родные В. Г. Как видно из отметки в записн. книжке-календаре на 1899 г., писатель приехал сюда 16-го июня. Обратно в Петербург В. Г. возвратился 6-го сент. В период пребывания в деревне В. Г. работал над рассказом „Марусина заимка" (первонач. заглавие „Маруся"). Т. XI наст. изд.

и высшим. Русский человек доволен. Настала очередь обидеться министрам. Говорили, будто Горемыкин хотел подавать в отставку. Но... все уладилось. Это не Европа. Можно переждать и опять устроить новый сюрприз с новыми „сообщениями“... Все это в порядке вещей.

Как бы то ни было, вскоре из тумана выплыло еще одно: кары уменьшили, число исключенных сокращено значительно. Из тюрем выпущены почти все, даже члены центр. студенческих кружков. Один из них прожил у меня дня 3. Он говорил, что Шмаков, освобождая их, не скрывал своего неудовольствия и недоумения. Рассказывали также (достоверно), что по поводу нескольких освобождений были столкновения у жандармских властей с председателем судебной палаты...

Очень характерный анекдот. Рассказывают, что, когда нервность молодежи достигла крайней степени, начинались голодовки и т. д.,—Шмаков говорил, потирая руки:

— Ну вот, вот! Еще два-три года и мы будем, наконец, иметь „настоящих“... А то!

Действительно, „политической“ полиции в России становилось скучно: суммы тратятся прежние, а в „заговоры“ никто не верит. И вот начинает расти настоящее озлобление. А тут проявляются признаки рабочего движения. Полиция устроила огромную бойню за Шлиссельбургской заставой, судебная палата, под председательством Дидерихса (?), незаконно удалила из зала даже родных подсудимых и покрыла действия полиции безгласным приговором[1]... Есть от чего потирать руки...

За этот же период времени случились некоторые новости в журнальном мире. От „Нов. Вр.“ откололась

[1] Речь идет о суде над рабочими фабрики Паля и Максвеля в апреле 1899 г.

часть сотрудников и образовала газету „Россия“. В корню Амфитеатров, бойкий фельетонист, заявивший, что теперь он будет писать в другом духе. И тотчас-же между „Нов. Вр.“ и „Россией“ загорелась полемика довольно яростного свойства.

Суд чести Союза Писателей постановил приговор по делу Суворина. Осудив „приемы“ его, признав, что он действовал без достаточного сознания нравственной ответственности, которая лежала на нем в виду обстоятельств вопроса, что он взвалил всю вину на студентов, тогда, как сам должен признать, что в деле есть и другие виновники,— Суд чести, однако, не счел возможным квалифицировать его поступок, как явно бесчестный, который мог-бы быть поставлен на ряду с такими поступками, как шантаж и плагиат,— упоминаемые в 30 ст. устава Союза.

Определение писал я. Приговор единогласный (Фаминцын, [1] Арсеньев, Мушкетов, [2] Манассеин [3] Анненский, Спасович [4], Короленко). По этому поводу было много шуму, будет осенью еще больше. Суворин, (представивший длинное, бессвязное, в общем совершенно бестолковое об'яснение, кое-где лишь указывающее на действительные промахи обвинявшего комитета),— очень волновался и накануне прислал письмо на имя Арсеньева, в котором просил ускорить сообщение приговора, так как ему чрезвычайно тяжело ожидание. Приговор был готов и послан ему в тот же день. Многие ждали, что суд чести осудит Суворина. „Если не за это одно, то за все вообще“.

[1] А. С. Фаминцын, академик, ботаник.
[2] И. В. Мушкетов, профес. горного института.
[3] В. А. Манассеин, врач и публицист.
[4] В. Д. Спасович, известн. юрист и писатель.

Мы строго держались в пределах только данного обвинения, и по совести я считаю приговор справедливым. В данном деле у Суворина не было безчестных побуждений: он полагал, что исполняет задачу ментора. Но у него давно уже нравственная и цивическая глухота и слепота, давно его перо грязно, слог распущен, мысль из'едена неискренней эквилибристикой... Амфитеатров, об'являя о новом курсе своем, написал: „много значит, в каком органе пишешь". Он хотел этим извинить свою недавнюю „манеру", явно осужденную общественным мнением по адресу Суворина. Но и Суворин мог-бы сказать тоже: „ах, мне столько времени пришлось издавать это „Нов. Время". Чехов, рассказывал мне, что Суворин иногда рвал на себе волосы, читая собственную газету.

Все эти приемы в „маленьких письмах" мы и отметили и осудили. Но мы считали неуместным и опасным становиться судьями всего, что носит характер „мнений" и „направления". С этим нужно бороться не приговорами. А от нас именно этого и ждали [1].

[1] Приговор суда чести по делу Суворина вызвал большое неудовольствие в некоторых кружках интеллигенции. В. Г. Короленко и Н. Ф. Анненский получили ряд писем с выражением осуждения по поводу их участия в этом приговоре. Между прочим, они получили протест из Н.-Новгорода за 80-ю подписями, в котором им рекомендовалось совершенно отказаться после этого от общественной деятельности. По поводу этого протеста В. Г. писал своей нижегородской знакомой М. П. Подсосовой: „...можно возмущаться теми или другими мнениями писателя, можно протестовать против них, но судить за них нельзя. Это — азбука свободы слова и печати, которая к сожалению, еще незнакома многим не в одном Нижнем. Одно дело — журнальная статья, другое дело — приговор того или иного суда. Я могу бороться с мнением, но буду против его „осуждения" судом и даже самой отдачи под суд. Публику и меня лично, и всех нас глубоко возмутило „мнение" Суворина о том, что государству ничего не стоит выкинуть десятки тысяч молодежи. Арсеньев

4-го августа.

Третьего дня я получил коротенькую записку от знакомого сотрудника „Нижегор. Листка". „Газета приостановлена на 2 месяца телеграммой из Петербурга. Оффиц. сообщения, напечатанные в газетах, гласят, что кара постигла газету „в виду нарушения распоряжения Главн. Управления по делам печати от 8 июня 1896 г. и ст 4-го января 1897", „на основании ст. 154 Устава о ценз. и печати".

Дело состоит в следующем: под Нижним есть большой Сормовский железоделательный и механический завод, принадлежащий акционерному обществу. Вместо фабричной инспекции он подчинен был до сих пор надзору горного ведомства. На этом заводе допускались крупные нарушения фабричных законов; между прочим и расплата вместо денег квитанциями на потребительскую лавочку. Компания не платила подолгу за эти заборы рабочих, дела потребит. общества, вполне зависимого от заводоуправления, шли плохо, товары выдавались плохие и дорого, а заборы были обязательны. В газете

заклеймил это мнение в печати, мою статью по этому поводу задержала цензура. Но оба мы полагаем, что даже с такими мнениями нужно бороться не приговорами суда. Поэтому мы сразу поставили принцип: мнения Суворина нашему суждению не подлежат. Между тем мы знали, что именно, „мнения" гл. образом возмущали большинство. Мы знали, что осудив лишь некоторые п р и е м ы Суворина,— мы не удовлетворим ни Суворина, ни очень многих в обществе. Но мы думали не о Суворине и не о большинстве, а о необходимости полной справедливости суда и о некоторых „началах", которые по нашему мнению важнее всяких Суворинных. И если бы пришлось такое-же дело судить вторично, и если бы протестовали не 88, а 88880 человек, мы все таки „имели бы гражданское мужество" сказать то-же". („Письма", т. VI).

указывалось на многие злоупотребления в этом роде. Местная администрация пропускала эти вполне благонамеренные указания и если-бы на них было обращено деятельное внимание,— все было-бы может быть хорошо. Понятно, однако, что продолжающиеся притеснения вызывали неудовольствия и когда вдобавок у рабочих задержали рассчет (в делах крупных пайщиков произошла заминка) — на заводе вспыхнули беспорядки. Благодаря спокойному и чрезвычайно корректному поведению местной администрации (губ. Унтербергера) — волнения быстро улажены (рабочим сразу же заплачено). Но на статьи „Нижегор. Листка" было обращено внимание. Повидимому, в этом случае высшее начальство рассуждало так: если бы не „Листок", рабочие не знали-бы ни о том, что их заставляют забирать в лавочке по дорогой цене дорогие продукты, ни обо всем прочем. Они произвели беспорядки не потому даже, что у них задержали плату, а потому... что обо всем этом напечатано в местном листке.

Интереснейшая подробность: в числе статей, перечисленных как „нарушившие постановления", поименована и заметка напечатанная слово в слово во всех 3-х газетах, о происшествии на заводе и об улажении беспорядков. Эта заметка оффициальная и прислана в газеты из канцелярии губернатора! Итак, местная власть сама считает полезным, в видах успокоения общества, напечатать известие, за которое газету постигает кара. Наконец, что еще интереснее —„распоряжение Гл. Управл.", т. е. пресловатуе циркуляры — сообщаются „весьма секретно" лишь цензорам, а редакторы подцензурных изданий об этом даже не знают!..

За перепечатку из „Нижегор. Листка" тех-же заметок получил 2-е предостережение „Сын Отеч." (на осн. ст. 144). (1 августа 1899).

Кстати об этих циркулярах. Года 2 или 3 назад было разослано распоряжение не печатать дурных отзывов о личности „абиссинского“ генерала Леонтьева. [1] Теперь это распоряжение не отменено, но фактически не действует: в „Моск. Вед.“ появилось известие, что знаменитый генерал произвел мошеническую операцию, посредством которой надул московских коммерсантов тысяч на 100. Газеты перепечатали известие — и... ничего. Теперь, когда „операции“ ген. Леонтьева благополучно закончены,— об его личности можно отзываться как угодно. Однако, бедные московские коммерсанты предпочли-бы видеть эти отзывы в печати ранее. Легко также представить себе, насколько деятельность этого г-на Леонтьева должна содействовать „престижу русского имени“ и в самой Абиссинии...

Теперь (с неделю назад) получен еще новый „циркуляр“: не говорить ничего о чуме в Поволжьи. Чумы нет, есть очень опасная „пневмония“ на ватагах [2] и в низовьях Волги, требующая командировки экстренных отрядов, передвижения войск и оцепления некоторых пунктов... Очевидно эти меры поведут лишь к тому, что чума появится внезапно среди ничего не ожидающего населения... [3]

[1] Н. С. Леонтьев, русский гвардейский кавалерист, граф Абиссинской империи, организатор абиссинской армии, положил начало дипломатич. сношениям России с Абиссанией; жил при Негусе с 1894 до 1900 г., почти оффициально признаваемый русским правительством и дважды доставлял от него в Абиссинию транспорты оружия и боевых запасов. Во время русско-японской войны служил в отряде ген. Мищенка. Умер в 1910 г.

[2] Ватаги — рыбачьи артели на Волге.

[3] В этом месте на полях дневника написано: „Губернатор приказал вице-губернатору об'явить редакциям все циркуляры зараз“.

8 сент.

(6-го сент. я вернулся в Петербург из Нижег. губ.).

Вчера напечатана в „Сыне Отеч." (№ 241), а также в „Р. Вед." телеграма о новом подвиге военно-мундирной чести: в Ташкенте полковник 5 Оренбургского полка убил выстрелом из револьвера адвоката и писателя Сморгунера [1]. В одной из своих судебных речей Сморгунер „задел честь полка", рассказывая об истязаниях, которые производил над своей женой сотник Колокольцов, при полном равнодушии своих товарищей и начальства. Бедная женщина скрылась с детьми в гостинницу, но пьяный истязатель, по указанию офицеров-же, нашел ее и там. Тогда частный человек, Джорджикиа, употреблявший и прежде все меры к обузданию Колокольцова, выстрелил в него из револьвера и ранил. Защищая на суде этого Джорджикиа, Сморгунер не мог обойти бытовую картину этой среды. Тогда полковник Сташевский, ничего не сделавший, чтобы оградить женщину от истязаний (на суде было установлено, что сотник Колокольцов жег на ней волосы!) — счел оскорбленной честь полка. Он пытался убить Сморгунера в его квартире 2 сент., а затем 4-го убил его в канцелярии суда. (Сташевский впоследствии приговорен к ссылке в Сибирь с лишением прав, но суд (военный конечно) в виду „обстоятельств дела" решил ходатайствовать о замене

[1] Делу об убийстве Сморгунера В. Г. посвятил две заметки в №№ 7 и 8 „Русск. Бог." за 1899 г., „Два убийства" и „Суд над убийцей Сморгунера". Об этом же деле вспоминает он в заметке „Тень Сморгунера" („Русск. Бог." 1904 г. № 11) в связи с аналогичным делом ген. Ковалева. Первая и третья заметки, включенны автором в Нивск. изд. собр. соч. под заглавием „Честь мундира и нравы воен. среды"; все три заметки печатаются в наст. изд., в XXIX т.

этого наказания двухгодичным заключением в крепость. В пользу семьи убитого, Сташевского обязали выдавать вдове его 400 р.) [1].

25 окт.

Недавно (20 окт.) об'явлены высоч. повеления: мин. вн. дел Ив. Лог. Горемыкин сделан членом госуд. совета с увольнением от должности министра; на его место назначен Дм. Сипягин [2].

Никто не пожалеет о Горемыкине: в презренной заботе о сохранении места во что-бы то ни стало, он стал совершенным флюгером. Никогда еще не было министра более бесцветного и безличного; голод 1898/9 г. разыгрался так сильно, благодаря попытке замолчать его и скрыть неблагополучие. Равнодушие к этому бедствию Горемыкина доходило до цинизма. Студенческие волнения, начинающееся рабочее движение — на все это был один ответ: нагайки, пули и потом — официальная ложь. Никогда также не было столько взысканий по адресу прессы, и никогда опять они не были так необдуманы и наглы.

Все рады отставке Горемыкина, хотя — никто еще не знает, что такое Сипягин. Кн. Мещерский уже написал восторженную приветственную статью. Очевидно, он надеется, что Сипягин будет ультра-дворянин и охранитель-крепостник. Об его попытке создать из „комиссии

[1] В этом месте дневника вложена копия телеграммы следующего содержания: „Ташкент. Редакция Русского Туркестана. Редакция и ближайшие сотрудники Русского Богатства просят передать близким и родным покойного Сморгунера чувства живейшего соболезнования их утрате и глубокого негодования по поводу возмутительного насилия, жертвой которого стал покойный. — Короленко, Михайловский".

[2] Д. С. Сипягин занимал пост министра внутр. дел с 1899 по 1902 г., когда был убит (2 апр.) Балмашевым.

прошений" новое параллельное управление по всем отраслям государственой жизни я писал уже раньше. Попытка наивная, выражающая лишь инстинктивное стремление самодержавия избавиться от формального, бюрократического, но все же исторически наростающего „ограничения". Наконец, известен „наказ" Сипягина земским начальникам, когда он был московск. губернатором. Газеты и журналы отмечали в свое время довольно иронически этот наказ, в духе действительно „Гражданина". Все это заставляет думать, что и новый министр — не приобретение. Но, во 1-х в России ничего нельзя предсказать относительно госуд. деятелей, а во 2-х мы все таки рады перемене. „Хоть гірше, та инше", — как говорят хохлы.

Говорили также о том, будто заколебалось положение Витте. Обанкротился С. И. Мамонтов, [1] игравший рискованную игру на казенные деньги, с благословения Максимова, нач. департамента железно-дор. дел министерства финансов. Максимов уже слетел. Обнаружилась очень некрасивая история с „Чижовскими капиталами", завещанными на благотворительные и просветительные учреждения в Костромской губ. [2] В 1892 году, когда Мамонтов начинал свою азартную игру, — он посягнул (в качестве душеприказчика) на эти капиталы. Но тогда земство и либеральная пресса забили тревогу, а костромское дворянство возбудило даже ходатайство перед государем (Александром III) о том, чтобы миллионы Чижова были переданы в заведывание общественных учреждений. Министры (Делянов и Витте) высказались против, состоялось очень странное высоч. повеление и душеприказчики остались попрежнему распорядителями, без всякого контроля. Теперь

[1] С. И. Мамонов, крупный московский промышленник.

[2] Об этом имеется заметка В. Г. „История Чижовских капиталов", „Русск. Бог" 1899 г. № 7 (Хр. вн. жизни).

Мамонтов в тюрьме, и, когда дворянство опять послало запрос к министру о состоянии чижовских капиталов, то Витте сначала целый месяц молчал, а затем ответил очень неточными указаниями, из которых все-таки, кажется, следует, что около 1½—2 милионов досчитаться нельзя.

В это-же время С. Ф. Шарапов [1] поднял против Витте настоящую травлю, чрезвычайно смело, даже дерзко обвиняя на страницах „Русск. Труда" министерство финансов в защите и поддержке уголовных деяний Мамонтова. Шарапову позволили выпустить несколько №№ с такими нападками на Витте, каких еще, кажется, никогда не позволяла себе русская печать по адресу министров. Между прочим, некто Стечкин, продажная тварь ежедневной печати, редактор газеты „Народ" — привлек Шарапова к суду за клевету. „Народ" долго защищал Мамонтова и его хищения. Впоследствии, когда они были обнаружены официально, Шарапов назвал статьи Стечкина — заказанными статьями, а его самого обозвал рептилией и шантажистом. Стечкин подал жалобу в суд, в надежде, что Шарапову трудно будет доказать участие Мамонтова в „заказывании" статей. Но Шарапов повел дело неожиданным образом. Он достал официальный циркуляр Витте акцизным управлениям, которым рекомендовалось давать казенные об'явления газете „Народ". Потом — запрос одного из управляющих казенными сборами — обязательно-ли это, так как „Народ" газета мало распространенная. Между тем Стечкин обнаглел до такой степени, что стал „требовать" об'явлений, назначая за них цены втрое против „Нов. Времени". Защита Шарапова,

[1] С. Ф. Шарапов — публицист консервативного направления, издатель журналов „Русск. Дело" и „Русск. Труд". О нем имеется заметка В. Г. („С. Ф. Шарапов") в „Освобождении" (Штутгарт), 1903 г. № 16.

опираясь на эти документы, доказывала, что это подкуп со стороны министерства. А так как министерство финансов защищало Мамонтова до последней крайности, то ясно, что статьи в пользу Мамонтова следует рассматривать, как заказные со стороны министерства. Суд согласился с этой аргументацией и оправдал Шарапова! Последний напечатал отчет о процессе в „Русск. Труде".

Наконец, тот-же Шарапов напечатал в Берлине брошюру о политической программе славянофилов (которую прислал между прочим и мне). Брошюрка посвящена государю, в ней доказывается необходимость уничтожить бюрократическое „средостение" и установить общение царя с народом. Если-же, говорится в заключение, самодержавие бессильно это сделать на исконных русских началах, — то уж лучше конституция, чем настоящий беспорядок вещей.

Теперь слышно, будто этот нелепый, но во всяком случае смелый человек — выслан из Петербурга. Кн. Мещерский на днях написал на него форменный донос. Во всяком случае — явления характерные.

Поговаривают также, будто уйдет сумасшедший Соловьев, нач. Гл. Упр. по делам печати. И здесь, значит, „хоть гірше та инше".

Третьего дня я вернулся из Финляндии, где провел два дня на берегу Саймы, в отеле „Рауха", с Васей Григорьевым [1]. Бродили по лесам, плавали в лодке между лесистыми островками, сидели долго по вечерам в темных аллеях, слушая как осенний ветер тянет по верхушкам сосен и... вспоминали свои недавние и уже

[1] Вас. Ник. Григорьев (умер в февр. 1925 г.), статистик и московск. обществен. деятель, близкий друг В. Г., товарищ его по Петровской академии. См. о нем „Ист. М. Современ." т. II, гл. XXII и XXVI и т. IV гл. XXVIII.

далекие молодые годы и юные мечты... Эти два дня оставили глубокий след в моей душе, и я долго не забуду хмурое небо, чахлый лес и щетинистые островки, разбросанные по спокойным водам Саймы...

30 октября

Все еще Петербург толкует о Сипягине. Говорят разно. В. Н. Григорьев, с которым я был на Иматре, имел случай видеться и говорить с Сипягиным в Москве, когда тот был губернатором. По его словам,— Сипягин производит впечатление человека умного: способен схватить быстро и толково суть дела, а это для высокого администратора уже очень много. Ни Дурново [1], ни Горемыкин до этого не доходили. Держится Сипягин надменно, и Григорьев говорит, что это — просто манера, а не грубая преднамеренность... Другие толки гораздо менее благоприятны. Говорят, наоборот, Сипягин человек совершенно не деловой, делами ворочает его жена. Ходит анекдот, будто записки жены из-за границы о тех или других просьбах разных ее знакомых — он просто пересылал в канцелярию прошений,— и они прямо-же подшивались к делам... Вообще-же о русском государственном человеке, когда он выступает на сцену, ничего вперед сказать нельзя. Мещерский усматривает знаменательное совпадение в том, что Сипягин назначен 20 окт. — день смерти Александра III. Это значит, что признается необходимым вернуться к началам этого царствования. Суворин полагает, что перемена министра не значит у нас перемену „программы". Это, в сущности, справедливо: после крепостника-Дурново вступил „законник" Горемыкин, но в России ничто не изменилось. Едва-ли многое

[1] И. Н. Дурново, министр внутрен. дел с 1889 по 1895 г.

изменится и теперь: несколько больше или несколько меньше отдельных случаев произвола — вот и все... Правительственная реакция будет несомненно продолжаться, как будет продолжаться и тихий рост российской культуры, и российского политического сознания. Весь вопрос в том, не будут-ли оба процесса настигнуты экономическим катаклизмом. Слишком уж слепа реакция и слишком тих рост общественного сознания. А в это время стихийные, пассивные процессы в социальных глубинах не ждут...

Положение Витте тоже не прочно. Действия Максимова (директора железнодор. департамента мин. финансов) носят явно уголовный характер. Мне говорил надних известный адвокат Карабчевский, слышавший это от одного из подсудимых по делу Мамонтова,— что у этого обвиняемого нашли на 150 т. бумаг на имя Максимова. Он об'ясняет, что это он играл за счет Максимова на бирже, но в тоже время по кассе не достает ровно 150 т., если признать, что данные 150 т. „принадлежат" Максимову, а не предназначались к выдаче в виде взятки. Дело ясно, но Мамонтов и мамонтовцы отстаивают Максимова. Последний-же, говорят, действовал заодно с женой Витте. „С Витте теперь нужно быть очень осторожным",— говорил мне недавно цензор. Прежде Витте к печати относился по-европейски, и по закону „наименьшего сопротивления"— ни один из министров не подвергался таким резким нападкам прессы. Теперь он становится опасен,— как затравливаемый волк.

1 ноября

Сегодня вышел 1-й № газеты „Сев. Курьер". Большая газета, ред.-изд. кн. Барятинский. Главные сотрудники — марксисты.

11 ноября

В „Правит. Вестн." напечатано о прекращении шарапов-ского „Русск. Труда" по постановлению 5 министров. Обыкновенно в таких постановлениях участвуют 4 министра. Но ст. 148 Уст. о ценз. и печати (св. зак. т. XIV, изд. 1890 г.) дает право участия в совещании и тому министру, который возбуждает вопрос о прекращении газеты. На этот раз, кроме министра вн. дел., нар. просвещения, юстиции и об.-прокурора св. синода,— участвовал, как видно из правительственного сообщения,— еще и С. Ю. Витте. Таким образом, очевидно, что вопрос возбужден последним. Это нечто вроде жалобы на Шарапова со стороны министра финансов за его действительно в высшей степени резкие (хотя и справедливые отчасти) нападки. Характерно, что никто другой не обратил внимание на статьи Шарапова и Витте пришлось фигурировать и в роли жалобщика, и в роли судьи.

Шарапов, между прочим, обратился к Т. И. Филипову с письмом, в котором обращал внимание госуд. контролера на злоупотребления в финансовом ведомстве и на неправильность финансовой политики. Финансовую политику Шарапов понимает довольно своеобразно, но все-таки некоторые указания несомненно правильны. Т. И. Филипов, говорят, препроводил письмо Шарапова мин. вн. дел Горемыкину вместе с № „Русского Труда". „Из коих,— (так приблизительно передают содержание послания Филипова),— В. В-пр-во изволите усмотреть, что ред.-издатель „Русского Труда" С. Ф. Шарапов старается вовлечь меня в интригу против С. Ю. Витте. Имею честь покорнейше просить В. В-пр-во оградить меня от таковых посягательств означенного лица". (Интересно, что, говорят, Горемыкин тоже один из участников этой „интриги").

Говорят, М. П. Соловьев решительно уходит из Гл. Упр. по делам печати. Называют в качестве кандидатов, кн. Голицына (Муравлина) [1] и кн. Н. В. Шаховского.

Василевский (Буква) [2] был по делу у Горемыкина (уже после его отставки). „Все вы, господа писатели, ругаете меня, конечно, — сказал ему отставной министр. — А вот посмотрим, — каково-то вам придется теперь".

Хуже, чем при Горемыкине печати придтись уже не может. Обыватель как будто, впрочем, еще приуныл с назначением Сипягина. „Гражданин" зато трубит победу, называет бывшего министра „господин Горемыкин", а нового приветствует и прославляет, как продолжателя традиций императора Александра III. Но с тех пор мы так далеко ушли по тому-же направлению, что... мне кажется все-таки, что ничего нового Сипягин не внесет.

29 ноября—99

Вчера об'явлено 1-е предостережение газете „Русский Курьер". 1-й месяц нового министра — и две кары газетам. „Люди меняются, порядки остаются".

На Кавказе Голицын приостановил на 8 месяцев газ. „Нов. Обозрение" (князя Туманова), которую травил генерал-губернаторский публицист поэт Величко (ред. официального „Кавказа"). В Польше князь Имеретинский приостановил газету Zoza (Заря), за то, что в отсутствии редактора (Максимилиана Малиновского) метранпаж, по ошибке, известие из Петербурга поместил в отделе „Заграницей". Это, конечно, преступление необыкновенно опасное, за которое к редактору-издателю применена высшая мера наказания. Теперь этот срок уже

[1] Д. П. Голицын (псевд. Муравлин), автор романов, рисующих вырождение старых аристократич. родов.

[2] Ип. Ф. Василевский, известн. фельетонист.

истекает, начинается подписка, но... цензура не разрешает ему выпустить об'явления о том, что по истечении срока приостановки он будет опять выпускать газету, а теперь принимает подписку!

Бедняга приехал в Петербург и ищет „протекции", чтобы добиться того, что составляет его несомненное право.

1901 год. Полтава[1]

[Январь]

С осени прошлого 1900 года я переселился с семьей в Полтаву. Петербург не по мне, журналист я тоже неважный. Для публицистических работ я лучше приспособляюсь к газетам. Срочная работа для такой то книжки журнала меня лишает всякой бодрости и связывает воображение. Мелкие „подлитературные“ дрязги, пересуды, столкновения ... Потом цензура, об'яснения с авторами, концерты, чтения, обеды с речами, суд чести, кажется, нужный только для того, чтобы портить настроение самим судьям и, пожалуй, сторонам ... Одним словом — сутолока и притом довольно бестолковая ... Прибавить к этому болезнь (с 96 года) — и четыре года долой из жизни!

В Полтаве сразу начал работать. Все еще неустойчивость настроения, припадки бессоницы, временами как бы понижение общего жизненного тона. Но в общем сразу лучше. Надеюсь опять овладеть собою, настроением, работой ...

Толкуют о болезни Л. Н. Толстого. Толстой стар, и, конечно, можно ждать, что более или менее скоро

[1] Дневник 1901 г. ведется в клеенчатой тетради обычного формата. На внутренней обложке надписано: „1901. Полтава“. См. описание рукописи № 3 в ст. „От Ред. Комиссии“.

умрет. Это будет событие огромной общественной важности. Поэтому поводу, еще в прошлом году, будучи в Уральске[1], я слышал толки о каком-то чудовищно нелепом циркуляре св. синода. Здесь мне доставили и самый текст этого замечательного документа, разосланного, как оказывается, по всем епархиям российской империи. Мне доставлен список из Вятской дух. консистории.

„Указ Его Имп. Вел-ства. Из Вятской духовной консистории. Слушали: конфиденциальное письмо первоприсутствующего члена св. Синода, высокопреосвященного Иоаникия, митрополита Киевского и проч. В собрании о. о. членов св. синода возбужден был вопрос: могут-ли епархиальные преосвященные в случае смерти гр. Толстого разрешить совершение по нем панихид и заупокойных литургий? Св. синод в заботах своих об утверждении мира православной Всероссийской Церкви и устранения соблазна признал благовременным разрешить сей вопрос, ибо кончина гр. Толстого может дать повод многочисленным его почитателям, часто только по слухам знакомым с его воззрениями, просить приходских священников совершить по нем панихиду и заупокойную литургию, и последние по неведению могут исполнить их желание. Между тем, гр. Толстой в своих многочисленных сочинениях, в которых он выражает свои религиозные воззрения, ясно показал себя врагом православной церкви. Единого Бога в трех лицах не признает; Второе Лицо — Сына Божия, называет простым человеком; кощунственно относится к тайне воплощения Бога-Слова; искажает свящ. текст Евангелия; св. Церковь порицает, называя ее человеческим установлением; церковную иерархию отрицает, и глумится над св. таинствами и обрядами св. православной Церкви. Таких людей православная Церковь в присутствии чад своих торжественно в неделю Православия об'являет чуждыми церковного общения. Посему совершение панихид и заупокойных литургий по гр. Толстом, в случае его смерти без покаяния и примирения с Церковью, несомненно смутит

[1] Пребывание Б. Г. в Уральске летом 1900 г. (с 20 июня по 8 сент.) имело целью собирание материалов для задуманного им исторического романа из эпохи Пугачевского восстания. См. об этом предисловие к наст. тому.

совесть верных чад св. Церкви и вызовет соблазн, который должен быть предупрежден. В виду сего св. синод постановил воспретить совершение панихид и поминовений по гр. Толстом, в случае его смерти без покаяния, о чем и поручил мне сообщить епархиальным преосвященным.

На сем письме резолюция преосвященного Алексия последовала между прочим такая: 2 апр. 1900 г. в консистории особым циркуляром сообщить конфиденциально, через о. о. благочинных, духовенству епархии копию с настоящего постановления св. синода.

Приказали: во исполнение архипастырской резолюции, последовавшей на настоящее письмо Высокопреосвященнейшего митрополита Иоаникия, консистория определяет: о содержании сего письма сообщить духовенству епархии конфиденциальными циркулярами и указами на имя о. о. благочинных, а также настоятелей и настоятельниц монастырей.

Апр. 19 дня 1900.— Член консистории протоиерей Гавриил Порфирьев.— Секретарь А. Стратилатов".

Циркуляр этот разошелся в сотнях тысяч экз. по всем благочинным и монастырям. Благочинные сообщили его всем настоятелям. От них, конечно, все это тоже „конфиденциально" разошлось в публике. Трудно придать чему нибудь большую гласность!.. Одно время об этом изуверском предупреждении толковали в вагонах и на пароходах. Я слушал рассуждения об этом на Урале между казаками (в Уральске и Илеке), на жел. дорогах, наконец здесь, в Полтаве. Синод употребил, очевидно, все усилия, чтобы популяризировать „ересь" великого писателя и подготовить торжество первых в России „гражданских" похорон, на которые соберется бесчисленная толпа... Simplicitas!

29 января

Тревожные слухи о студенческих волнениях, начавшихся еще с прошлого года. В Петербурге опять в начале — причина административная высылка курсистки, в которой Раев (директор курсов, более по благодушию и недалекости

принял участие. В Киеве — из за какого-то профессора. Студенты отказались его слушать. Начались волнения. Ген.-губ. Драгомиров на сей раз попытался применить административное усмотрение в пользу молодежи. Говорили даже, будто он выслал административно из города самого профессора! Не помогло. Движение все кипело и тлело, под пеплом. Заволновались в Харькове, в Москве (слегка). Сочли нужным обратить взоры к „николаевским временам". Установлены особые суды. В Киеве действовал такой смешанный суд из представителей мин. нар. просвещ., вн. дел, военного (военный прокурор) и, кажется, юстиции. Большинство составляли „просветители", в том числе киевские профессора. Говорят, против приговора (сдача по николаевски в солдаты) протестовал военный прокурор (военные, по слухам, справедливо недовольны обращением армии в пенитенциарное учреждение). Университетские чиновники однако оказались в большинстве. Приговор состоялся и, говорят, утвержден ...

Теперь до Полтавы доходят слухи: сдача в солдаты состоялась, 15 (или 18) студентов отказались будто бы от присяги, один по какому-то поводу оскорбил офицера и попал под военный суд ... Настроение в обществе напрягается. Бедная молодежь теряет голову. Родители не пускают сыновей (после Рождества) из дому, но оставшиеся чувствуют стыд,— там где-то гибнут их товарищи. По обыкновению, на место политических убеждений становится элементарное товарищество, молодое негодование, и молодежь охвачена стихийным вихрем. Люди, никогда не думавшие о протестах, люди, совершенно не имеющие политич. взглядов, отличный материал для будущих следователей, прокуроров, врачей, инженеров — видят себя захваченными и увлекаемыми роковой „силой необходи-

мости" — едут, присоединяются и гибнут. Настроение понемногу извращается. Марксизм, возводивший в принцип подчинение идеологии общественным законам, ставивший перед молодежью „чужие классовые идеалы" — заменяется постепенно страстными, непосредственными чувствами своего собственного негодования и гнева. Порой не узнаешь недавних еще доктринеров и схематиков ...

Сегодня утром встретил С..., человека отнюдь не радикально настроенного. Сообщает с тревогой, что приезжие из Киева привозят вести о появляющихся в воздухе признаках террористического настроения. Роковой круг российских настроений в атмосфере бесправия и бессмысленного гнета! И никто не хочет понять, что студенческое движение — только симптом и само по себе — неразрешимо.

В Харькове несколько человек цыган приговорены к смертной казни, за разбой. Судили военным судом. Улики далеко не решающие. Смертная казнь отменена. Вероятно в виду неполной убедительности ... Военный же суд, как машина: смелет, что в него ни брось.

1 февр. 1901

Маленькая студенческая драма: недавно уехал отсюда в Харьков студент Р. Мальчик довольно способный, считался до некоторой степени „вожаком". Родители по своему прошлому и образу мыслей,— не могут с полной непосредственностью удерживать юношу от участия в движении.

— Проводили, — со вздохом, но и с гордостью за сына говорила мне недавно мать... — На жертву ...

В глазах мелькали слезы, но она гордилась ...

На-днях юноша этот появился опять на улицах Полтавы. При встрече с знакомыми он принимает вид очень величавый и бодрый. Свое отсутствие из Харькова он об'ясняет тем, что своим участием не хочет компромстировать движение товарищей, которые могут пострадать из-за присутствия таких неблагонадежных элементов. Вся его страшная неблагонадежность состоит лишь в том, что он уже на замечании и, конечно, может пострадать, в случае движения, одним из первых. Он поэтому явился к инспектору студентов и демонстративно взял отпуск, даже заявив, что он уезжает от беспорядков ... Здесь он придает этому вид оберегания товарищей от себя ... Им, однако, ему пришлось сказать, что его мать опасно больна.

Мать тоже делает вид, что верит в великодушные мотивы своего птенца. Когда она встречает знакомых и говорит им, как то особенно развязно, „а мой (скажем) Боря здесь", — то в глазах ее нет уже слез, пожалуй, действительная радость, но ... гордости сыном уже нет.

Такой ценой приходится покупать „благонадежность" детей ... Первый шаг ... Победа над первым стыдом ... Первое лицемерие, пережитое на виду у всех ...

Рассказывают и о других примерах. У П.— родителей-радикалов — сыновья, по реакции сменяющихся поколений — вышли „белоподкладочники". Они лишь „пользовались молодостью" и иронизировали над попытками отцов „обновить мир". Они были одинаково равнодушны и к народничеству, и к марксизму, и ко всяким изм ам. Но вот начинается студенческое движение ... Просыпается сначала товарищеское чувство и элементарное негодование перед мерами укрощения и их лицемерием ... Затем общее напряжение растет — и молодые люди уже горят теми-же чувствами, какими ранее горели

отцы. А последние со страхом смотрят на бурную интенсивность этого процесса...

Правительственное сообщение (напечатанное 10 янв. 1901 г.[1]) по обыкновению начинает с того, что в Крыму состоялся с'езд злонамеренных студентов, задавшихся целью возбудить движение, несимпатичное большинству. Зачинщики эти были арестованы, но движение все-таки распространилось. История обычная. И что хуже всего — движение захватило элементы студенчества, не причастные „политике" в прямом смысле. Оно задело элементарные чувства молодых душ. Можно не быть политиканом, за это никто не презирает, но... бежать из университета, когда товарищи переживают опасность, все-таки постыдно... Лучшие сердцем — остаются. Я знаю случаи, когда юношей хватали и высылали за то, что они „говорили на сходках". Они говорили — „против движения". Года два назад мне рассказывала одна дама: явилась она после ареста сына в „департамент". Как? За что взяли ее сына? Он был всегда против демонстраций. „У нас, к сожалению, — есть доказательства. Узнаете?" И ей показывают моментальный снимок: толпа голов, возбужденные лица и ее сын над толпой в позе одушевленного оратора. Снят момент, когда... юноша энергично оспаривал предложение демонстрировать! Таких случаев было много и в наше время. Начальство требует одного — безучастия и бегства от волнений. Лучшая часть, да и почти вся молодежь — этого-то именно дать не может. С мнением з а или с мнением п р о т и в, но юноша с душой будет в среде товарищей, когда им грозит опасность. Покупать благонадежность ценою постыдного побега — захотят лишь

[1] Русск. Бог. № 1—1901, внутр. хр. (Прим. В. Г.)

морально слабейшие. Подстрекать молодежь со стороны на борьбу, в которой общество само не принимает участия — гнусность или глупость... Но... я чувствую все таки, что мое отношение к знакомому юноше, прикрывшему побег лицемерными мотивами, изменилось к худшему. И самые „благонамеренные" люди вспоминают при этом лермонтовское: „Гарун бежал быстрее лани, быстрей, чем заяц от орла"... И это потому, что речь идет уже не о политике, а об оценке душевного склада. Власть в этом деле роковым образом вызывает и ставит против себя — лучшие движения молодой души, а за себя привлекает самые постыдные инстинкты — самосохранения и безучастия...

3 февраля

Вчера — известие из Петербурга: у Милюкова[1] произведен обыск, и он содержится под домашним арестом.

10 янв. умерла королева Виктория[2], на днях умер Милан[3], — две противуположности, два полюса монархизма. Ни один из неограниченных монархов не пользовался таким уважением, как Виктория в своей конституционной стране. Она, правда, была символом, но символом величавым и почтенным. Милан — это был вечный посетитель парижских кокоток. Королевский сан служил ему лишь средством для добывания денег. Когда его фонды на парижском демимонде начинали падать, он ехал в Сербию

[1] П. Н. Милюков, известн. историк, впоследствии лидер конституционно-демократич. партии и член Временного Правительства.

[2] Виктория — Королева Великобритании (1819—1901).

[3] Милан Обренович, король сербский (1854—1901 г.), прославившийся своей бесчестной политикой и развратным поведением. В 1889 г. Милан отрекся от престола в пользу своего несовершеннолетнего сына Александра.

и производил переворот. Это был презреннейший негодяй, и ему принадлежит историческая заслуга — трепать королевскую мантию по грязным притонам. Корону целой страны он клал на ночной столик публичной женщины. Фигура во всяком случае — характерная и многозначущая.

Умер он в Вене. Характерно, что когда известили об опасной его болезни жену (королеву Наталию) и сына — ни та, ни другой не приехали к умирающему. Все видели в этом лишь новую хитрую каверзу изобретательного и промотавшегося мошенника. Я думаю даже, когда в Сербию ввезут его гроб, — многие будут опасаться, что он подымется и потребует опять „отступного".

Впрочем, в торжественных речах и многих газетных заметках говорится о „заслугах покойного перед страной".

4 февр. 1901

В газ. „Россия" перепечатано из вечернего издания „Новостей Дня" об'явление, подписанное ректором моск. университета Тихомировым, помощником его и деканами:

„С самого начала текущего учебного года недоброжелательные правильному ходу университетских занятий элементы пытались волновать студентов прокламациями, возмутительными по форме и лживыми по содержанию. До вчерашнего дня все эти попытки оставались совершенно бесплодными. К сожалению, вчера, 29-го января, группа в 308 студентов, из коих: 1-го курса — 171, 2-го — 116, 3-го — 16 и IV — 5, собравшись в актовом зале, помешала днем чтению лекций. Та же группа позволила себе от имени будто бы всех студентов московского университета об'явить „обструкцию".

„Правление университета, в виду беззаконных поступков означенных 308 студентов, расследует их действия и выяснить степень ответственности каждого из них.

„Правление университета уверено, что студенты исполнением своих истинно-университетских обязанностей, т. е. возможно ревностным отношением к своим учебным занятиям, достойным образом ответят на произвольную претензию участников противозаконных действий". („Россия" 31 янв. 1901, № 635).

С декабря месяца некоторый кризис в Союзе Писателей. Возмущенная скандалом в М[алом] театре (при постановке юдофобской пьесы „Контрабандисты“ [1]) молодежь и часть публики обратилась в Союз с требованием — судить Суворина за пьесу и за статью Сигмы [2] в „Нов. Вр.“ по поводу пьесы. Пьеса дрянная, статья Сигмы еще дряннее. Однако комитет Союза тепер ясно представил себе, что ведь это придется уже судить Суворина за самое „существо“ его взглядов, за то, что он, антисемит, ставит юдофобскую пьесу и печатает юдофобские статьи. Комитет отказался внести петицию (подписанную 1500 лицами) в суд чести, что было-бы и безполезно. Пытались заставить Комитет огласить петицию в общем собрании. Комитет не согласился и на это, находя, что это явилось-бы прецедентом, обращающим союз в арену для шельмования тех или других лиц за убеждения. Вообще-же — постоянная организация суда при союзе родит кляузы среди членов и предрассудок: всякое негодование по поводу мнений и направлений стремится найти выражение в „приговоре“. Тенденция нехорошая, особенно в литературной среде... Суд чести выступил против нее в одном своем решении по делу того-же Суворина. Это вызвало тогда некоторую бурю в среде Союза и довольно глупый протест из публики (из Нижнего Новгорода)[3]. Так как „приемы“ Суворина в этом деле получили все-таки нравственную оценку в постановлении суда (оценку довольно суровую), и суд только не применил к нему статью „о шантаже, плагиате, заведомой клевете“ и т. п. —

[1] Пьеса Литвина (Ефрема) и В. Крылова. Шла раннее в провинции под заголовком „Сыны Израиля“.

[2] Сигма — псевдоним нововременского фельетониста С. Н. Сыромятникова.

[3] См. об этом выше запись под 24 июля 1899 г.

то говорили, что Суворин вышел из состава Союза... Повидимому, однако, он этого не сделал...

5 февраля

„Новости Дня" (на основ. 154 ст. ценз. уст.) приостановлен на 3 месяца (напечатано известие это 3 февр. в „Р. Вед."). Вероятно, за напечатание „об'явления" ректора и деканов. О студенческом движении можно брать известие лишь из правительственных сообщений. Интересно, что, кажется, „Нов. дня" выходят под цензурой. При кн. Шаховском это первый случай наказания подцензурного издания. Он высказывался принципиальным противником таких кар.

Письмо из Москвы: недавно был произведен обыск у Линда и Быкова, прежних владельцев магазина „Книжное дело". Обыск не дал никаких результатов, мотивы его неизвестны, тем не менее... оба были арестованы. Нужно было заступничество Святополк-Мирского, чтобы их через несколько дней выпустили. При допросах интересовались,— чем Линд и Быков руководствуются при выборе книг для издания!.. Новое цензурное ведомство. Цензура пропускает издания, а жандармы требуют исповеди по поводу литературных вкусов издателей!

Одновременно с обыском у Милюкова в П-бурге произведены обыски у М. М. Филипова,[1] Никонова (адвокат и писатель)[2], Гарюшина (пис.) и Васильева. Оказывается кое-что найдено только у Милюкова, и он из-под домашнего ареста переведен в дом предварительного заключения. В Петербурге ходят зловещие слухи о судьбе журнала „Жизнь"[3], в связи с обысками у ее ближайших сотрудников.

[1] М. М. Филипов, писатель-марксист, основатель журнала „Научное Обозрение".

[2] А. А. Никонов, вел внутрен. обозрение в журнале „Жизнь".

[3] Журнал „Жизнь", орган марксистов, издавался с 1897 г.

9 февр. 1901

Недавно в Н. Колымске разыгралась трагедия: по реке Колыме ехал заседатель Иванов, родом из якутов. Его встретил политический ссыльный [Калашников] и, ожидая письма, под'ехал с вопросом, нет ли ему чего нибудь с почтой. Заседатель, как мне пишут, вечно полупьяный, чем то оскорбил его. Неизвестно, с чего именно началась ссора, но ссыльный кинулся к заседателю „с угрожающим жестом", а тот бывшим с ним поселенцам и казакам велел держать его и избил самым жестоким образом. Ссыльный вернулся в „город", встретил товарища, рассказал ему обо всем и тут-же, на глазах у него, застрелился. Это, разумеется, произвело страшное впечатление на всю ссыльную колонию. После этого некто Ергин, товарищ самоубийцы, встретил на охоте под Колымском того-же заседателя Иванова и застрелил его наповал. Так рисуют это дело письма ссыльных. По отзывам — оскорбленный Ивановым ссыльный был человек необыкновенно кроткий и нужно было действительно тяжкое оскорбление, чтобы он кинулся на заседателя с „угрожающим жестом". Наоборот — якут Иванов рисуется человеком грубым и вечно пьяным. У Ергина в Петербурге мать... В письме сообщалось, что назначен военный суд и значит — верный приговор к смертной казни. Одна из моих знакомых — родственница ген. губ. Пантелеева, и я написал ей об этом деле[1]. Она написала Пантелееву, и наднях получен ответ. „Подробности происшедшей в Н. Колымске драмы известны мне, — пишет он, — в несколько ином виде, чем по дошедшим до вас сведениям, но тем не менее Ергин,

[1] Ал. Ив. Пантелеев. ген.-губернатор Восточной Сибири; родственница эта — художница В. П. Шнейдер. См. письмо к ней В. Г. 18 дек. 1900 г.

убийца Иванова — родом якута, но вполне честного и добропорядочного человека — понесет наказание по приговору гражданского суда. На таком решении должен был я остановиться как по обстоятельствам дела, так и потому, что командирование военного суда в настоящее время года в эти столь отдаленные места или-же вызов оттуда в Иркутск всех необходимых лиц представляется почти невозможным. Во всяком случае участь этого Ергина в руках нашего общего суда, к сожалению нередко не в меру гуманного".

Очевидно все-таки, что были какие-то обстоятельства дела, влиявшие также на это решение. Интересно, что генер.-губ. все-таки недоволен „гуманностию" гражданского суда. Когда года три назад некто Карпов, сынок одного из сибирских губернаторов, застрелил выстрелом в спину инженера, останавливавшего его приставания к дамам в вагоне, — то и он, и его отец добивались всеми мерами именно военного суда. Когда это удалось, то приговор оказался очень мягким: ссылка в Вост. Сибирь на три (кажется) года с лишением прав. Но и это еще показалось слишком суровым: ходатайствовали перед государем, и тот заменил ссылку арестом без лишения прав! Убийца Сморгунера, редактора „Туркест. Края", Сташевский — посажен в крепость и оттуда выпущен месяца через два-три. Этого г.г. военные не считают „не в меру гуманным"...

Интересна дальнейшая судьба этого Карпова, заслужившего такую беспримерную высочайшую милость. Ободренный этим доказательством безнаказанности — он превратился в окончательного безобразника и однажды на палубе парохода, в присутствии многочисленного общества (и дам в том числе) — стал отправлять естественные надобности. Это повело — к исключению его из военной службы.

На-днях в Петербурге у выхода из гостинницы Палкина какой-то военный стал рубить по голове шашкой барона Н. И. М-на. Его едва удалось обезоружить, причем он избил городового и порезал ему руки. При аресте оказалось, что это „самозванец". Он носит, „не имея на то права", форму уральского казачьего войска и именует себя Ник. Богучарским. Интересно, что газеты как-то глухо упоминают об этом случае, ограничиваясь коротким и неясным известием... Между прочим упоминается, что он „лишь несколько дней как приехал в Петербург и как видно из найденных у него в кармане бумаг, — имел сношения с завсегдатаями ночлежных приютов"...

16 февр.

Предчувствие или предвидение, что скоро должно начаться опять тревожное время террористических покушений, — сбылось скорее, чем можно было ожидать: 14 февраля, как оповестили телеграммы „могилевский мещанин" Карпович выстрелом из револьвера ранил министра нар. просвещ. Боголепова. На след. день к званию „могилевский мещанин" Тел. Агенство прибавило звание „бывшего студента". Петр Владимирович Карпович, оказывается был студентом естественного факультета моск. университета, откуда в 1896 г. исключен за участие в студ. беспорядках. В 1898 ему разрешено поступить на медиц. факультет Юрьевского университета, откуда в 1899 он опять исключен за участие в беспорядках. В минувшем году Карпович слушал лекции в берлинском университете.

По частным сведениям из Петербурга — Карпович на допросе показал, будто-бы, что „на него пала очередь". Итак — опять начало того-же. Русская история

новейшего времени совершила круговорот и пришла опять к исходной точке. Еще несколько лет назад — решительно ничего подобного не виделось. Марксизм, казавшийся таким страшным в то время, успокаивал „нетерпеливые элементы“ неизбежными „законами“, „эволюцией производства“ и т. д., совершенно отрицая значение „личных приемов борьбы“. И вот, теперь происходит новая „эволюция“ к старому. Правительство продолжает реакцию. Императору Николаю II постоянно указывали на пример двух Александров. Александр II освобождал и погиб жертвой цареубийства. Александр III всю жизнь — подавлял и мирно почил на своей постели. Факты как будто подтверждали эту „теорию“. Конец 80-х и все 90-е годы уже не знают террора. И это приписывается „твердой политике подавления“, тогда как в действительности все дело было в смене настроений. Из разочарований 80-х годов вышло новое поколение, с наивной верой в быстрый рост 4-го сословия и во всемогущество „прогресса производства“. Правительство постаралось доказать всю наивность этих построений: все попытки легальной деятельности нового направления — тщательно искоренялись, все легальные органы марксизма закрыты, закрыта и невинная говорильня Вольно-Экономического О-ва. И вот, перед поколением, забывшим разочарование от террора (даже при его наибольшей удаче) — постарались как можно яснее поставить собственные его разочарования: пусть рост производства идет „гигантскими шагами“, ну, а произвол, неразумный и жестокий — остается все тот-же. Молодежь волнуется, идут исключения, военные суды, отдача в солдаты... Университетская администрация, одно время заигрывавшая со студентами, начинает держать себя самым вызывающим образом. Сонин, ректор петербургского университета недавно вывесил глупое и пошлое

об'явление, где называет „стремящихся к беспорядкам студентов"—„сверх-студентами" (!).

И вот, среди всего этого, выстрел, „по жребию"... Очевидно, это только начало. Возрождается терроризм.

19 февраля

Недавно (наднях) умер Манассеин[1]. Это был замечательно чистый человек и истинный подвижник науки и общественного дела.

К 19-му февраля готовилось во многих местах празднование 40-летия со дня освобождения крестьян. Такоеже празднование предполагалось и в Полтаве. Расклеены афиши, школьников предполагалось свести на панихиду по Александре II и освободить от занятий... И вдруг — все это воспрещено!! Напомнили циркуляр, запрещающий празднование юбилеев ранее 50 лет. И вот, — оказывается — панихиды по „Царе-освободителе" воспрещаются или по крайней мере на них не пустят школьников. Дума для угощения учащихся заготовила пироги... Раздать пироги разрешено, но... молча и без об'яснения причины — почему это делается. Все это факт несомненный и вероятно не в одной Полтаве[2]. И рядом с этим, как бы в насмешку над недоумением всего общества, телеграфное агентство печатает и оглашает на всю Россию известие о другом юбилее, на сей раз уже прямо 25-летнем:

[1] В. А. Манассеин (род. в 1841 г.) — врач и публицист, редактировал журнал „Врач", где ставил всегда медицину в связь с общественностью.

[2] См. об этом инциденте корреспонденцию В. Г. из Полтавы (без подписи), в „Русск. Ведом." 1901 г. № 65. О том-же—в письме к Ф. Д. Батюшкову от 22 февр. 1901 г. („Письма" т. VI.).

Петербург, 16-го февраля. Издан Высочайший рескрипт на имя Великого Князя Владимира Александровича по случаю 25-летия назначения президентом академии художеств.

Очевидно, до 50 лет нельзя праздновать лишь юбилея освобождения крестьян. Говорят, циркуляр, воспрещающий панихиды по царе вызван, будто-бы, тем, что „злонамеренные люди" хотели превратить 19 февраля в своего рода заграничное 1-е мая. Возможно. Но тогда это было-бы чрезвычайно интересное проявление злонамеренности: люди злонамеренные праздновали бы освободительный акт, исходивший „с высоты трона", напоминали-бы об этом массе... О, конечно, этому следовало воспрепятствовать во что бы то ни стало.

Кажется, в конце концов, если бы можно было доказать, что какие нибудь „крамольники" стали довольны самодержавием и возлагают на него надежды — тогда то мы, наконец, получили-бы конституцию![1]

Недавно в газетах появились известия о грандиозных манифестациях в Финляндии.

В Финляндской Газете напечатано: 5-го февраля в Гельсингфорсе, в годовщину об'явления Императорским финляндским сенатом Высочайшего манифеста 3 февраля 1899 г. был произведен ряд манифестаций. Около пяти часов вечера на электрическом проводе через Эспланадную улицу было вывешено черное полотно с именами сенаторов, подавших голос за опубликование манифеста. Те же имена были

[1] Далее на двух страницах дневника наклеена газетная вырезка из „Южного Обозрения" (№ 1385, от 30 янв. 1901 г.) со статьей В. Г. Короленко (подписанной буквой „W"): „История о безвестно пропавшей больной. (Письмо из Полтавы)". Статья эта обличавшая порядки, царившие в то время в Полтавской Губ. Земской больнице, утратила в настоящее время интерес и здесь не печатается.

изображены и на выставленном в окне магазина „Crescent" транспаранте, на котором кроме того читались надписи: „Закон выше всего", „Страна должна управляться законом" и т. п. В начале восьмого часа вечера окна домов, выходящие на улицу, были тщательно завешены шторами, магазины заперты и огни в них погашены; остались освещенными несколько русских магазинов, квартиры большинства русских жителей Гельсингфорса и лишь весьма немногие из магазинов и квартир местных обывателей. Столь несвоевременное и согласное тушение огней во всем городе очевидно об'яснялось во множестве разбрасываемыми и разносимыми по квартирам за несколько дней перед 5-м февраля об'явлениями, приглашающими потушить в этот день огни с 7-ми часов вечера. В половине восьмого большая толпа, преимущественно молодежи и интеллигентов, собралась у памятника Императора Александра II, к подножию которого группою женщин была возложена траурная лента с надписью; лента была вскоре убрана. В то же время значительная толпа народа, немалую часть которой составляла молодежь, сновала по улицам города, заставляя освещенные еще магазины потушить огни, причем некоторые лица позволяли себе даже врываться в магазины и лично тушить огни: так принуждены были погасить огни магазины Перлова, Вороб'ева, Аладьина и др. Вместе с тем толпа собиралась также против некоторых освещенных квартир русских, а отдельные манифестанты, не довольствуясь этим, позволили себе даже звонить в квартиры двух штабофицеров, живущих в центре города, шуметь на лестницах, грозить, и только участие приглашенной квартирантами полиции предотвратило вторжение в квартиры. В то же время и с тою же целью толпа собралась у книжного магазина Н. Т. Резвого. Наконец ею же был устроен кошачий концерт у квартир некоторых сенаторов; в окно одного из них толпа, кроме того, бросала комьями снега. Сенаторами были получены угрожающие письма за подписью „Тайного патриотического союза". („Р. Вед." № 41, 10 февр. 1901 г.).

Одним словом — „патриотическими усилиями" из Финляндии наконец создана вторая Польша. Недавно даже кн. Мещерскому пришел на ум вопрос: какими практическими надобностями руководится наша финляндская политика, — он заявляет, что история ее решительно не оправдывает: в прошлом полная лойяльность финляндцев не подлежит сомнению.

„Московские Вед.“ дают почти художественное описание этой же демонстрации.

С утра 5 февраля публика (конечно, интеллигенция, так как низший класс относится ко всему этому более равнодушно) фланировала на главной, Эспландной, улице в каком-то возбужденном состоянии. Лица гуляющих были необычайно веселы и довольны, все выглядывали какими-то именинниками. Нанятые мальчишки сновали по домам и магазинам и напоминали еще раз о необходимости потушить огни с наступлением вечера.

В книжных магазинах выставлены были большие снимки с патриотической картины „Бьернеборгекий марш“, на которой изображены барабанщики, усердно отбивающие палками „Бьернеборгский марш“, под звуки которого шествует чухонское (!)[1] войско. Около этой картины разложены в красивых переплетах национальных цветов сочинения Рунеберга[2], „конституция“ Мехелина и другие продукты местного сепаратизма. В иных магазинах были вывешены траурные материи.

За несколько часов до наступления темноты на одном из телефонных проводов, перекинутых по середине Эспланды с одной стороны улицы на другую, а именно в том месте, где красуется памятник политического агитатора и автора никем не признанного до сих пор финляндского гимна „Wartland“[3] (Наша страна) Рунеберга, с крыши пятиэтажного дома вазаского банка был прикреплен громадный щит, выкрашеный в черный цвет, на одной стороне которого большими буквами были написаны белою краской сверху и снизу „1899 год“, а посередине фамилии сенаторов, согласившихся на обнородование манифеста 3 февраля 1899 года, Энеберг, Тудет, Сольман, Нюберг, Ирье-Коскинен и др. Этот щит был укреплен на блок и, благодаря ветру, двигался по проволоке. По городу разнесся „остроумный“ слух, что сенаторов, обнародовавших манифест, „повесили на телефонной проволоке около памятника Рунеберга“.

[1] Курсив всюду принадлежит В. Г. Знак восклицания после слова „чухонское“ поставлен им-же.

[2] Рунеберг (1804 — 1877) знаменитий финно-шведский поэт; по содержанию и духу своей поэзии, он — национальный поэт Финляндии.

[3] Против подчеркнутых В. Г. строк на полях проставлен им знак вопроса.

В самое короткое время масса публики запрудила центр Эспланады, любуясь двигающимся щитом и вслух читая фамилии провинившихся сенаторов. При всей флегматичности и тяжеловесности угрюмых финляндцев, они не могли равнодушно смотреть на это необыкновенное зрелище и хохотали от души. Хохотали не только молодежь, но и старики. Веселое настроение поддерживал и блюститель общественного порядка — констабль (по нашему — городовой), который важно шагал под щитом, изредка поглядывая на него.

Нам пришлось быть там почти все время и наблюдать за публикой. Преобладала интеллигенция всех возрастов и обоих полов; среди нее были лица, занимающие весьма солидные должности в магистратуре, и тем не менее никто не возмущался этим публичным издевательством над своими сородичами, а может быть даже и знакомыми. Даже почтенные, убеленные сединами дамы — и те злорадно посмеивались.

Прошло более двух часов, пока, наконец, явились сначала жандармский полковник, а затем уже губернатор и полицмейстер. Жандармский полковник указал губернатору на щит, после чего губернатор приказал полиции снять его.

С наступлением вечера все магазины и конторы были заперты, и огни загашены даже там, где они горят всю ночь.

Во всех квартирах и гостинницах, номера которых выходят на улицу, были потушены огни, или спущены плотные сторы, не пропускавшие света В одном только магазине, на Александровской улице, наружное окно было украшено траурными материями, а посередине поставлены зажженная свеча и около пустой салатник (?!). Какую роль играл в этом случае салатник — понять трудно; но очевидно, здесь скрывалась какая-то аллегория.

На углу Южно Эспланадной улицы и Торговой площади, в велосипедном магазине „Crescent", в громадном выставочном окне был вывешен во все окно транспарант, на котором огненными буквами изображены были те же фамилии сенаторов, которые были написаны на щите, причем под фамилиями более крупными буквами прописано: „Страна должна управляться законом". Любопытно, что около этого окна расхаживали двое полицейских, и масса публики запрудила, можно сказать, часть площади против магазина [1].

[1] Беру из „Сев. Края"— № 44.— 18 февр. 1901. *(Прим. В. Г.)*

Любопытно, это указание на полицейских, спокойно расхаживающих около „возмутительной надписи", гласящей, что страна должна управляться законом. Предполагается, что у нас самое упоминание о законе должно было заставить полицейских тотчас же ринуться, очертя голову, на эту „революционную" надпись...

Интересно также, что Рунеберг, действительно крупный поэт, имя которого известно от Финляндии до Америки — называется только „политическим агитатором", а его гимн — „никем не признан". Кем-же он должен бы быть признан, если его знает весь народ, для которого он и написан?

21 февр.

Один мой знакомый получил письмо из Харькова: „Вчера 40-я годовщина освобождения крестьян, каковой день и был назначен для устройства демонстрации на Николаевской площади, около университета и по Сумской (в Харькове). Народу было несколько тысяч. Были вызваны войска: несколько сотен казаков и две роты в полном вооружении пехоты Тамбовского полка. По временам окружали небольшие группы и отправляли в пересыльную тюрьму, в казармы и в арестанские роты. В результате студентов — арестовано около 200. Сегодня так-же было кое-что, так что на Сумской казаки. Вечером, кажись, опять будет что-то возле театра по Сумской. Некоторых побили нагайками".

25 февр. 1901

Новое письмо из Харькова, на этот раз мне от И. П. Б.,[1] очевидца.

[1] И. П. Белоконский — писатель, революционер, знакомый В. Г. со времени ссыльных скитаний.

Кто наблюдал за общественной жизнью в Харькове, не мог не заметить, что брожение среди молодежи началось после первых-же слухов о „киевских безобразиях“ [1]... Наибольшая нервность проявилась, конечно, среди студентов, из которых тогда же были удалены кажется 25 челов. (среди них несколько ветеринаров). Не знаю почему „настроение“ достигло своего апогея 19 февр.— повидимому самый день 40-летия освобождения крестьян играл здесь и самостоятельную роль, помимо предшествовавших обстоятельств. В этот день студенты собрались на площади перед кафедральным собором и, по окончании официальной литургии, задумали сжечь плеть на площади, „дабы уничтожить символ рабства“, а затем стали петь дубинушку. Вдруг, откуда не возьмись,— казаки! Окружили и погнали в полицию, захватив и часть публики, стоявшую поближе к демонстрантам. Не захваченные студенты и публика отправилась вслед за печальной процессией, причем незабранная молодежь решила отправить депутацию к губернатору, которая бы указала на ничем не вызванный (?) [2] арест товарищей. Когда они достигли полицейского управления, кто-то сказал, что губернатор сейчас здесь, причем полиция любезно предложила студентам войти во двор управления. Тогда „к губернатору“ отправились не один депутаты, но и вообще студенты. Но, когда молодежь вошла во двор, ей об'явили, что губернатора нет, а ее не выпустят. Это в городе называют „вторым уловом“, совершенным, очевидно, обманным образом. Эти „два улова“ дали до 150 человек студентов, среди которых были и ветеринары и технологи. Этим, собственно, день 19 февр. и закончился, но вечер ознаменовался такою демонстрацией, какой мне во всю жизнь видеть не приходилось, да, полагаю,

[1] В декабре 1900 г. в Киевском унив-те собралась ночная сходка для выяснения причин исключения двух студентов. За эту сходку было снова исключено несколько человек. После этого студенты произвели сочувственную демонстрацию, в результате которой 183 студента были отданы в солдаты на основании „временных правил 29 июля 1899 г.“ („за учинение скопом беспорядков“). Ответом на это явились выстрел Карповича и студенческие демонстрации почти во всех университетских городах. После этого „временные правила“ фактически перестали применяться.

[2] Знаки вопроса и восклицания, проставленные в скобках, принадлежат В. Г.

и вы не видели, а посему и опишу ее возможно подробнее, так как сам был свидетелем ее от начала до конца. Прежде всего план [1]:

Вечером, часов около 7, в пространстве между драматическим театром и сквером, в самом сквере и в проездах собралась толпа тысяч в десять (?!), состоявшая главным образом из рабочих и молодежи, а также из самых разнообразных элементов города. Сосредоточились они именно в этом пространстве потому, что по линии от государственного банка и до театрального переулка с одной стороны, и по линии от лавки экономич. о-ва и до другого театр. пер. с другой, стояли казаки и не пускали толпу на Сумскую улицу, ни направо, ни налево. Толпа свистела, кричала „ура", а больше всего пела песни „Ах ты, воля, моя воля!" и „Дубинушку". Говорят, будто бы пелись и запрещенные песни, слышались, яко-бы и ругательства по адресу лиц из высшего правительства, но я этого лично не слышал, как не слышал и ругательств, направленных по адресу казаков („опричники"!), и выстрелов, сделанных будто бы, „каким-то студентом". Теснота и давка была ужасная, но конки, извозчики и публика свободно пропускались. Казаки и полиция никого не трогали. Так дело продолжалось часов до 8, и к тому времени толпа сама собой уменьшилась тысяч до пяти, а может и до 4-х. В 8 час. вечера казаки, сопровождаемые страшным свистом, неожиданно удалились, и громадная толпа тотчас-же двинулась вверх по Сумской улице, к... редакции „Южного Края" [2]... Пойдем праздновать победу (!) в „Южный Край"— раздавались голоса. Это подтверждается очень и очень многими лицами, и лично я слышал один такой возглас. Но лишь только процессия завернула за угол (см. план), как вдруг с ужасом шарахнулась назад, а в воздухе, освещенные электрическим светом, засверкали обнаженные шашки казаков, которые (на лошадях) ворвались в толпу, направо и налево размахивая оружием. Говорят, что били они плашмя, но и этих ударов, кому они достались, было достаточно. Впоследствии оказалось, что во дворе редакции „Южного Края" сделана была засада из казаков, которых кормил редактор Юзефович... После этой „битвы" толпа опять втиснута была в вышеочерченные рамки, казаки опять

[1] В этом месте дневника набросан план той части города, в которой произошла демонстрация.

[2] „Южный Край"— газета реакционного направления (в духе „Нов. Времени"), издавалась А. А. Юзефовичем.

стали на ранее занимаемых местах, закрыв доступ на Сумскую улицу. Демонстранты продолжали прежнее свое поведение, т. е. пели „Волю", „Дубинушку", кричали „ура". Кроме того, прибавилась „процесия": мальчишки, которых было громадное количество, разобрали колья из театрального сквера, которыми подперты были деревья, навешали на них бумажек, тряпок, а один мальчишка снял свою рубашонку для знамени, и с этими знаменами, подняв их высоко, начали ходить среди толпы от банка до экономического общества и обратно, причем малыши садились друг на друга и изображали казаков с пиками и их лошадей. Под'езжая к казакам, они гикали, кричали, свистели и делали вид, что нападают на казаков, а потом возвращались обратно. Подражая казакам, они кричали на толпу и шутливо стегали ближайших веревочными кнутиками.

Так дело продолжалось до 10 часов, когда неожиданно, как из под земли (?) появилось множество казаков, раздалась команда, и казаки погнали всю толпу по направлению за сквер, к Пушкинской ул., причем правых и виноватых хлестали нагайками, не разбирая ни пола, ни возраста, ни положения. Некоторых избили очень сильно и вообще досталось всем, кто случайно был в толпе, что у сквера, или, ничего не видя, шел со стороны Пушкинской ул., к театру.

Вот и все наше „событие". Арестованных студентов, за исключением 12-ти, всех вчера освободили, но есть слух, что их будут „судить". Сегодня ветеринарный институт был окружен солдатами. Вообще в воздухе носятся „солдатчина", „нагайка", „козак", „аресты"... Публика чувствует себя отвратительно, нервы расстроены до последней степени, несчастная молодежь мечется, как угорелая... Тюрьма давно набита, так что неизвестно, куда будут помещать новых пленников, которых, конечно, найдут в достаточном количестве.

Здесь нет подтверждения слуха, будто утром был убит студент технолог, как передавали здесь, в Полтаве, приезжие из Харькова. Вообще, повидимому, полиция и войска, по российской мерке, вели себя еще довольно умеренно. Нельзя сказать, чтобы арест, или, как его называет мой корреспондент [„улов"] был вполне „беспричинен". Точно так-же и во второй раз, когда толпа двинулась к Юзефовичу,— конечно, не могли-же власти допустить разгрома. Из всего очевидно только, что у нас

начинает вырабатываться некоторая „практика“ уличных манифестаций, к которым волей неволей придется относиться более терпимо, чем прежде.

Новое „событие“, которое для всей России закроет даже все эти волнения: Л. Н. Толстой „отлучен от церкви“. Вчера телеграфное агенство разослало это известие по всей России, вернее по всему миру. Телеграмма эта гласит сице:

С.-Петербург, 24 февраля. Святейший синод в своем попечении о чадах православной церкви, об охранении их от губительного соблазна и о спасении заблуждающихся, имея суждение о графе Льве Толстом и его противохристианском и противоцерковном — лжеучении, признал благовременным, в предупреждение нарушения мира церковного, обнародовать чрез напечатание в Церковных Ведомостях послание, в коем, перечислив лжеучения графа Толстого, заключает так: ‚граф Лев Толстой все сие проповедует непрерывно, словом и писанием, к соблазну и ужасу всего православного мира и тем неприкровенно, но явно пред всеми, сознательно и намерено отторг себя сам от всякого общения с церковью православною; бывшие же к его вразумлению попытки не увенчались успехом, посему церковь не считает его своим членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с нею. Посему свидетельствуя об отпадении его от церкви, вместе и молимся, да подаст ему Господь покаяния в разум истины. Молимтися, милосердный Господи, не хотяй смерти грешных, услышати и помилуй и обрати его ко святой Твоей церкви. Аминь.

Подписали: Антоний, Митрополит Петербургский и Ладожский, Феогност, Митрополит Киевский и Галицкий, Владимир, Митрополит Московский и Коломенский, Иероним, Архиепископ Холмский и Варшавский, Иаков, Епископ Кишеневский и Хотинский, Маркелл, Епископ, Борис, Епископ [1].

[1] В конце тетради вклеен В. Г - чем полный текст отлучения.

Акт беспримерный в новейшей русской истории! Правда, беспримерны также сила и значение писателя, который, оставаясь на русской почве, огражденный только обаянием великого имени и гения — так беспощадно и смело громил-бы „китов“ русского строя: самодержавный порядок и господствующую церковь. Мрачная анафема семи российских „святителей“, звучащая отголосками мрачных веков гонения,— несется навстречу несомненно новому явлению, знаменующему огромный рост свободной русской мысли.

Российское „миссионерство“ ожесточается все более: то и дело слышишь о том, что толпа избивает сектантов по прямому наущению изуверов-попов. Очень вероятно, что „отлучение“ Толстого есть первый натиск на интеллигентное свободомыслие, и вскоре нужно ждать усиления полицейского и поповского надзора за совестями и душами. Все это характерно и знаменательно, и все это можно охарактеризовать словом „обострение“. Обострение вопроса политического и вопроса церковного. Стачки рабочих, всё возрастающие „сопротивления“ крестьян, указывают на глухое брожение в народе. Массовая война с властями учащейся молодежи начинает вовлекать и общество. Отлучение Толстого отзовется во всем народе: многочисленные, тоже гонимые и часто истязуемые сектанты рационалисты увидят такого-же гонимого и отлучаемого человека на вершинах русской литературы! Наконец, наше нейтральное интеллигентное двоеверие, неверие или религиозный индиферентизм, если его действительно затронут гонением,— сконцентрируется, углубится и выработается тоже в исповедание — рационализма или свободомыслия, во всяком случае не безразличия. На вопросе о свободе совести и борьбе с притязаниями религиозной полиции интеллигентные слои русского об-

щества могут встретиться с миллионами русских сектантов... Медленно, но неуклонно наростают понемногу и собираются великие силы будущей борьбы. Нашим детям предстоит жить в очень драматическое, но и интересное время.

28 февраля 1901

Профессора Московск. Университета коллективно обратились к студентам с увещанием оставить забастовки. „Русск. Вед." (№ 56) печатают текст этого „об'явления", вывешенного в здании Моск. университета.

„Когда в семье случается горе,— пишут профессора,— обязанность старших стать на страже семьи и дать свой совет. Потому мы, профессора, ваши учителя, друзья и товарищи по научной работе, считаем долгом обратиться к вам с советом и просьбою.

„Чтобы выйти из тяжелого положения, нужны самообладание и вера во всепобеждающую силу истины.— Первое нужно для того, чтобы распознать правый путь от ложного,— второе — чтобы уничтожить в себе уныние духа.— Проникнитесь этими началами и выслушайте нас"...

Все это, конечно, очень хорошо, хотя не вполне понятно, причем тут „вера во всепобеждающую силу истины"... Намек на то, что „истина" победит и сама, без студенческих движений? Но далее целый синклит профессоров не находит сказать студентам ничего иного, кроме глупой и заезженой фразы об „агитаторах со стороны".

„Вас запутывают, обманывают и намеренно ухудшают и без того нелегкое положение.

„Люди, непричастные к интересам науки и университета, навязали вам новое, несвойственное студенту слово и деяние —„забастовка", т.-е. заставили вас смотреть на университет, как на учреждение фабричное, а не научное, чтобы таким образом стереть самое название

университета (Кому это нужно?)[1]..." ... „Это путь ложный и опасный. Этим путем достигнуты „временные правила"; теперь вам предлагают идти тем-же путем, т.-е. несомненно стремятся (?!) ухудшить еще больше ваше положение. Вам устраивают сходки и на эти сходки приглашают людей, совершенно чуждых университету, частное явление университетской жизни стремятся раздуть в общий пожар. В вас будят страсти, сообщая вам ложные сведения, соблазняя вас мыслью, что в вашем деле принимают участие все учебные заведения и само общество, называя такие факты „грандиозными манифестациями". Вам печатают и рассказывают о вымышленных злодеяниях (?), которые возбуждают ужас и трепет. В вашу университетскую семью завлекают доверчивых и сострадательных женщин, нервность и возбудимость которых еще более волнует вас (?). Вывешивают плакаты с надписью: „требуем отмены временных правил", хорошо сознавая, что требование равносильно приказу, и тем отрезывая вам путь к отступлению (что значит эта фраза, совершенно непонятно). В вас будят чувство жалости и негодования, смущая вас перспективой нагайки (смущая перспективой ?), и все это делают люди, не имеющие быть может, никакой связи ни с вами, ни с университетом, ни с наукой.

„Университет становится отдушиной, через которую люди всех рангов и сословий стараются пропустить свое недовольство, будет-ли то недовольство политическое, экономическое, социальное и т. д. Университет находится в осаде (профессора то и дело допускают эзоповские двусмысленности: в осаде от злонамеренных агитаторов? или в буквальном значении слова — от полиции?). Как же выйти из этого положения? Забудем слово „забастовка" и никогда не применим его в стенах университета. Выйдем из тяжелого положения путем точного исследования фактов,— единственно верным путем. Но для этого необходимо, чтобы жизнь университета не прерывалась и занятия шли ненарушенными; только при этом условии и при полном доверии с вашей стороны профессора получат возможность (то-то получат-ли?) содействовать приведению в порядок осложненного университетского дела. Мы просим вас — продолжать ваши занятия".

Всех подписей 69, в том числе есть имена популярные и либеральные: В. И. Герье, В. О. Ключевский, В. Ф. Снегирев, гр. Л. А. Комаровский, Р. Ф. Бранд, Д. Н.

[1] Здесь и далее все слова и знаки, заключенные в скобки, принадлежат В. Г.

Анучин, В. К. Церасский, М. В. Духовской, Н. С. Корсаков, В. И. Вернадский[1] и др.

К сожалению, все это едва ли подействует, потому что все это и неверно, и фальшиво. „Старшие члены семьи" становятся на страже от фиктивных злоумышленников и явно бессильны стать на страже от беззакония с другой стороны. А только это последнее придало бы значение и авторитет их голосу, обращенному к „младшим". Легенда о злоумышленниках, стремящихся в своем злодействе —„стереть самое название университета" — явная риторика дурного тона. „Ложные сведения" о солидарности университетов уже оправдались и отчасти теперь оправдываются фактами. „Перспектива нагайки", которою по странному обороту речи авторов „смущают" молодежь — есть сама действительность и трудно ею не смущаться. Вымышленные злодейства — невольно приводят на память дело Ветровой[2], а что касается до „точного исследования фактов" перспективой которого профессора манят студентов,— то это просто нехорошая ложь, на которую ответить студентам легко: кто вам дозволит „точно исследовать факты", которые исследуются „административным порядком", часто даже без допроса обвиняемых?

Одним словом — из действительно и истинно трагического положения — 69 профессоров попытались выйти своим обращением к студентам, но... по самому положению

[1] В. И. Герье — историк, основатель Моск. Высш. Женск. курсов; В. О. Ключевский — знаменитый историк; В. Ф. Снегирев — профессор акушерства; Л. А. Комаровский — профессор международного права; Р. Ф. Брандт — славист; Д. Н. Анучин — антрополог; В. К. Церасский — астроном; М. В. Духовский — криминалист; Н. С. Корсаков — профессор, известный детский врач; В. И. Вернадский — минеролог.

[2] См. примеч. к записи от 10 февр. 1899 г.

вещей — обращение оказалось полным фальши и совершенно лишенным достоинства.

Имени К. А. Тимирязева[1] нет под этим документом. Я знаю, что он искреннее других скорбит о „забастовках“ и резче других говорит об этом студентам. Но очевидно он не дал своего имени для этого лицемерия и фальши.

Невольно является мысль,— не даны ли профессорам какие-нибудь обещания: пустите в ход свой благожелательный либерализм, а за то „получите возможность точного исследования и содействия приведению в порядок“. Но если и так, то... не ясно ли будет, что это явится лишь результатом той самой „забастовки“, против которой гг. профессора так вооружаются. Это будет лишь уступка движению. Если же и ее нет,— тогда это просто нехорошая ложь и ничего больше.

Публика обращает внимание на то обстоятельство, что до сих пор не последовало никакого оказательства высочайшего внимания по адресу Боголепова. Никто из „высочайшей фамилии“ его не посетил, нет сообщений, что бы царь посылал кого-нибудь справляться о здоровьи и т. д. Тоже своего рода трагедия... Вероятно Боголепов страдает от этого, действительно обращающего внимания, пренебрежения не менее, чем и от раны.

[1] К. А. Тимирязев (1843 — 1921) знаменитый ботаник. В. Г. был его слушателем в период своего пребывания в Петровско-Разумовской Академии (1874 — 1876 г.) и навсегда сохранил к нему чувство исключительного уважения и любви. Т. выведен в „Ист. Моего Совр.“ т. II, гл. XXVI; он-же изображен под именем профес. Изборского в рассказе „С двух сторон“ (т. IX наст. изд., см. также письмо к нему В. Г. от 25 июля 1913 г.).

„Один молодой чиновник (пишет мне знакомый из Петербурга), служащий в государственном совете, искренний патриот и убежденный консерватор очень огорчен этим обстоятельством. „Вот и служи после этого!“.

Это, наконец, вызывает какие-то легенды: мне пишут, будто царь и наследник посетили, наконец, Боголепова, но... получен циркуляр, чтобы газеты об этом не упоминали ни словом!.. Что за чепуха?

3 марта 1901

Наднях я получил приглашение —„почтить своим присутствием юбилей А. С. Суворина, как издателя „Нов. Времени“. Оказывается приглашения рассылаются очень широко... А вчера я получил письмо, в котором сообщается, что в Петербурге ходят толки о готовящейся враждебной демонстрации в Эртелевом переулке, в роде той, какая была произведена по адресу Юзефовича в Харькове...

Демонстрацию на Казанской площади называют „неудавшейся“[1]. Впрочем было арестовано до 300 человек разного звания и состояния.

Воспрещение праздновать 19 февр. оказывается отчасти исходило от министра. Пермский губернатор сделал запрос и получил ответ, что празднование нежелательно, после чего были приостановлены приготовления думы и земства. Тем не менее и в Перми, и в других местах празднование прошло довольно внушительно — по инициативе частных лиц и обществ...

[1] Здесь речь идет о небольшой демонстрации, произведенной студентами 19-го февр. в Петербурге у Казанского собора. О грандиозной демонстрации 4-го марта см. ниже запись под 7 марта.

4 марта 1901

2 марта днем Боголепов умер. Носятся слухи, будто получили „предостережение" от террористического комитета министр вн. дел Сипягин и попечитель петерб. округа Сонин. Последний — пошляк, державший себя все время самым вызывающим образом и между прочим отпустивший ходячую теперь пошлость о „сверх - студентах" (в официальном „об'явлении" !). Мне писали, что это глупое об'явление даже покойного Боголепова возмутило, и он приказал снять его.

Комическое интермеццо к „отлучению" Толстого от церкви. С этим мрачным эпизодом случайно совпал реферат Мережковского[1] в философском обществе. Синод апеллирует к прошлому, к тысячелетиям, лежащим назади... Мережковский прилагает мерку своей „декадентской" веры, родившейся вчера и завтра готовой переродиться бог еще знает во что. Тон Мережковского — приподнятый, напыщенный, крикливый.

„Толстой — смесь Акима (из „Власти Тьмы") и дяди Ерошки. Он сводит религию к тому, чтобы жить по правде, по любви, по разуму. Догмат этот ложен, из него нельзя вывести нравственных правил. Это дорога к религиозному опошлению... Барскую брезгливость к вере простого народа Толстой сочетал с изуверством (?)[2] санкюлотов. Разум добрая вещь, однако есть области, куда его можно пускать только подчищать и прислуживать, отворять и затворять двери, но нельзя ему, с его мещански - лакейским лицом давать в этих областях место барина. В „Братьях Карамазовых" благочестивый Григорий дал пощечину Смердякову. Славная пощечина! К мрази — будущего (?!) логически приводит механически - позитивное (?) бесстыдно - полезное

[1] Д. С. Мережковский (род. в 1862 г.) — поэт, критик, беллетрист.

[2] Здесь и далее знаки вопроса и восклицания, взятые в скобки принадлежат В. Г.

христианство Толстого. Природа отмщает за богохульство: Ницше она наказала безумием, Толстого сделала смешным — пошлостию его рассуждений[1]".

Много, конечно, можно сказать против „религии" Толстого, но этот взвизгивающий лай — истинное самоубийство. Интересно, что Мережковскому возражал — молодой священник Григорий Петров[2], говоривший на тему о том, что „есть два типа работников: одни не признают в принципе авторитета отцовской власти, но веления ее исполняют на деле, другие — внешне признают христианство, но на деле его не выполняют".

Достанется теперь, должно быть, бедняге.

Недавно я познакомился здесь с „толстовцами". Впечатление грусти и чего-то... все-таки „ненастоящего". Т. С. Д., — человек под 40, на вид — развитой крестьянин[3]. Его жена — бывшая, кажется модистка, остриженная и в городском платье[4]; девочка лет 15 — 16 Женя, приемыш. Маленькая, неуютная и тесная избушка, под горой, в Куликах. 3 дес. земли, лошадь, три коровы... На стенах надписи на бумаге, выведенные очевидно с большим старанием печатными буквами от руки: „Кто живет, не трудясь, тот кого-нибудь заставляет умирать с голоду" и другая: „Никто не может быть счастлив, пока на земле есть хоть один несчастный". В доме все неуютно, нехозяйственно, на дворике, под глинистыми обрывами, тесно и грязно. Когда, прижимаясь к стенкам или ступая

[1] См. „Северн. Край" 27 февр. 1901 г. (примеч. В. Г.).

[2] Г. С. Петров, известн. священник-публицист, позднее снявший с себя рясу.

[3] Неверно — бывший офицер? (позднейшее прим. В. Г.).

[4] Оказалась настоящим хорошим человеком. (Прим. В. Г.).

в глубокую грязь, мы подошли к тесному хлеву,— Д. с гордостью сказал: „У меня тут на немецкий лад". Я с удивлением взглянул на него. „Да вот,— указал он на потолок с отверстием в хлеву, где сложен корм. — Отсюда прямо кидаю, сверху"... Переписывается с Тверским (Дементьевым [1]) в Америке и мечтает о переселении к духоборам [2]. Жена — явно против.

— Вы поедете тоже? — спросил я у нее, случайно — когда Д. вышел из избы.

— Нет, я останусь! Не поеду.

— А вы, Женя, разве не хотите повидать Америку, уехать отсюда?

— Не хочу.

— Она,— где я буду. Она со мной,— сказала женщина, любовно кладя руку ей на плечо.

Предо мной как бы вскрылась маленькая драма этой крохотной избушки. Для чего — устраивать дом, для чего с любовью сажать кругом деревья,— если мечтаешь о том, чтобы сняться и опять ехать куда-то?..

Поздно вечером, по страшной весенней грязи я подымался на гору от Куликов, среди слякоти и тумана... Где то высоко в этом тумане неопределенными столбами расплывался свет из окон институтских зданий на горе... На душе у меня была какая то особенная печаль не то

[1] П. А. Дементьев, тверской помещик, переселившийся в Америку; корреспондировал (под псевдонимом Тверской) в „Вестн. Европы" и „Неделе". О встрече с ним В. Г. в 1893 г. на всемирной выставке в Чикаго см. „Дневник" т. II.

[2] Духоборы — русская религиозная секта; жестоко гонимые правительством духоборы переселились в 1898 — 1899 г. в количестве 7.400 человек в Канаду. Переселение это произошло при активном содействии Л. Н. Толстого, отдавшего на это дело весь гонорар за роман „Воскресенье".

от этой мглы и тяжелой грязной дороги, не то от этой „нежилой“ избушки с людьми, которые все только идут куда-то, плохо, кажется, видя, куда именно... Среди темноты слышалось журчание весенних ручьев, роющих себе новые дорожки в темной отмерзающей земле и тоже все бегущих куда-то к неведомой цели... В стороне какой-то говор. Где-то, невидимые, под обрывами ютятся избушки, где то тоже пробираются люди, о чем то говорят, вдумчиво, невнятно и тихо... Да — жизнь темный путь — с слабым мерцанием впереди...

№. Может быть, самое характерное тут — это стремление... не в Америку собственно, а к духоборам... Маленькая религиозная струйка из интеллигенции, слабая и бессильная — как ручеек стремится к морю сильной народной веры...

5 марта

Юбилей Суворина прошел очень торжественно: его „посетили“ министры (финансов, путей сообщения, земледелия), председатель сов. министров И. Н. Дурново, Саблер [1] даже Влад. Александрович [2]. Но литература и „образованное общество“ отсутствовали почти совершенно. Из литераторов не-сотрудников „Нов. Вр.“ называют газеты Д. Л. Мордовцева, А. А. Потехина, К. К. Случевского... Печать была представлена Проппером („Биржевые Ведомости“), „Русск. Листком“ (дрянная уличная газетка в Москве), „Виленский Вестник“ „Котлин“ „Кронштадт“, „Церковный Вестник“ и почему-то еще... „Невропатологический Вестник“... Отчет глухо упоминает о приветствиях „столичных и провинциальних газет“.— Николай Черногорский прислал орден Даниила...

[1] В. К. Саблер, в то время тов. обер-прокурора синода.

[2] Вел. князь — дядя Николая II.

По поводу своего юбилея Суворин заговорил о смерти,— это —„прекрасная женщина с синими глазами“, и о сатане, которого ругает ругательски.

„Сатана необыкновенный урод. Не то безобразная женщина, не то безобразный мужчина. Что то расплывчатое, туманное, полумертвое, полуживое... Сатана лукав и подл, и нагл, и труслив, и силен... Я сравнил его со смертью. Какая она прекрасная, спокойная, светлая в сравнении с этим негодяем, который всех нас держал в своих лапах и обнимал, и мы видели его прекрасным и обольстительным и целовали его и продавали свою душу“.

„Досталось чорту на орехи!“— замечает по этому поводу фельетонист одной провинциальной газеты [1]. Если бы сатана был такой уж скверный урод,— то мудрено было „видеть его прекрасным“. Ни то, ни другое. Сатана, которого „целовал“ Суворин явился ему просто в виде — публицистической деятельности „в сторону наименьшего сопротивления“. Был когда то либерален, приобрел значительную известность, но зато — закрыли или вернее отняли у него „С.-Петербургские Ведомости“. А вот, если с этой приобретенной уже известностью взять, по примеру Каткова [2], националистскую нотку, тогда можно сохранить популярность и избежать ударов. И Суворин отправился в Москву, на поклонение к Каткову. Ну, а там и пошло все остальное. Чехов рассказывал мне, что Суворин иной раз рвет на себе волосы, читая собственную газету [3].

Среди адресов Суворину есть один — характерный: от жен служащих и работающих в газете. Это, пожалуй,

[1] С. Д. Протопопов, в „Нижегор. Листке“ № 59. (Прим. В. Г.).

[2] М. М. Катков (1818 — 1887) известн. публицист, редакт. „Моск. Ведом.“, бывший либерал, постепенно передвинувшийся в лагерь реакционеров. Пользовался большим влиянием в те периоды, когда его взгляды совпадали с видами правительства.

[3] Свой взгляд на деятельность Суворина В. Г. изложил в заметке озаглавленной „Об одной старой книжке“, „Русск. Бог.“ 1913 г. № 8.

адрес самый искренний. Этот угол души у Суворина чист, здесь он стоит впереди всех издателей: служащие его и рабочие лучше обеспечены, лучше оплачиваются и видят доброе и внимательное отношение к себе. Жены их, матери их семей — ценят это и поэтому разумеется их чувствам поверить легко. Они, несомненно, искренни. Литературная сторона его деятельности давно уже опутана тиной... Но „предпринимательская“ — довольно чиста.

Одна знакомая пишет мне о самой демонстрации.

„Третьего дня (27 февраля) многие обыватели получили по почте литографированное приглашение „явиться 28 февр. в 2 ч. дня в Эртелев пер., чтобы достойно почтить юбилей газеты „Чего изволите?“ Что там было, — в точности не знаю, я застала уже обычную картину: демонстранты „загнаны“ в дом № 6 по М. Итальянской ул. На улице масса любопытных и такая же масса полиции. Вход в переулок загорожен шеренгой городовых и околодочных, один из которых весьма внушительно повернул меня за руку, когда я хотела войти в переулок“.

7 марта [1]

Во все газеты разослано телеграфным агентством следующее правительственное сообщение о беспорядках в разных городах: [2]

[1] Начиная датой 7-го марта продолжение дневника ведется в новой тетради такого-же формата, как и предшествующая. На первой странице рукою В. Г. сделана надпись „1901 год. (Начало XX-го столетия)“ и над нею проставлена пометка: „Заметки (для будущего)“. Описание рукописи № 4 см. в ст. от Ред. Комиссии.

[2] После этих строк на 7-ми стр. дневника наклеены газетные вырезки с правит. сообщением о демонстрациях, имевших место в Петербурге, Харькове и Москве в период с 19 февр. по 4 марта.

Частные сведения о беспорядках в Петербурге: [1]

„19 февр. была небольшая демонстрация около Казанского собора, которую полиция разогнала со своею обычной деликатностию. Отряды полицейских оттеснили собравшихся в узкий переулок около думы (причем в толпу попали несколько барынь, мирно делавших покупки в гостинном дворе), многих избили, многих сильно помяли, всех небольшими партиями препроводили в часть, там переписали и отпустили на все 4 стороны. В день юбилея „Нов. Вр.“ затевался „кошачий концерт“ в Эртелевом переулке, но он не состоялся: частию, благодаря мерам полиции, частию-же — сами инициаторы отказались, находя, что в столь серьезное время не стоит заниматься Суворинym. По городу стали ходить слухи, что на 4 марта предположена новая грандиозная демонстрация всех высших учебных заведений. Так много было толков о приготовлениях, какие делаются по этому поводу той и другой стороной, что люди, не желавшие делать никакой уличной демонстрации, сочли полезным пойти к месту действия, чтобы, если возможно, несколько удержать насилия, а если невозможно, то быть свидетелями происходящего. К числу этих людей принадлежал и Николай [2]. Он, вместе с несколькими знакомыми, пошел к Казанскому собору, и вот что он видел: громадная толпа студентов всех цветов и курсисток занимала оба крыла собора и окружающую местность. Когда наши подходили,— в этой толпе были подняты плакаты с надписью: „Отмена временных правил“, и кто-то что-то читал. По окончании чтения раздались одобрительные крики, и в эту секунду к собору с двух сторон двинулись отряды конных казаков и полицейских. Пешая полиция тоже начала действовать. В общей суматохе наших розлучили, Николай очутился между отрядом полиции и демонстрирующими, к которым невольно присоединялись совершенно посторонние из бывших перед этим у обедни в соборе и из прохожих. Говорят, что несколько студентов ударили напиравших полицейских палками, полиция отняла у них эти палки и била их палками и нагайками. Сцена была ужасающая. Коля и несколько человек, стоявших около него (между прочим член госуд. совета кн. Вяземский) уговаривали с одной стороны студентов успокоиться, с другой — полицейских начальников — прекра-

[1] Сведения эти заключались в письме к В. Г-чу А. Н. Анненской, жены Н. Ф. Анненского.

[2] Н. Ф. Анненский.

тить дикую расправу. На несколько минут им удавалось как будто успокоить окружающих, но затем бойня возобновлялась. В одну из таких минут якобы затишья несколько полицейских вдруг набросились на Колю, повалили его и побили. Он сам не знает, как ему удалось встать. Ушибов он не чувствовал, только глаз его был страшно подбит. Еще раньше он дал свою карточку полицейскому приставу и кн. Вяземскому, а тут обратился к Клейгельсу [1], стоявшему вблизи, и показал ему, как его чины обращаются с людьми, даже не принимавшими участия в беспорядках.—„Зачем же вы были здесь? Вам следовало уйти.“—„Мы не могли уйти спокойно, когда тут происходит такой карнаж“,—„Кто же это производит карнаж?“—„Да ваша полиция“. Генерала передернуло.—„По крайней мере теперь уходите“. Коля попытался сказать еще несколько успокоительных слов студентам, но вид его избитого лица производил такое возбуждение, что он поспешил, действительно, уйти.

„Из знакомых многие попали в толпу, которую по частям уводили под арест. Между прочим арестованы: Струве [2], Мих. Ив. Туган-Барановский [3], Агафонов [4]. Студентов, курсисток забрали множество. Все рассажены по разным частям, около которых до поздней ночи стояли казаки и толпы.

„То, что видел Коля, было далеко не самое ужасное. Самое сильное побоище происходило около собора. В то время, как конные теснили с двух сторон толпу, убеждая ее разойтись, полицейские набрасывались на отдельных лиц, сбрасывали их с парапета и били нагайками по чем попало. Одного забили почти на глазах Н. А. Струве, попавшей в толпу. 5 трупов внесли в Казанский собор и оставили там до ночи под охраной казаков, окружавших весь день собор [5].

„Можете представить, какое впечатление произвело на общество все это событие. Лица, чуждые всяким политическим идеям, и те возмущаются. Писатели, бывшие свидетелями происходившего или видевшие пострадавших, собрались в тот же вечер и составили протест против

[1] Н. В. Клейгельс, петербургский градоначальник.

[2] П. Б. Струве.

[3] М. И. Туган-Барановский (1865—1919), экономист и публицист.

[4] В. К. Агафонов—минеролог и писатель, сотрудник „Мира Божьего“.

[5] Впоследствии в новом письме самого Анненского эти подробности смягчаются: убитых „на месте“ кажется не было, тяжело раненых — много. (Примеч. В. Г.).

случившегося за подписью 40 человек. Попытка напечатать протест в газетах, конечно, не удалась, но они намерены придать ему широкое распространение . . .“

Среди подписей являются имена: П. И. Вейнберга [1], Мамина - Сибиряка [2], Летковой - Султановой [3], — людей, нимало не причастных до сих пор к какой - бы то ни было „неблагонадежности“.

11 марта

Предчувствия в обществе относительно возникновения нового террора сбываются полнее, чем можно было ожидать. Сегодня новое известие в телеграммах.

Петербург, 10 - го марта. В ночь с 8 - го на 9 - е марта прибывший из города Самары сын тит. сов. Николай Константинов Лиговский, служащий статистиком в самарской губернской земской управе, подойдя к дому обер - прокурора святейшего синода, на Литейном проспекте, к освещенным в нижнем этаже окнам кабинета, в котором в это время занимался действ. тайн. сов. Победоносцев, произвел по направлению к письменному столу два выстрела, затем еще один выстрел в окно швейцарской, а четвертый выстрел дал осечку. К счастию, пули, направленные злоумышленником, ударили в потолок. Следствие производится судебным следователем по особо важным делам Кузьминым под наблюдением прокурора петербургской судебной палаты Максимовича.

Если я не ошибаюсь, то этого Лаговского (а не Лиговского) я немного знаю. В Нижнем был чиновник (секретарь полиц. правления), Константин Лаговский, умерший еще в 80 годах (в конце). У него была дочь (Лидия) и два сына. Девушка осталась главой семьи и кое как воспитывала двух малолетних братьев. В ней самой были легкие

[1] П. И. Вейнберг (1831 — 1908), известн. поэт - переводчик.
[2] Д. Н. Мамин - Сибиряк (1852 — 1912), — беллетрист.
[3] Е. Н. Леткова - Султанова (род. 1865 г.) — беллетристка.

признаки некоторой неуравновешенности и, пожалуй, психопатии. Мальчики были ужасные сорванцы и, помню, о них заговорили в Нижнем, когда один стрелой из лука выбил глаз мальчику соседей. Они не учились, и справляться с ними бедной девушке было очень трудно. Тем не менее она героически справлялась с задачей и потом говорили, что подростки эти угомонились. Помнится, один из них поступил именно в Самару. Покушение напоминает ненормального человека: квартира Победоносцева — не вровень с тротуаром, окна значительно приподняты, и стрелять приходилось очевидно, наудачу, что видно из сообщения: 2 пули попали в потолок, третью зачем-то он пустил в швейцарскую...

Это указывает, однако, на глубокое, стихийное волнение в известных сферах... Один едет из Берлина, другой из Самары... Можно думать, что толчек сдавленного общественного настроения теперь, пожалуй, будет сильнее чем в 70-х — 80-х годах...

13 марта

Вчера разнесся слух, будто третьего дня (11-го) произошло новое покушение: в Сипягина стреляли на улице. Последовал промах, убит проходивший мимо мальчик-разнощик... Слух ходил на основании, будто-бы, полученной кем-то телеграммы. Сегодня в газете этой телеграммы нет... Может быть, известие неверно, а может быть решено об этих событиях в газетах не сообщать... Может быть, эта несчастная сторонняя жертва (если известие верно) — подействовала бы несколько сдерживающим образом на эти стремительные террористические чувства...

Отовсюду несутся слухи о жертвах петерб. погрома. Отцы и матери стремятся в Петербург... Недавно я был

в одном доме. При мне вошла оживленная и радостная молодая девушка, знакомая хозяев: — Надя не ранена, — сказала она, войдя,— а у Дуни только слегка помято плечо... — „Ну, слава Богу," — сказала хозяйка. Эти разговоры теперь в десятках тысяч русских семейств, часто совершенно благонамеренных... Сегодня, на улице в Полтаве я видел группу из трех собеседников: офицер и двое штатских. Очи говорили очень горячо о тех-же событиях: — „А вот Трипольского"... — сказал офицер и смолк, видя подходящего незнакомого человека.

Трипольский — преподаватель полт. семинарии. 4-го или 5-го он получил две телеграммы: в первой — „случилось большое несчастье, приезжайте", — во второй: „все кончено". Молва тотчас связала это с погромом, так как сын Трипольского студент. Отец поехал тотчас же в Петербург. Теперь говорят, будто Трипольский просто застрелился, но этому верят плохо...

Одна моя знакомая, проходя вчера вечером по улице, слышала разговор извозчиков: — „А кажуть, что к студентам уже пристали и наши, рабочие". Это — тоже явление новое. Неизвестно — непосредственное-ли это известие (напр. из Харькова, где на фабриках могли бы быть родственники говорившего), или отголосок газетных сообщений „о разночинцах", — во всяком случае почва для этого несомненно уже подготовлена: сотни рабочих разосланы административно по городам (десятка $1^1/_2$ есть и здесь). Два года назад петерб. полиция произвела жестокий погром на фабрике Паля, ворвавшись ночью в казармы. Дело это слушалось в Петербурге при закрытых дверях и председатель (не помню теперь фамилии этого господина) не пустил в зал даже „родных и знакомых" подсудимых (я был записан и не попал тоже). А между тем сотни избитых и рассылаемых рабочих

разносили известие и о погроме и о пристрастии суда — по всем концам России!.. Теперь, несомненно, есть уже почва для сочувственного отклика со стороны избиваемых рабочих по адресу избиваемых той-же полицией студентов...

Даже профессора говорят о „злоумышленниках“ и их интригах, в то время, когда чисто бытовые явления действуют с такой шириной захвата, которая не под силу никаким „злоумышленникам“...

14 марта

Телеграмма из Петербурга от 13 марта:

„На основании 21 части статьи 42 Устава Союза взаимопомощи русских писателей, при Русск. Литерат. Обществе, петербургским градоначальником сделано распоряжение о закрытии этого союза“.[1]

От Н. К. Михайловского получил сегодня же короткое письмо: „У нас тут такое деется, что и сказать трудно. Я и статьи очередной писать не могу“.

Вчера в газетах известие: „Юрьевский университет тоже закрыт“.

15 марта

Если-бы судить теперь по русским газетам, то можно бы подумать, что в России все замечательно спокойно, и никаких волнующих общество событий нет. С'езд по народному образованию в Москве, прямо уже и исходящий из положения, что в народном образовании у нас в главном — все благополучно, спектакли, гастроли г-жи

[1] „Союз писателей“ протестовал против избиения 4 марта на Казанской площади; им подано было заявление на имя мин. вн. дел о необходимости произвести судебное расследование об избиении и отменить „временные правила“.

Яворской на юге (недавно ее превозносили нововременцы и агентство, теперь — газеты с марксистскими сотрудниками: „Южн. Об." прямо называет ее великой артисткой и сравнивает с Репиным[1] в искусстве (13 марта), — кое-где крушение... „Убит кондуктор... убит машинист"... В Петербурге „12 марта выпал снег, 4° мороза"... Г. Демчинский рекомендует тушить пожары нашатырным спиртом... Только правительственные сообщения и циркуляры нарушают это благополучие: „Ген.-майор Крылов назначен на пост петерб. коменданта"... „В „Правит. Вестнике" опубликован циркуляр мин. вн. дел по департаменту полиции губернаторам, градоначальникам и обер-полициймейстерам, заключающий указания относительно мер к предупреждению и прекращению уличных беспорядков и восстановлению нарушенного порядка" (тел. 13 марта). Ну, еще закрыт союз писателей... Но „русское общественное мнение изумительно равнодушно к этим фактам", — сказал бы иностранец: в газетах о них, кроме сухих (да и то обязательных!) офиц. сообщений — ни словечка!

Впрочем „Моск. Вед." полагают, что студенческие беспорядки прекратятся, если все учебные заведения сосредоточить в одном ведомстве: министерства нар. просвещения!

19 марта

На днях сообщалось в газетах, что все министры и Победоносцев ездили в Царское Село. Очевидно было важное совещание. По слухам решено прибегнуть к всесторонней реакции (обычное средство и в мирное, и в тревожное время). Можно думать, что это правда. Вслед

[1] Илья Еф. Репин (род. 1844 г.), знаменитый художник.

за этим телеграммы разнесли известие о „циркуляре министра вн. дел по деп. полиции“ (от 12 марта 1901, № 1230) „гг. губернаторам, градоначальникам и обер-полицмейстерам“. Начинается он с того, что во время минувших беспорядков „распоряжения полиции едва-ли могут быть признаны вполне отвечающими требованиям... быстроты и решительности“... „Равным образом“ министр не может „не отметить и некоторую медлительность властей в соответственном применении имевшихся уже в их распоряжении, по вызове полиц. наряда и войск, достаточных к подавлению беспорядков, средств“ (что за ужасный язык!).

Для предупреждения этой слабости на будущее время министр преподает „руководящие соображения“. Они касаются 1) предупреждения возникновения беспорядка, 2) прекращения возникшего беспорядка и 3) восстановления порядка, уже нарушенного.

По первому пункту рекомендуется конечно тщательное наблюдение (на практике это поведет к усилению сыска).

По второму — быстрота и решительность. Необходимо рассеивать толпу и любопытных, „придавая распоряжениям в высшей степени (!) энергичный характер“... „В этот момент чины полиции должны быть проникнуты одною лишь целью: достигнуть быстрого восстановления порядка во-что-бы то ни-стало (!!) и принимать все надлежащие к тому способы, не останавливаясь перед необходимостью действовать строгостию и силой“... Интересно, что циркуляр отдает некоторую долю внимания инциденту с Анненским и кн. Вяземским. „В распоряжения полиции, — говорится в этом любопытном документе, — не должно быть допускаемо вмешательство, в какой-бы

то ни было форме, — лиц посторонних, не взирая на их положение, чин или звание. Появление подобных лиц должно немедленно повлечь за собой их задержание".

Только по 3-му пункту является, наконец, разумное слово. „По подавлении возникшего беспорядка... действия полиции должны немедленно принять вполне спокойный и нормальный характер. Чины полиции должны постоянно помнить, что им по закону не предоставлено карательной власти"... „Поэтому старшие чины полиции на месте действия должны обращать особое внимание на то, чтобы подчиненные им младшие чины при задержании замеченных в беспорядке лиц, препровождении их в места заключения, восстановлении приостановленного движения на улицах и т. п. — всегда соблюдали должное спокойствие, отнюдь не дозволяя себе действий, не вызываемых более необходимостию"...

Циркуляр перечисляет случаи недостаточной „быстроты", без указания на места и лиц. Сюда, однако, несомненно попали беспорядки харьковские и московские. По общим отзывам, в Москве полиция держала себя очень прилично, и толпа собралась и разошлась сравнительно мирно. Тоже, говорят, было в Киеве. Теперь эти случаи умеренности поставлены в вину, и безобразия петерб. полиции, возмутившие общество, — ставятся в образец. Отныне, несомнено, подавление самых невинных (на европейский взгляд) манифестаций — будет приравнено к усмирению открытого бунта, и с родителями, которых привлечет опасение за детей — будут поступать, как с мятежниками...

В том же № „Полтавских Губ. Ведомостей", откуда я заимствую текст циркуляра (№ 61 от 17 марта) помещена следующая многозначительная телеграмма:

С.-Петербург, 16 марта. Государь Император об'являет строгий выговор члену государственного совета ген.-лейт. князю Вяземскому за вмешательство в действия полиции при прекращении уличных беспорядков.

На днях в „России“ помещена была статья об Александре I. В ней, между прочим, приводится горячее письмо к Александру одного из профессоров в период гонения на университеты во время Рунича и Магницкого [1]. Старый друг Александра, Паррот [2], „умолял его открыть глаза, взглянуть на печальное положение народного образования, которое скрывают от него, умолял разорвать туман которым окутывают его благородную, рыцарскую душу“. Доведенный до отчаяния подвигами Магницкого, старый профессор взывал к великодушию царя и умолял его не губить молодежи. „Человек простит всякую неправду, даже жестокость против него самого, но отец никогда не простит зла, сделанного его сыну. Поверьте старому школьному учителю, который знает молодежь 40 лет“ [3].

2 апр. 1901

В двадцатых числах марта во всех русских газетах была напечатана переписка графини С. А. Толстой с митрополитом Антонием по поводу пресловутого „отлучения“ Л. Н. Толстого.

[1] Рунич и Магницкий — известные обскуранты — гонители просвещения. Первый был попечителем Петербургского округа, второй — Казанского.

[2] Паррот — ученый физик, состоял ректором Дерптского унив-та.

[3] Цитирую из „Сев. Края“ 16 марта 1901 г. (Прим. В. Г.).

Письмо графини С. А. Толстой митрополиту Антонию.

Ваше Высокопреосвященство!

Прочитав вчера в газетах жестокое распоряжение Синода об отлучении от Церкви мужа моего графа Льва Николаевича Толстого и увидав в числе подписей пастырей Церкви и вашу подпись, я не могла остаться к этому вполне равнодушною. Горестному негодованию моему нет пределов. И не с точки зрения того, что от этой бумаги погибнет духовно муж мой. Это не дело людей, а дело Божье. Жизнь души человеческой, с религиозной точки зрения, никому кроме Бога, неведома и, к счастию, не подвластна. Но с точки зрения той Церкви, к которой я принадлежу и от которой никогда не отступлю, которая создана Христом для благословения Именем Божиим всех значительнейших моментов человеческой жизни: рождений, браков, смертей, горестей и радостей людских..., которая громко должна провозглашать закон любви, всепрощения, любовь к врагам, к ненавидящим нас, молиться за всех. С этой точки зрения для меня непостижимо распоряжение Синода. Оно вызовет не сочувствие (разве только Московских Ведомостей), а негодование в людях и большую любовь и сочувствие к Льву Николаевичу. Уже мы получаем такие из'явления, и им не будет конца, от всего мира. Не могу не упомянуть еще о горе, испытанном мною, от той бессмыслицы, о которой я слышала раньше, а именно о секретном распоряжении Синода священникам не отпевать в церкви Льва Николаевича в случае его смерти. Кого же хотят наказывать? Умершего, не чувствующего уже ничего человека, или окружающих его верующих и близких ему людей? Если это угроза, то кому и чему? Неужели для того, чтобы отпевать моего мужа и молиться за него в церкви, я не найду или такого порядочного человека, который не побоится людей перед настоящим Богом любви, или не порядочного, которого я подкуплю большими деньгами для этой цели? Но мне это и не нужно. Для меня Церковь есть понятие отвлеченное, и служителями ее я признаю только тех, кто истинно понимает значение Церкви. Если же признать Церковью людей, дерзающих своею злобой Христа, то давно бы все мы истинно-верующие и посещающие Церковь, ушли бы от нее. И виновны в грешных отступлениях от Церкви не заблудившиеся люди, а те, которые гордо признали себя во главе ее и, вместо любви, смирения и всепрощения стали духовными палачами тех, кого вернее простит Бог за их смиренную, полную

отречения от земных благ, любви и помощи людям жизнь, хотя и вне Церкви, чем носящих бриллиантовые митры и звезды, но карающих и отлучающих от Церкви пастырей ее. Опровергнуть мои слова лицемерными доводами легко, но глубокое понимание истины и настоящих намерений людей никого не обманет.

Гр. София Толстая.

26 февраля 1901 г.

Ответ митрополита Антония

Милостивая государыня, София Андреевна. Не то жестоко, что сделал Синод, об'явив об отпадении от Церкви Вашего мужа, а жестоко то, что сам он с собой сделал, отрекшись от веры в Иисуса Христа, Сына Бога Живаго, Искупителя и Спасителя нашего. На это - то отречение и следовало давно излиться Вашему горестному негодованию, и не от клочка, конечно, печатной бумаги гибнет муж Ваш, а от того, что отвратился от источника жизни вечной.

Для христианина немыслима жизнь без Христа, по словам Которого, верующий в Него имеет жизнь вечную и переходит от смерти к жизни, а неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем (Иоан. III, 15, 16, 36, V, 24). И потому об отрекающихся от Христа одно только и можно сказать, что он перешел от жизни к смерти. В этом и состоит гибель Вашего мужа, но в этой гибели повинен только он сам один, а не кто - либо другой.

Из верующих в Христа состоит Церковь, к которой Вы себя считаете принадлежащею и для верующих, для членов своих, Церковь эта благословляет Именем Божиим все значительнейшие моменты человеческой жизни: рождения, браки, смерти, горести и радости людские, но никогда не делает она этого и не может делать для неверующих, для язычников, для хулящих Имя Божие, для отрекшихся и нежелающих получать от нее ни молитв, ни благословий, вообще для всех тех, которые не суть члены ее. И потому, с точки зрения этой Церкви, распоряжение Синода вполне постижимо, понятно и ясно, как Божий день. И закон любви и всепрощения этим ничуть не нарушен. Любовь Божия бесконечна, но и она прощает не всех и не за все. Хула на Духа Святого не прощается ни в сей ни в будущей жизни (Матф., XII, 32). Господне всепрощение ищет человека своею любовью, но человек иногда не хочет идти на встречу этой любви и бежит от Лица Бога, а потому и погибает. Христос молился на кресте за врагов своих, но и Он в своей

первосвященнической молитве, изрек горькое для любви Его слово, что погиб сын погибельный (Иоан., XVII, 12).

О Вашем муже, пока жив он, нельзя еще сказать, что он погиб, но совершенная правда сказана о нем, что он от Церкви отпал и не состоит ее членом, пока не покается и не воссоединится с нею. В своем послании, говоря об этом, синод засвидетельствовал лишь существующий факт, и потому негодовать на него могут только те, которые не разумеют, что творят. Вы получаете выражения сочувствия от всего мира; не удивляюсь сему, но думаю, что утешаться тут Вам нечем; есть слава человеческая и есть слава Божия.

Слава человеческая как цвет на траве: засохла трава и цвет ее опал. Но слава Господня пребывает во век (I Петр, I, 24, 25).

Когда в прошлом году газеты разнесли весть о болезни графа, то для священнослужителей во всей силе встал вопрос: следует-ли его, отпавшего от веры и церкви, удостоивать христианского погребения и молитв? Последовали обращения к Синоду, и он в руководство священнослужителям секретно дал и мог дать только один ответ: не следует, если умрет, не восстановив своего общения с церковью. Никому тут никакой угрозы нет, и иного ответа быть не могло, и я не думаю, чтобы нашелся какой-нибудь даже не порядочный священник, который решился бы совершить над графом христианское погребение, а если бы и совершил, то такое погребение над неверующим было бы преступной профанацией священного обряда. Да и зачем творить насилие над мужем Вашим? Ведь без сомнения, он сам не желает совершения над ним христианского погребения? Раз Вы, живой человек, хотите считать себя членом церкви, и она действительно есть союз живых и разумных существ во имя Бога живого, то уж падает само собою Ваше заявление, что церковь для вас есть понятие отвлеченное, и напрасно вы упрекаете служителей церкви в злобе и нарушении высшего закона любви, Христом заповеданной. В синодальнем акте нарушения этого закона нет; это напротив есть акт любви, акт призыва мужа Вашего к возврату в церковь и верующих — к молитве о нем; пастырей церкви поставляет Господь, а не сами они гордо, как вы говорите, признали себя во главе ее; носят они бриллиантовые митры и звезды, но это в их служении совсем не существенное; оставались они пастырями, одеваясь и в рубище, гонимые и преследуемые — останутся таковыми и всегда, хотя бы и в рубище пришлось им опять одеться, как бы их не хулили и какими бы презрительными словами не обзывали.

В заключение прошу прощения, что не сразу Вам ответил. Я ожидал, пока пройдет первый острый порыв Вашего огорчения. Благослови Вас Господь и храни, и графа, мужа Вашего, помилуй.

Антоний митрополит Петербургский.

Марта, 16 дня 1901 года.

Я только три дня назад вернулся из поездки в Новороссийск[1]. Всюду по дороге и в вагонах — толки об этой переписке. О письме графини отзываются различно; многие находят, что ей не следовало говорить о предстоящих похоронах мужа и о том, как она ухитрится их устроить. Возражают и против других ее выражений. Мне кажется, однако, что все недостатки придают особый букет и, пожалуй, даже некоторую прелесть этому чисто женскому письму. Графиня—просто рассерженная, возмущенная женщина, в первом же порыве накинувшаяся на синод, не обдумывая выражений и чисто побабьи изливая свое непосредственное чувство. Антоний отвечает умно и последовательно, но история русской церкви должна будет занести в своей летописи весь этот бесподобный эпизод, в котором святейший синод, в лице Антония, вступал в публичные пререкания с рассердившеюся „жёнкою".

Много тут также со стороны „российской церкви" непоследовательности и лицемерия. Толстого „отлучают" и „молятся за него", с его женой вступают в печатную полемику. Какая кротость! И это в то самое время, как тысячи простецов, осмеливающихся читать и толковать по своему, с полным благоговением, евангелие, — подвергаются самым фанатическим преследованиям и мучительствам, а у молокан еще три года назад — отнимали детей и отдавали в монастыри...

[1] В. Г. ездил в Новороссийск (с 21-го по 30-е марта) по делам брата Илар. Г-ча, купившего в Джанхоте, близ Новороссийска участок земли.

К голосу синода присоединяются теперь еще и другие голоса. Харьковский епископ Амвросий произнес тоже проповедь против Толстого, грубую и наивно изуверскую, в которой „непротивление злу“ истолковывается как поощрение цареубийства! Цареубийство — зло. Значит проповедующий непротивление злу — вместе с тем рекомендует не противиться и убийству царя[1]. При этом сей вития изображает свою проповедь, как подвиг. Он знает, что у Толстого много приверженцев даже в высоких сферах, но желает сказать истину, хотя она для него лично и опасна (!).

Среди этой грозы и отчасти этого шутовства Толстой вырастает в какого-то гиганта, спокойно взирающего на мятущихся иереев. Графиня права, когда говорит о сочувствии общества. И что удивительно — это сочувствие получает даже публичное проявление. В конце передвижной выставки в Петербурге — публика произвела сочувственную демонстрацию: портрет Толстого (работы Репина) был засыпан привезенными публикой цветами. Киевляне послали Толстому адрес с выражением любви и удивления „величайшему и благороднейшему писателю нашего времени“. Адрес собрал больше 1000 подписей. Такие же адреса посылаются из других городов и, что уже совсем необычно, — об этом напечатано в столичных газетах

[1] „По смыслу этой заповеди пусть христианин, понимающий зло по закону Христову, или даже язычник — по естественной совести, не противится ему. Если он узнает замысел против жизни Царя, он не должен ему противодействовать — это освобождение мира от тираний (анархизм); если он узнает о забастовках, об ограблении богатых людей, — пусть этому не мешает, это справедливое восстание против капиталистов, отнимающих и присвояющих себе достояние бедных, на которое они имеют равные с богатыми права (социализм)“. Из „Сев. Края“, 4 апр. 1901, № 86. (Прим. В. Г.).

и перепечатано во множестве провинциальных. Хотя и не совсем прямо, но это — русское общество отвечает на отлучение. И едва-ли можно сомневаться, что в другом лагере это уже ставится на счет и, пожалуй, обдумываются меры посягательства на совесть русского „свободомыслящего“ среднего круга...

В вагоне, в котором я ехал из Новороссийска, шла беседа об отлучении и сопровождавших его обстоятельствах. Большинство было на стороне Толстого (я ехал во II кл.), только какой то господин (повидимому торговец горожанин, в немецком платье) и его жена хранили молчание, явно несочувственное большинству. Через некоторое время он вынул из корзинки курицу и кусок сыра. Продолжая разговор я нарочно коснулся вопроса о том, что считается еще и тепер достаточным поводом для отлучения (эту справку тоже приводили газеты). — Между прочим, — сказал я, — вот и это...

— То есть что?

— Да вот то, что вы, да и я тоже, употребляем мясное в великий пост. Это прямо поименовано в канонических правилах. А в старину была еще одна причина: если кто не ходил в баню по субботам...

— А ведь я — верующий человек! — в некотором раздумьи произнес торговец.

В том то и дело, что верующий. И много есть верующих... Верующий в городе — свободно ест курицу на страстной, а верующий в деревне сейчас же за это будет притянут к попу и уряднику. Все рассуждения Антония очень правильны: кто не разделяет основных мнений данного религиозного сообщества, тот из него выходит... Но вот в том то и дело, что из „православной церкви“ — нет свободного выхода. За этот выход грозит преследование и даже каторга. За Толстого синод кротко молится,

а штундистов ссылают, сажают в тюрьмы и избивают по прямому наущению изуверных миссионеров!

25 марта обнародован высочайший рескрипт генерал-ад'ютанту Ванновскому:

„Петр Семенович! Правильное устройство народного образования составляло всегда одну из главных забот Русских Государей, твердо, но постепенно стремившихся к его усовершенствованию в соответствии с основными началами русской жизни и потребностями времени. Опыт последних лет указал однако на столь существенные недостатки нашего учебного строя, что я признаю благовременным безотлагательно приступить к коренному его пересмотру и исправлению. Высоко ценя Вашу государственную опытность и просвещенный ум, Я избрал Вас в сотрудники себе в деле обновления и устройства русской школы и, призывая Вас на особо важную ныне должность — министра народного просвещения, твердо уверен, что Вы строго и неуклонно будете идти к намеченной мною цели в деле воспитания русского юношества и внесете умудренный опытом разум и сердечное о нем попечение. Да благословит Господь наши труды, да помогут нам в них родители и семьи, ближайшим образом обязанные пещись о своих детях, и тогда скоро наступит время, когда я и со мной весь народ будем с гордостью и утешением видеть в молодом поколении твердую и верную надежду отечества и стойкую опору его в будущем". На подлинном написано: „Искренно уважающий Вас Николай".

Таким образом — бывший военный министр, игрой иронических судеб российского прогресса — оказывается во главе русского просвещения!.. И эта мера вовсе не реакционная, а, пожалуй, вызванная благодушием и даже, пожалуй, знаменующая уступчивость: Ванновский два года назад заступался за студентов и обвинял „начальство". И теперь его призывают применить это благодушие к неимоверно расколыхавшейся под влиянием строгостей массе учащейся молодежи. Так это и толкуют газеты,

обращающие внимание также на признание в рескрипте необходимости „коренного преобразования“ учебной системы...

Что из этого выйдет? Конечно, ничего. Волнения на время могут стихнуть, но для излечения глубоких недугов благодушия мало. Обыкновенная российская история: благодушный человек, знающий только корпуса, пойдет мудрить по военному над университетами. Начнутся новые истории и тогда — еще большее озлобление против молодежи: „Как, и меня, благодушного, не слушаются. Ну, тогда значит — одно, меры строгости“. И благодушие сменяется новой жестокостью...

Вернувшись из поездки, я застал у себя Мих. Ив. Туган-Барановского, одного из первых главарей русского марксизма. Он потерял жену (чудесный была человек[1]) и тепер выслан из Петербурга, после ареста 4 марта. От первоначального цельного марксистско-материалистического настроения у него осталось теперь очень мало. Говорит о необходимости мистического начала в общественном настроении, преклоняется перед Кантовским „идеализмом“, очень нерешительно высказывается о спиритизме... „Нет достаточных оснований отрицать реальность этих явлений“. Это очень характерный оборот: одни говорят: нет оснований признавать, так как явление не может представить в свою пользу ничего, кроме легковерия и шарлатанства. Другие — нет оснований отрицать, пока не доказано, что все только легковерие и шарлатанство. Два полюса умственных настроений... В лице Струве

[1] Речь идет о первой жене Т.-Барановского, Л. К. Давыдовой, (дочери Ал. Арк. Давыдовой, издательницы журнала „Мир Божий“).

и Туган-Барановского, двух признанных вожаков русского марксизма,— последний совершил удивительно быстрый поворот от уверенного и самодовольного материализма к несколько туманному идеализму и даже мистике... „Экономические причины“ этому найти нелегко, но сложных социальных немало; об'ективные процессы и законы обманули ожидание искренних душ,— и они обращаются к другому, в том числе к крайнему суб'ективизму.

— Никакой истории с ее законами нет,— говорил мне Туган-Барановский еще сегодня.— Все дело в стремлении отдельных людей, в искании добра и истины...

В дальнейших разговорах он преклоняется перед философией Зосимы (из „Карамазовых“), говорит о справедливости христианской вечной казни за грехи мгновенной жизни... И это „справедливо потому, что земная жизнь есть единственный активный период. Кто не воспользовался ею для блага и злоупотребил своей „свободной волей“, тот уже вечно не вернет возможности исправить это“... Одним словом, метафизическая софистика византийской диалектики Достоевского. Надо думать, что все это временно, но все таки... как не прочны российские настроения!

Чрезвычайно любопытная черта. Сотрудник „Петерб. Газеты“ получил от лица духовного ведомства (прот. Ф. Н. Орнатского) раз'яснение причин опубликования письма графини Толстой. Причины эти в том, что „письмо графини стало очень широко распространяться в публике“.

— Вы говорите о появлении его в заграничных газетах и рукописных переводах, циркулировавших по рукам?

— Нет, это не было бы еще таким широким распространением. Распространялись еще до появления в заграничной печати гектографические копии и не перевода, а подлинника письма, т. е. черновика его, и распространялись в огромном количестве экземпляров. Один экземпляр такой копии был получен у нас в экспедиции заготовления государственных бумаг. С ним я и поехал к его высокопреосвященству.

Владыка сверил копию письма с подлинником — она оказалась тождественной.

Тогда-то и решено было, в виде противодействия распространению одностороннего мнения обнародовать, как письмо графини, так и ответ владыки.[1]

Интересно, что сначала оба документа были изготовлены на гектографе и раздавались в синоде, а затем уже решено было напечатать их в прибавлении к „Церковным Ведомостям".

Таким образом это сначала была война гектографов — синодального с „нелегальными", война так сказать подспудная... И „частные", партикулярные гектографы вытащили всю переписку синода с дамой на столбцы печати!

6 апреля

Один господин показывал мне несколько „листков" подпольного характера. В этом отношении против 70-х—80-х годов несомненный прогресс. Листки печатаются изрядно и их уже невозможно прекратить. По содержанию — в них меньше „программ", очень много корреспонденций с места, главным образом с разных фабрик и заводов. Общее настроение — марксистское и притом ортодоксальное. Недавние вожаки марксизма Струве и Туган-Барановский уже отрицаются, как отступившие от „правоверия". В одном из листков рассказывается о смерти в больнице одного из бывших ссыльных и его якобы предсмертные

[1] Всё набранное петитом представляет собою выписку и вырезку из газеты.

слова: „С Тугана-Барановского и других представителей легального марксизма надо сорвать маску". Редакция от себя прибавляет, что „на жизненной сцене" маски часто носятся искренно!.. В другом подобном-же органе сообщается о том, что после беспорядков на фабрике Максвелля одного из судившихся рабочих защищал Струве, который при этом выразил мнение „о дозволительности рабочим подавать прошения на высоч. имя о помиловании". Какое-то, конечно, мифическое (случайно я знаю это достоверно) „собрание рабочих" одного города, обсудив этот инцидент, — резко осуждает поведение Струве и просит впредь „представителей радикальной интеллигенции" „не навязывать рабочим своих низменных представлений об отношении к царской власти"... Надо заметить, что Струве ничего именно не навязывал, а считал только, что защитник не в праве скрыть от клиента этот путь к облегчению своей участи. Под этим осуждением слышится, наоборот, гнев за то, что Струве „не навязывал" рабочему противуположного взгляда... Вообще в этих органах все еще слишком много узко-кружкового: разные мелкие фракции „интеллигенции" все еще сводят свои узко-сектантские счеты. Недавно также была статейка: „К позорному столбу!" — где к „позорному столбу" пригвождался Арабажин, за то, что струсив однажды, когда полиция переписывала присутствовавших на одном реферате в квартире Стасовых, — назвался не своей фамилией, а фамилией Осокина, своего приятеля и сотрудника „Сев. Курьера". Хотя Осокин заявил, что это с его согласия и повидимому этим должно бы все кончиться, — инцидент многих волновал в Петербурге и наконец попал на страницы нелегальной печати в то время когда злополучный pauvre diable Арабажин арестован и сидит в доме предварительного заключения.

Вообще нелегальная печать расширяется, но не растет в смысле возвышенности и глубины. Много мути.

Между прочим кто-то прислал мне новое нелегальное издание моего рассказа „Чудная“ [1], уже кажется, в России. Издано на этот раз без фамилии (в Лондоне было с фамилией) и вместо моих трех строчек в конце — неизвестный переделыватель сляпал свой конец, чтобы упомянуть о „стонах погибших братий“...

Интересно также, что масса корреспонденций и обличений, питающих нелегальную прессу, — в сущности должна-бы составить материал для легальной печати. Но у нас это — „опасно“.

13 апреля 1901

В газетах появилось известие, что на 8 апр. в петерб. университете об'явлена „разрешенная“ сходка. Теперь мне пишет Н. Фед. Анненский о результатах этой сходки: „Большинством 1561 против 228 принята такая (приблизительно, — точных слов не знаю, но смысл передаю верно) резолюция: „Доверяя благим намерениям правительства и не желая мешать предпринятой реформе, — студенты спб. университета просят, для устранения могущих быть осложнений, не продолжать учебных занятий и отложить экзамены на осень, когда они надеются экзаменоваться вместе с отсутствующими теперь товарищами“. Резолюция передана ректору. Что будет дальше, неизвестно наверное, так как, говорят,

[1] Первое нелегальное издание рассказа „Чудная“ появилось за границей, в Лондоне, в 1893 г. В русской легальной прессе этот рассказ был напечатан впервые, под заглавием „Командировка“, только в 1905 г. („Русск. Бог.“ № 9). В Нивское изд собр. соч. рассказ этот вошел под своим первым заглавием („Чудная“). См. т. X наст. изд.

Ванновский стоит за экзамены и может заупрямиться". „Сам-же он требует доверия, но ничего категорически не обещает".

Интересное, все таки, постановление сходки: в первый раз в России „вотировано доверие, правительству" в публичном собрании, и это — на студенческой сходке! И это под почтительно, но твердо поставленным условием...

То-же решено на бестужевских курсах. В технологическом еще не пришли ни к какому выводу, горный институт и... электро-техники решили не экземеноваться. Сходки идут во всех заведениях.

14 апр.

Новое письмо: Ванновский не признал законной сходку и ее решения; экзамены будут назначены в свое время. Впрочем, говорят, обе стороны настроены миролюбиво: на новой сходке студенты (общее число было меньше) постановили большинством — не экзаменоваться, но и „обструкции не производить", т. е. не мешать экзаменоваться желающим. Вероятно и начальство пойдет на компромиссы.

Ванновский очевидно надеялся все исцелить одними магическими словами: „сердечное попечение". Он отдает приказы, коими предписывается „сердечное попечение" всем служащим по мин. нар. просвещения и произносит такие же речи. „Сердечное попечение, — говорил он, знакомясь с чинами своего министерства, — существовало всегда, но так как во всяком деле бывают ошибки, — оно подавлялось нередко формальным отношением к делу воспитания". Если-бы Ванновский был классик, то он вероятно начал бы эту речь так: „уже древние знали сердечное попечение"...

Истинная траги-комедия российской современности!

15 [апреля]

Л. Н. Толстой отвечает синоду. Вначале он указывает на то, что он не желал отвечать на отлучение синода, но „оно вызвало очень много писем, в которых неизвестные мне корреспонденты — одни бранят меня за то, что я отвергаю то, чего я не отвергаю, другие увещевают поверить в то, во что я не переставал верить, третьи выражают единомыслие, которое едва-ли в действительности существует“... „Постановление синода, — по словам Л. Н., — имеет много существенных недостатков. Оно незаконно или умышленно двусмысленно, оно произвольно, неосновательно, неправдиво и, кроме того, содержит клевету и подстрекательство к дурным чувствам и поступкам“. Толстой утверждает, что его последователей „едва-ли есть сотня“, далее укоряет синод в явной неправде, будто со стороны церкви „были сделаны попытки вразумления, не увенчавшиеся успехом. Ничего подобного никогда не было“. Цитируя получаемые им письма, Толстой приводит грубости и угрозы по его адресу... анафема, сдохнешь как собака, старый черт... чтобы уничтожить прохвоста тебя, у меня найдутся средства...

„Признаки такого-же озлобления я после постановления синода замечаю и при встречах с некоторыми людьми. В самый день 25 февраля, когда было опубликовано постановление, я, проходя по площади, слышал слова: „вот диавол во образе человека“ и, если-бы толпа была иначе составлена, очень может быть, что меня-бы избили, как избили несколько лет назад человека у Пантелеймоновской часовни*.

„Так что постановление синода вообще нехорошо“.

Переходя к вопросу о том, что он сам отрекся от церкви, Толстой пишет:

„Но отрекся я от нее не потому, что восстал на Господа, но потому, что всеми силами души желаю служить ему. Прежде, чем отречься от церкви и единения с народом, которое мне было невыразимо дорого, я по некоторым признакам усумнившись в правоте церкви, посвятил несколько лет на то, чтобы исследовать теоретически и практически учение церкви: теоретически я перечитал все, что мог, об учении церкви, изучил и критически разобрал догматическое богословие; практически-же строго следовал в продолжении более года всем предписаниям церкви, соблюдая все посты и все церковные службы, и убедился, что учения церкви есть теоретически — коварная и вредная ложь; практически-же собрание самых грубых суеверий и колдовства, скрывающего совершенно весь смысл христианского учения. И я действительно отрекся от церкви, перестал исполнять ее обряды и написал в завещании своим близким, чтобы они, когда я буду умирать, не допускали ко мне церковных служителей и мертвое мое тело убрали-бы поскорее, без всяких над ним заклинаний и молитв, как убирают всякую противную и ненужную вещь, чтобы она не мешала живым"...

Но обвинение в прозелитизме Толстой отвергает... „Я никогда не заботился о распространении своего учения". Он только написал свои мысли для себя и не скрывал их от спрашивавших. То, „что я отвергаю непонятную Троицу и неимеющую никакого смысла в наше время басню о падении первого человека, кощунственную историю о Боге, родившемся от девы, искупляющем род человеческий — то это совершенно справедливо. Бога-же духа, Бога — любовь, единого Бога — начало всего, не только не отвергаю, но ничего не признаю действительно существующим кроме Бога и весь смысл жизни вижу только в исполнении воли Бога, выраженной в христианском учении"... Что касается загробной жизни, то „загробная жизнь в смысле второго пришествия, ада с вечными мучениями, диаволами и рая — постоянного блаженства, — совершенно справедливо, что я не признаю такой загробной жизни, но жизнь вечную и возмездие здесь и везде признаю до такой степени, что стоя, по своим годам на краю

гроба, часто должен делать усилия, чтобы не желать плотской смерти, т. е. рождения и новой жизни (!) и верю, что всякий добрый поступок увеличивает истинное благо моей вечной жизни, а всякий злой — уменьшает его". Таинства отвергает и считает колдовством. Между прочим в священстве видит прямое нарушение еванг. заповеди Христа, прямо запрещающей называть кого-бы то ни было учителями, отцами, наставниками (Мф. XXII. 8. 10). Кощунством называет не свое описание евхаристии, где он „перегородку называет перегородкой, а не иконостасом, и чашку — чашкой, а не потиром", а „ужаснейшее неперестающее кощунство в том, что люди, пользуясь всеми возможными средствами обмана и гипнотизации, уверяют детей и простодушный народ, что если нарезать известным способом и при произнесении известных слов кусочки хлеба и положить в вино, то в кусочки эти входит Бог" и т. д.

Все простое и ясное учение Христа скрыто под этими „волхвованиями". Те, кто так поступает, подобны разбойнику, который убивает целую семью в 5 — 6 человек, чтобы унести старую поддевку и 40 к. денег. „Ему охотно отдали-бы всю одежду и все деньги, только бы он не убивал их. Но он не может поступить иначе. То-же и с религиозными обманщиками: можно бы в 10 раз лучше, в величайшей роскоши содержать их, только бы они не губили людей своим обманом. Но они не могут поступать иначе"... И потому обман надо обличать... „Если-бы Христос (выгнавший торговцев из храма) пришел теперь и увидал, что делается его именем, то он еще с большим и законным гневом наверно выкидал бы все эти ужасные антиминсы, и копья, и кресты и чаши, и свечи и все то, посредством чего они, колдуя, скрывают от людей Бога и его учение".

Вторая часть, в которой Толстой излагает положительную часть своего учения, производит впечатление гораздо более слабое: это схема, как бы проповедь о необходимости любви, как основы религии. Но здесь нет живого ощущения любви и нет поэзии — двух необходимых элементов истинной религии. Я говорил с двумя заправскими толстовцами, и оба признались мне, что они не чувствуют удовлетворения: в части отрицательной — слишком беспощадно, в части положительной — слишком сухо. Это исповедание веры никого увлечь не может: это величаво, как старый столетний пень, с которого бури давно сорвали и цветы и листву, но который все таки гордо стоит под бурями. Одно — чему всю жизнь служил Толстой — искание истины, здесь сказалось в самой беспощадности отрицания: он не прибавляет ни одного смягчающего слова, ни одной уступки естественному чувству или слабости людей. Он говорит все то, что считает истиной, говорит сурово и строго, не заботясь о том, что эта суровость оттолкнет от него многих, кто считал себя его единомышленниками, что может быть он останется один. Но это все таки — не вера и не религия. Это лишь обломок...

Мое внимание обратила между прочим фраза Толстого о язычнике, который „мажет своего идола по губам или сечет его". На него Толстой даже не сердится. Для него, как и для русского мужика, — он просто „поганый", нечто в роде животного, поступки которого ни огорчать ни радовать не могут, у которого в душе нет ни искры истинно-религиозного сознания, нет ничего общего с Толстым в этой области. Мне говорили года два назад, что Толстой считает ошибкой мою защиту мултанцев по существу: по его мнению они могли принести человека в жертву. Он едва-ли допускает, что таких язычников,

которых вся вера сводится к мазанию по губам идолов — уже вероятно и нет во всем мире, что тот самый дикарь, который высек своего идола, уже носит в душе идею единого Бога, отца всех людей. А если он все таки мажет идола по губам, то это остаток старины, не очень далекий от наших восковых свечей во время бури, от того, что сам Лев Толстой делал по собственному сознанию, уже будучи великим и знаменитым писателем. Это — „прикладная вера", попытка склонить по своему великие и таинственные силы природы... У вотяков есть великий Иньмар, совершенно соответствующий понятию о великом едином Боге, но у него, как и у нас — еще шалят домовые, лешие, водяные, которых можно задобрить или откупиться. И они, как и мы, — по своему ублажают святителя Николая, чтобы он послал дождь. Только мы свечами и ладаном, они — бычком или гусем...

И, как христианство не исчерпывается „волхвованиями", так шаманство и языческое знахарство не покрывают собою языческой космогонии. И как под омертвевшей во многих отношениях символистикой христианства можно открыть живое искание символов для непознанного, так это-же искание светится, разгораясь более или менее — во всех „верах". Толстой нетерпим, потому что считает себя обладателем обсолютной истины. Между тем она — только в бесконечности, а нам дано только искание ее. Оно об'единяет последнего язычника с ученейшим отцом церкви, пока оба простодушно и искренно поднимают глаза к таинственному и бесконечному небу... И как только символ отделяется от породившего его живого ощущения — он становится идолом, будет-ли это поэма или изваяние. И следовало-бы помнить, что если простодушный дикарь мажет идола жиром, то миллионы людей окуривают их воском и фимиамами, а ученый схоластик

и прославленный философ Соловьев пишет стихи на чудо курской иконы...[1] Толстой правильно приравнивает эти явления, но неправильно беспощаден к низшим ступеням веры, во имя той холодной вершины, до которой добрался сам под конец жизни. Следует осуждать тех, кто сознательно устраивает курские чудеса или чудотворно источает мирро из костяных черепов, но нужно признавать живое религиозное чувство простых сердец как и искренних мудрецов. Это — трудный под'ем по бесконечной лестнице. Нет причины с гордостью и презрением смотреть на тех, кто внизу, потому что и наша „высота" очень ничтожна в сравнении с предстоящим путем...

Из Петербурга пишут (конечно слухи): с Ванновским идет глухая борьба министерства вн. дел. Старик понял свою роль „слишком серьезно". Он хлопочет об амнистии по случаю предстоящего рождения (быть может наследника) или дня рождения государя... Из иных заседаний его выносят на руках... Другая сторона требует „строгой твердости". Пока что,— печать торопится высказать что можно, хотя-бы только о школьной реформе. Говорят „Моск. Вед." получили замечание за „бестактность" и порождение „смуты в умах", „Спб. Вед." — за резкость критики школьных порядков, „России" воспрещена розничная продажа на месяц.

[1] В. С. Соловьев. Речь идет о взрыве, происшедшем в марте 1898 г. в церкви Курского Знаменского монастыря; причем находившаяся там „чудотворная" икона осталась невредимой. Существовало предположение, что „чудо" было организовано самими монахами с целью оживить усердие народа к своей иконе. Упоминаемое стихотворение В. С. Соловьева озаглавленное „Знамение" было напечатано в „Неделе" 1898 г. № 12. (См. обо всем этом эпизоде Дневник т. III, записи между 11 и 26 апреля 1898 г.).

Последние страницы я дописываю в вагоне: еду в Петербург на редакционное собрание „Р. Бог“ и чтобы сменить Михайловского на месяц. Выехал вчера (20). В Харькове встретил Никонова[1], который рассказал мне, что в ночь на 17 апр. произведено много арестов в Петербурге: арестован В. А. Мякотин, Гарюшин и даже — старик Ермолаев, ответственный редактор „Жизни“, бывший саратовский земец. Ничего не найдено. Поводы неизвестны, лица обысканные едва-ли даже связаны близким знакомством. Повидимому министерство вн. дел просто проводит свой взгляд: „у нас вулкан, нужны меры строгости, а не потачки“.

3 июня 1901

1 июня вернулся из Петербурга. Приехав к Анненским, узнал новость: 17 апр. в числе других был арестован А. И. Богданович[2], к искреннему изумлению всех его знавших. Вскоре его выпустили. Было арестовано очень много народу „со слепу“, без явных результатов. В Нижнем был арестован Горький (теперь выпущен тоже). Общее недовольство и общее озлобление: игра мин. вн. дел Сипягина слишком прозрачна.

Зато — серьезные столкновения и беспорядки на заводах: Александровском (за Ал.-Невск. заставой) и на Выборгской стороне. Даже по официальному сообщению, войска вынуждены были пустить в ход оружие[3].

[1] Никонов — петербургск. адвокат.

[2] Ангел Ив. Богданович (1860 — 1907 г.), критик и публицист, редактор журнала „Мир Божий“, близкий знакомый В. Г. (См. о нем статью В. Г. в т. XXV наст. изд.).

[3] Волнения на петербургских заводах возникли в связи с репрессиями, последовавшими за празднованием рабочими 1-го мая. На Обуховском заводе, где было уволено 26 человек, произошла 7-го мая

Сегодня „Полт. Губ. Вед." перепечатывают фельетон „Нов. Врем." о Павле. Для Павла уже настала история. Верноподданное „Нов. Время" печатает, а „Губ. Вед." перепечатывают правдивую историю этого царя-каррикатуры. Выходит сатира на самое самодержавие. „Он карал без вины и награждал без заслуг" (отзыв Карамзина). „Ордена, кресты, аресты, ссылки сыпались на его подданных" неожиданно и беспричинно. „Как человек долго голодавший и вдруг приглашенный к столу сразу накидывается на все блюда, так он спешил захватить не только власть, но и ее внешние аттрибуты. На одном параде он „командовал войсками—в короне!" В Петербурге полиция с прохожих срывала круглые шляпы; улицы после 9 часов запирались рогатками, через которые никого не пропускали, кроме лекарей да повивальных бабок... Идти на парад офицерам было страшнее, чем на штурм Праги. Милюкову, не расслышавшему команды, он велел дать 100 палок (Алекс. не исполнил приказа). Одного гвардейского полковника засекли кнутом до смерти; солдат истязали страшно. Адмирала Чичагова, по простой сплетне, призвали во дворец, сняли не только ордена, но даже платье, провели через комнаты дворца в одном белье и посадили в крепость. Потом Павел „простил" его. Общее уныние и недовольство росли... И в то же время в Москве этот дикóй царь

демонстрация, закончившаяся столкновением с полицией и воинской командой. Несколько рабочих было убито и ранено, а 37 человек предано суду петербургск. судебн. палаты, вынесшей по этому делу ряд жестоких приговоров.

видел взрывы энтузиазма, а в Муроме народ выражал трогательную любовь и веру. „Мы знаем, что ты нам добра желаешь, Бог тебя наградит". „Ce n'est pas Rome que Mourom" — писал Павел императрице... „Это не Рим, но это лучше....." Это и теперь еще можно сказать о России, с ее мистической политической верой: „Ce n'est pas Rome que Mourom".

Во время моего пребывания в Петербурге большой шум в обществе в течение двух недель происходил по поводу одного письма, напечатанного в „Вере и Разуме" (орган духовный, руководимый Амвросием[1]) и перепечатанного несколькими газетами. То обстоятельство, что письмо появилось в „Вере и Разуме", сбило с толку цензуру и только этим можно об'яснить дозволение перепечаток. Небывалый тон и содержание письма поразили публику, и в тот день, когда „Петерб. Вед." первые перепечатали его, — к вечеру номера газеты продавались по 3 рубля за экземпляр. Когда я спросил № у разносчика, он мне ответил: „Эх, барин. Утром-то я не знал, а тепер сам у вас купил бы за рубль!"

Вот это письмо (теперь оно ходит уже в рукописных списках):

„Несколько лет назад, в своей речи об упадке веры Христовой и об уклонении многих от Церкви, Вы выразились приблизительно так: „Благодаря Бога истинная христианская вера держится еще неприкосновенною в среде нашей меньшей братии, т. е. там, куда еще не проник разрушительный луч науки". Значит, по Вашему, истинные

[1] Амвросий — архиепископ харьковский. В своих проповедях и писаниях восставал против „заблуждений" науки, против свободы совести, свободы слова, против женского образования и т. д. Письмо обращено к нему.

христиане только те, которые веруют, что, если заяц перебежит дорогу или если встретится на пути поп, то быть несчастью; но против зайца нет громоотвода, а против попа есть: следует только завидевши попа, сделать что-то гнусное, и несчастье минует, Как то мне пришлось быть в гостях в доме сельского священника и мне пришлось видеть следующее: 5-го января попадья принесла из церкви освященную воду и тотчас-же отправилась в коровник и помыла этой водой рога и вымя коровам. За вечерним чаем мы разговорились по поводу этого инцидента и попадья мне сообщила, что она и на селе все крестьяне делают так для того, чтобы ведьма ночью не ходила коров доить. На мой-же вопрос: кто эта ведьма и как она может ходить во двор, когда на ночь кругом все запирается? — попадья об'яснила мне, что ведьма это такая злая женщина с хвостом, которая знается с чертом и которая ночью превращается в кошку или собаку, перепрыгивает через заборы, выдаивает коров и опять каким либо животным уходит со двора, а коровы от этого болеют и теряют молоко. Батюшка все это слушал и — хотя-бы словом возразил своей попадье. Я хотел было возразить матушке, но подумал: ведь это истинные христиане, по учению арх. Амвросия — их не собьешь. Одним словом, по Вашему учению истинные христиане только те, которые веруют, что земля на трех китах стоит, т. е. самый простой народ.

„Теперь-же в последней Вашей речи по тому-же поводу, напечатанной в № 76 „Харьк. Вед.“, между прочим читаем: „в простом народе усиливается пьянство... Появляются целые шайки разбойников и грабителей, врывающиеся в дома мирных граждан“. Сопоставьте, отче, прежнюю Вашу речь, вышеприведенную, и последнюю, то выйдет, что истинные христиане — пьяницы, разбойники и грабители. А вот и доказательство тому: припомните последний процесс о шайке разбойников-цыган. Там из показания свидетелей узнаем, что два цыгана пришли в лавочку купить чего нибудь с'естного и, когда лавочница предложила им чего-то, один из цыган сказал: „Ну ее! Еще скоромятиной накормит. Мы не басурмане“. А. Коваленко и Кравченко, убившие купца Ващенка, тоже как то в пост сидели в трактире пили водку и закусывали „только рыбой“. Вот они действительно истинные христиане! Хорошая логика. Так у духовенства всегда и во всем подтасовка и искажение фактов. Вот и относительно высших классов общества в Вашей речи допущена большая несправедливость. Вместо фразы: „наши высшие классы и передовые сословия пропитываются духом неверия и отрицания учения Христова“ следовало-бы Вам написать так, — как оно действительно есть, а именно: „наши высшие

классы и передовые сословия, слава Богу, начинают истинно веровать и понимать учение Христа в том смысле, как того желалось Ему, а не в том, как мы (духовенство) того желаем". Ведь неправда не может держаться вечно, ложь и обман, хотя и не скоро, а все-таки выйдут наружу и правда восторжествует.

„Я уже старик, мне под 60 лет, на своем веку мне не мало пришлось наблюдать уклонений от исполнения церковных обязанностей и, по совести скажу, что во всех случаях причиной тому было наше духовенство, а за „последние события" так приходится даже усердно благодарить наше духовенство, оно открывает глаза многим. Теперь не только волостные писаря, но стар и млад, образованные и необразованные, малограмотные и едва читающие, все теперь стремятся читать великого писателя земли русской. За дорогую цену достают его сочинения (заграничного издания „Свободного слова", свободно обращающиеся во всех странах мира, кроме России), читают, рассуждают, и решения, конечно, — не в пользу духовенства. Масса людская теперь, конечно, начинает понимать, где ложь и где правда, и видит, что духовенство наше говорит одно, а делает другое, да и в словах своих частенько себе-же противуречит. Много правды можно было-бы высказать, но ведь с духовенством нельзя говорить откровенно,— оно сейчас-же не преминет донести, чтобы карали и казнили... А ведь Христос привлекал не силою и казнию, а правдою и любовию.

„Нельзя пройти молчанием скорбь Вашу по поводу пожертвованных кн. Хилковым 400 дес., на которых поселились до 40 семейств бедных крестьян. В словах Ваших так и сквозит сожаление, что князь не пожертвовал эту землю на какой нибудь монастырь. Нет, Владыко, прошли уже те времена, когда жертвовались целые состояния на монастыри, ради душевного спасения. Теперь уже даже полуобразованные чиновники, купцы, приказчики и проч. жертвуют на более полезные и приятные Богу дела благотворительности и народного просвещения. Все уже теперь сознают, что не в монастырях наше спасение, а в разуме и просвещении. Вот земляк наш, Пащенко, совсем необразованный человек, а пожертвовал состояние не Покровскому монастырю (а как было-бы кстати: рядом, с одной стороны и другой), а городу на благотворительные и образовательные цели,

„В заключение своей речи Вы пишете: „есть у нас великая сила для борьбы, — это самодержавная власть благочестивейших государей наших". Опять подтасовки и опять мы не верим Вам. Хотя вы, п р о с в е щ е н н о е духовенство, стараетесь уверить нас, что „преданы самодержавной власти от сосцов матери" (из речи нынешнего

викария, при наречении во епископа), но мы, не просвещенные, не верим, чтобы годовой ребенок (хотя-бы и будущий епископ) уже рассуждал об образе правления и отдал преимущество самодержавию. После неудавшейся попытки патриарха Никона разыграть в России роль римских пап, совмещавших на Западе духовную власть с главенством светским, церковь наша, в лице высших своих представителей — митрополитов, всецело и навсегда подчинилась власти государей, иногда деспотически, как это было при Петре Вел., диктовавших ей свои указы (давление Петра Вел. на духовенство в деле осуждения царевича Алексея). В XIX ст. мы видим уже полную гармонию светской и духовной власти в России. В суровую эпоху Николая I, когда пробуждавшееся общественное самосознание, под влиянием великих социальных движений на Западе, и у нас выдвинуло единичных борцов против возмутительного порабощения простого народа, церковь наша оставалась совершенно равнодушной к его страданиям и, вопреки великого завета Христа о братстве людей и милосердии к ближним, ни один голос из среды духовенства не раздался в защиту обездоленного народа от сурового помещичьего произвола, и это только потому, что правительство не решалось пока наложить руку на крепостное право, существование которого Филарет московский прямо оправдал текстами священного писания из Ветхого Завета. Но вот грянул гром: Россия была разбита и политически унижена под Севастополем. Разгром ясно открыл все недочеты нашего дореформенного строя, и прежде всего молодой, гуманный государь (обязанный воспитанием своего духа и воли поэту Жуковскому) разбил вековые цепи рабства и, по злой иронии судьбы, текст великого акта 19 февраля был дан для редактирования с христианской точки зрения тому-же Филарету, очевидно поспешившему изменить, согласно духу времени, свои взгляды на крепостное право. Эпоха великих реформ не прошла бесследно и для нашего духовенства, вызвав в его среде при Макарии (впоследствии митрополите) плодотворную работу переустройства наших духовных учреждений, куда также было прорублено хотя малое окно в область гласности и света. Наступившая после 1 марта 1881 г. реакция принесла с собою и в духовенство соответствующий элемент деятелей во вкусе Победоносцева и Каткова, и в то время, когда передовые люди страны в земстве и обществе подают петиции об отмене остатков телесных наказаний, — церковь молчит, не обмолвившись ни одним словом осуждения защитникам розги, — этого орудия возмутительного унижения человека, созданного по образу и подобию божию. В виду всего сказанного, будет-ли несправедливо предположить, что

все наше духовенство, в лице своих представителей, при изменившемся сразу режиме, так же будет славословить государя конституционного, как славит теперь самодержавного. Итак,— зачем лицемерие! Ведь не в самодержавии тут сила, а в монархе. Петр I тоже был богоданный самодержец, однако духовенство его и до сих пор не очень-то жалует, и Петр III был такой же самодержец, собиравшийся остричь и образовать наше духовенство,— жаль, не дали ему поцарствовать 2—3 года. Да если бы и ныне царствующий Самодержец Николай II соизволил выразить свое благоволение достославному Льву Николаевичу,— куда бы вы все попрятались, со своими кознями, страхами и угрозами!

„Напрасно вы приводите тексты молитв, которые духовенство возносит за царя,— этот набор слов на тарабарском наречии никого и ни в чем не убеждает. Самодержавие ведь у нас: прикажут, и напишете молитвы втрое длиннее и выразительнее. Вообще, молитвы в православной церкви — одно из самых слабых мест. Не думаю, чтобы Господу Богу, видящему сердца наши и знающему помыслы наши, угоден был этот набор слов вашего досужего измышления! И я полагаю, что нисколько не погрешим, если скажем, что все эти акафисты, песнопения и великое множество молитв написано исключительно с коммерческой целью. Старики мы с Вами, Владыко, и не доживем до того времени, когда церковь наша очистится от всякой лжи, неправды и всего несущественного и станет тою именно церковью, каковую обещал Христос и которую врата адовы не одолеют. Но на будущее надо смотреть с упованием. Благодаря толчку, данному великим и незабвенным Царем-освободителем, св. Русь идет вперед, и хотя в последние 20 лет влияния крепостников, отживших старцев, не ведающих, что творят, и различных врагов нашей многострадальной России и ставят некоторые преграды и тормазы, — но все это пустяки, — вкусивши сладкого, не захочешь горького. Еще Жуковский сказал: „движение — святое дело. Все в божием мире развивается, идет вперед и не может и не должно стать. Неподвижность есть смерть, производящая только гниль". Значит на все эти тормазы глупцов, идущих против законов природы, можно повторить:

Как бы ночь ни длилася
И небо ни темнила,
А все рассвета нам не миновать!

„Итак, на будущее мы смотрим с радостию и восхищением, а Вы, конечно, с сокрушением".

Подписано письмо, кажется, Преображенским. В нем всего интереснее две черты: пишет его, повидимому, христианин (говорящий о будущем „очищении“ церкви христовой, которую не одолеют врата адовы и т. д.). А во вторых — что оно было все-таки напечатано („Вера и Разум“, № 8, 1901 г.). Хотя и странным путем, в духовном журнале, — все-таки это еще впервые за всю нашу историю в начале XX века в легальном органе появилась такая резкая (хотя и не особенно глубокая) критика самых основ нашей церкви.

4 июля 1901, Джанхот [1]

В газетах было напечатано, что на докладе Ванновского по поводу реформы образования, государь положил резолюцию — чтобы проект был передан на рассмотрение комиссии, в которую, между прочим, входит и мин. вн. дел и Победоносцев. Мещанинов [2] говорил профессорам, что Ванновский имеет в виду предложить основные пункты реформы на высоч. одобрение, чтобы таким образом, были уже вперед поставлены вехи, определяющие дальнейшее направление. Ход, очевидно, не удался: проект реформы отдан ее злейшим врагам. Ирония русской жизни: проект обновления, выработанный военным и малообразованным генералом (Ванновский в академии не был) — будет похоронен бывшим профессором [3]. Российская пресса делает вид, будто все еще идет благополучно, но уже являются зловещие признаки: Мещерский, одно

[1] В. Г. приехал в Джанхот (с семьей) 18 июня и оставался здесь до 18 авг. Живя в Джанхоте В. Г. работал над очерками „У казаков“ (т. XX наст. изд.).

[2] Мещанинов — тов. министра нар. просвещения.

[3] Т. е. Победоносцевым, бывш. профес. гражданского права в Московском университете.

время восторженно забегавший вперед в славословиях будущей реформы, пока чувствовалось „восхождение“ Ванновского — уже ударил отбой и делает вид, что его испугал тон печати (которая сочувственно цитировала и его резкие выходки против „прежней“ школы). Уличенный вор и негодяй Грингмут, одно время как будто потерявший самоуверенность, опять переходит в нападение. В „либеральных“ газетах нет-нет и проскользнет нота уныния и разочарования. Так, в провинциальных газетах перепечатывают иеремиады фельетониста Сакмарова: „еще недавно светило солнце, вся природа радовалась, а теперь — на небе тучи и дожди“... Речь идет о погоде: в Петербурге действительно дожди, но все понимают, что — солнце это Ванновский, а дожди — неудача „реформы“... Печать торопится досказать поскорее, что возможно, о старом режиме школы, пока еще не воспретили...

Ростут и другие признаки: российский клерикализм, грубый, корыстный, изуверский подымает голову, сознавая, что в невежественной массе хранится еще неисчерпаемый запас его „силы“. Миссионеры прямо и безастенчиво восстанавливают простой народ против штунды. Газеты то и дело приносят известия об истязаниях и убийствах, совершаемых над штундистами. В церквах читаются проповеди против Толстого... Недавно в бессарабском земстве поп донес на служащего, что он не соблюдает постов и не посещает церкви. Земская управа (председатель Харченко!) решила подвергнуть испытанию религиозных убеждений служащего посредством экспертизы миссионера! (Факт, оглашенный в газетах). Официальное православие, как я это и предвидел,— уже сует свою лапу в совести и души... Наконец, на днях газеты принесли следующее известие, уже из Москвы, об исключении Л. Н. Толстого из почетных членов общества трезвости.

Исключение Л. Н. Толстого из московского общества трезвости.

Сообщаем, со слов московских газет, подробности о заседании московского общества трезвости, в котором, вместо изыскания мер для борьбы с пьянством, обсуждался вопрос об исключении из почетных членов Л. Н. Толстого.

Заявление об этом исключении было подано г. Ворсуняком в совет общества и подписано некоторыми членами общества. Г. Ворсуняк с своими единомышленниками мотивирует необходимость исключения графа Толстого из общества § 4 устава, указывающим на то, что членами общества могут быть лица православного вероисповедания, а граф Л. Н. Толстой, вследствие определения св. синода, таковым считаться не может. „Мы Толстого не знаем и не хотим знать, и зачем только интеллигенты навязали нам его", — энергично заявляет второй противник писателя, торговец Замятин.

Прочитав заявление общему собранию, председатель совета А. М. Коровин высказал следующее, приблизительно, мнение совета по этому поводу: Цель общества, по § 1-му устава, „заключается в противодействии пьянству" и отнюдь не распространяется на обсуждение и оценку сокровенных помышлений. Держась строго определенной узкой цели своей деятельности, общество однако, гарантировано от участия в его составе неблагонадежных членов, о которых всегда доводится администрацией до сведения совета с предписанием исключить их из числа членов. К этому вновь избранный вице-председатель И. И. Ветчинкин добавил, что в уставе совершенно не упоминается о праве общего собрания исключать каких бы то ни было членов. Совет может исключить „на срок от одного года до трех лет", „по получении сведения об уклонении кого либо из членов общества от своих обязанностей". Граф Л. Н. Толстой не уклонялся от обязанностей, т. е. не пьет вина, и потому не подлежит исключению, в особенности по решению общего собрания и притом исключению „навсегда", как было формулировано в заявлении г. Ворсуняка.

Председатель заседания и вновь избранный вице-председатель общества, среди гвалта, поднимаемого 4 — 6 противниками Толстого, пытаются об'яснить, что Толстой избран почетным членом за то, что он в своих произведениях, еще далеко до основания русских обществ трезвости, ратовал против пьянства, и это избрание в свое время было утверждено общим собранием. Далее указывают на то, что общество

трезвости не есть миссионерское братство и не в компетенции общих собраний входить в критику религиозных убеждений своих сочленов.

Не внимая желанию членов совета держаться строго законной почвы устава, два-три голоса немолчно вставляли свои замечания в речи председателя и вице-председателя, так что звонок председательствующего раздавался поминутно. Затем священник о. Лебедев заявляет, что если граф Толстой останется в среде членов, то он, Лебедев, принужден будет покинуть общество и предполагает, что и другие лица духовного звания, состоящие членами общества, поступят также. На спокойную и безучастную до сего времени серую массу членов общества это заявление произвело некоторое воздействие и было покрыто громкими возгласами членов, что и они тоже выйдут из членов. Высказывались мнения, что совместная работа с таким почетным членом, с одной стороны, удерживает от вступления в члены многих новых лиц, а с другой, навлекает грех и на настоящих членов. Исключить графа Л. Н. Толстого следует потому, что он уже не является православным, а по § 4 общество состоит из лиц православного исповедания. Очень долгие споры вызвала редакция постановления. В заключение прений постановлено: „заслушано заявление членов общества об исключении Толстого из почетных членов общества в виду состоявшегося постановления св. синода о временном отлучении Толстого от православной церкви. Общее собрание, принимая во внимание, что первое московское общество трезвости, согласно параграфу 4 устава его, состоит из членов исключительно православного исповедания, пришло к заключению, что Толстой, после вышеозначенного постановления св. синода, не подходит к указываемому параграфом 4 составу общества и в виду этого дальнейшее состояние его в числе членов общества является нежелательным“. Но так как в уставе нет указаний относительно исключения почетных членов из состава общества самим обществом, то постановлено войти с ходатайством об исключении гр. Л. Н. Толстого из почетных членов общества административною властью [1].

Огромное большинство газет с негодованием восстают против этого изуверства, но оно имеет корни в российской низшей буржуазии и отчасти в массах, в которых стараются пробудить деятельный фанатизм. До сих пор

[1] Из „Южн. Об.“ — 28 июня 1901 г. (Прим. В. Г.).

религиозный вопрос дремал на заднем фоне общественного сознания. Теперь его выдвигают вперед. Горизонт действительно заволакивается тучами. Изуверство политическое явно связывается с изуверством религиозным. Будут трудные дни. Логика истории складывается неожиданно и своеобразно. Навстречу этой концентрации наверное пойдет тоже своего рода концентрация всех элементов, заинтересованных в терпимости и свободе. Вопросы религиозные еще раз окрасят может быть собой политическое движение... Но — сколько это будет еще стоить?!..

Н. Ф. Анненский пишет мне из Петербурга, что там то и дело происходят высылки. Об'явлено уже о новой партии высланных: В. В. Лесевича, Мякотина, Пешехонова, Воронцова (В. В.), Е. Чирикова, М. М. Филиппова, Фальборка, Чарнолусского, Диксона [1] (всего 17 чел.). Сам Анненский шутя пишет, что пока остерегается нанимать квартиру на зиму [2]. Рабочие волнения все продолжаются. Известно о них мало, „но только ежедневно на улицах П-бурга можно видеть отряды конных жандармов, отправляющиеся „для усмирения“ или „с усмирения“, а вчера (12 июня) куда-то по шлиссельбургскому шоссе двигался и отряд пехоты. Говорят об острых столкновениях, об убитых и раненых, но точных сведений ни у кого нет“.

Закрыта в июне „Жизнь“, по инициативе „четырех министров“. Теперь мне пишут, что кн. Шаховской (гл. упр. по делам печати) отказался мотивировать обвинение

[1] В. В. Лесевич — философ-позитивист (1837—1905 г.); В. П. Воронцов (род. 1847 г.) — экономист; Е. Н. Чириков (род. 1864 г.) известн. беллетрист; Г. А. Фальборк и В. И. Чарнолусский — писатели, деятели по народному образованию; К. И. Диксон, — журналист (род. 1871 г.).

[2] Вскоре действительно выслан из Петербурга. (Прим. В. Г.).

во вредном направлении, но гг. „четыре министра“ обошлись и без этого.

В „Неделе“ на тему об исключении Толстого из Моск. О-ва трезвости помещено остроумное стихотворение (к Толстому применили § о том, что членами О-ва могут быть лишь „православные“. Внес предложение какой то поп, указавший на то, что после решения синода, отлученный от церкви Толстой уже не может считаться православным и значит не удовлетворяет сказанному параграфу).

Граф, параграф и портной.

Хотя в истории сей все довольно странно,
Но излагать ее я стану не пространно.
Был на Руси настолько всем известный граф,
Что я не называть его, конечно, вправе,
И неизвестный никому был параграф
В одном уставе.
Пришел портной и свой принес аршин,
Измерил параграф он поперек, продольно;
С аршином к графу он... увы, достичь вершины
Не мог он, где тому дышалося привольно.
Конечно, тут другой простец
Ушел бы, да и делу бы конец.
Но наш портной (вот тут уж подлинное диво!),
Решив, что параграф есть то же, что жакет
И должен впору быть притом на целый свет,
Вдруг стал вопить пугливо,
Что мог бы и по швам сей лопнуть параграф,
Когда-б его примерил граф без всякой фальши,
И значит, граф лишен быть должен всяких прав,
Ну, и так дальше...
Пожалуй, можно-б вывод сделать здесь иной,
Но... лучше примем этот без проверки.
Ты прав, портной:
Он не по вашей скроен мерке.

26 сент. 1901

По рукам ходит чрезвычайно любопытная книжка: полемика мин. фин. Витте с (бывшим тогда) мин. вн. дел И. Л. Горемыкиным по вопросу о земстве[1]. Горемыкин предполагал распространить начала земского самоуправления на зап. губернии и Кавказ. Витте высказался против этого в особой докладной записке[2]. На эту записку возражал Горемыкин, а затем Витте опять возразил очень обстоятельно и пространно. Разумеется этот „обмен мыслей" высоких персон шел в строжайшем секрете. Но теперь это уже очень трудно: вся полемика быстро стала предметом разговоров, сначала в устной передаче, а затем в заграничной печати. Наконец, последняя записка Витте, составляющая свод всей полемики,— напечатана в Штуттгарте и повидимому в значительном количестве экземпляров проникла в Россию.

Полемика чрезвычайно любопытна, и нужно сказать, что победа решительно на стороне Витте... Впрочем, так как записки для министров составляют разные подручные, то может быть вернее сказать, что победа — на стороне составителей записки Витте (между прочим в этой записке, порой очень язвительной, много раз повторяется: „составители записки Вашего В-прва упустили из виду", или „составители записки В. В-прва не приняли в соображение общеизвестный факт"... Таким образом из-за спины двух государственных мужей, ведущих солидную

[1] Полемика эта относится к 1898 году, когда министерство вн. дел изготовило и разослало на заключение ведомств два проекта о введении земских учреждений: один — в девяти зап. губерниях, другой — в Астраханской, Оренбургской и Ставропольской.

[2] Записка эта была издана автором в 1914 г.

беседу,— явно выглядывают „составители“, канцелярские pauvres diables, которые показывают друг другу языки и делают иронические гримасы. В качестве одного из них, автора первой записки Витте — называют проф. Демидовского лицея М. А. Липинского).

Горемыкин стоит за земство. Он говорит, правда, что если-бы земское самоуправление „влекло за собою возникновение воззрений, строя привычек и укрепления начал, способных, хотя бы в отдаленном будущем колебать и ослаблять нравственные основы самодержавия, — то местное самоуправление во всех его видах не могло-бы быть терпимо ни одной минуты. Оно должно быть, чего-бы это ни стоило, немедленно и повсеместно упразднено с заменою строжайшей иерархическою централизацией всех сторон управления“. Но министр внутренних дел полагает, что самоуправление во всех его видах нисколько не нарушает основных начал самодержавного строя. Наоборот, — по его мнению „Россия всегда была по преимуществу страной местного самоуправления, так как, кроме земств, кочевья, улусы, аулы, а также всякого рода общества и самые разнообразные сословные союзы покрывают ее сплошною сетью, образуя в большинстве отраслей управления нижние устои, на которых, как на основании, зиждется вся система госуд. администрации“. К тому-же, — повторяет министр известный славянофильский афоризм Аксакова,[1] — „русский народ не государственный, т. е. не стремящийся к государственной власти, не желающий для себя политических прав, не имеющий в себе даже зародыша политического властолюбия“. Если были какие-нибудь притязания земства

[1] К. С. Аксаков (1817 — 1860 г.), писатель, один из крупнейших представителей славянофильского направления.

и антагонизм между земством и администрацией, то это лишь недоразумение, происшедшее, „благодаря психологической аберрации"; „призрак конституционных стремлений появился в разгаре страстей, исключавших спокойное обсуждение дела" и вызван излишней подозрительностью администрации и консервативной печати (особенно М. Н. Каткова). Теперь закон 1890 г. устранил недостатки в организации земства и т. д.[1]

Витте очень победоносно разбивает это бормотание. Он ставит альтернативу: если самоуправление хорошо,— ведите его до конца, укрепляйте внизу и подымайте кверху. Но не закрывайте глаз на то, что это учреждения, несродные бюрократической централизации самодержавия и что „одно должно реформировать другое". Притом Витте отстраняет указание на сословные учреждения, общества, союзы. Это все группировки частные, обслуживающие частные или сословные интересы. Земство учреждение всесословное, берущее на себя местное „управление". Это есть частичный пока захват государственной власти самодержавия чуждым ему началом выборно-общественным. Теперь правительство колеблется, и земства совершенно справедливо жалуются на двусмысленные отношения к ним. „Земство пришло в упадок несомненно потому, что поставлено было правительством в ненормальные условия; но изменить эти условия, дать ему свободу без последующего изменения самодержавного строя государства было нельзя"... „Если совершенно об'ективно, без всякой предвзятой мысли, взглянуть на

[1] Закон 12 июня 1890 г. в корне изменил порядок земского представительства: всю систему земских выборов он построил на началах сословности, на предоставлении преимущественного руководительства земским делом дворянам и на лишении крестьян права непосредственного избрания гласных.

отношения правительства к земству и земства к правительству, то нельзя не сказать, что с своей точки зрения каждая сторона была права". Витте доказывает, что все обвинения, раздающиеся теперь против земства (индефферентизм и т. п.) — являются результатом постоянных искажений самой идеи земства, излишней бюрократической опеки над ним и т. д. Он признает, что реформа 1890 года ухудшила и состав земства и его деятельность. Теперешние земства ни мало не напоминают земства славянофилов, на которых (действительно очень наивно) ссылается Горемыкин. Там в идее была земля и царь, без „средостения" между ними. Здесь бюрократическое средостение почти непроницаемо и земство отдано всецело под власть губернских правлений и губернатора, который теперь входит в рассмотрение „польз и нужд" населения.

Все это чрезвычайно сильно. Витте говорит то-же, что говорят самые последовательные из либералов. Только для Витте это посылки для других выводов. По его мнению это лицемерное и нерешительное отношение к земству должно прекратиться. Антагонизм двух начал: самоуправления и самодержавия несомненен. Опасность еще, правда, весьма отдаленна, но она есть. Если признать, что самодержавие подлежит, хотя и в отдаленном будущем, упразднению, то истинная государственная мудрость требует постепенного укрепления основ самоуправления внизу, в видах и с сознательной целью—передачи ему-же и полномочий управления верховного. Отдельные ручьи местных самоуправлений пусть тогда сливаются в общем море.

Но кто думает, что самодержавие жизненно (в е ч н о, надо-бы сказать) и имеет в себе достаточно сил, чтобы вести далее (в бесконечность?) развитие русской жизни— тот должен быть п р о т и в земства в самых его, пови-

димому, еще невинных формах. Вот к чему пришел этот любопытный разговор двух министров. Скромно потупляя очи долу Рейнеке-фукс признается, что он держится второго взгляда, т. е. по его мнению — самодержавие само может вести русскую жизнь (бесконечно). Сиречь земство должно быть уничтожено, а г. Горемыкин — давивший всякое проявление общественной самостоятельности, задавивший печать, высылавший незаконнейшим образом десятки земских служащих — является с этой точки зрения опасным подрывателем основ, так как все таки стоит за идею земства.

Полемический ход очень ловкий. Взята посылка, в которую, конечно, оба министра не верят (вечность самодержавия), но вера в которую обязательна, как мундир. И затем Витте очень смело и ловко срывает маску с лицемерного бормотания противника в пользу земства. От Горемыкина не осталось ничего... На его месте теперь Сипягин, когда-то создававший проекты управления Россией через „комиссию прошений"!

На место земского либерализма Витте ставит просвещенный абсолютизм. Развитие общественной самодеятельности, кроме сферы управления,— по его мнению совершенно совместимо с самодержавием. Пусть развиваются общества, кооперации и т. д. Эта точка зрения до известной степени проводится в жизнь: министерство финансов само насадило множество „обществ трезвости" при казенной продаже питий. В Москве теперь разрешены собрания рабочих механических производств, артели поощряются (со стороны мин-ва финансов,— Сипягин их тоже терпеть не может, как и земство). Все это в тех видах, чтобы общество при самодержавии не обратилось в „человеческую пыль". Наднях приостановлены выборы в Петербургскую думу — до преобразования. Петербургская дума,

как и все, конечно, остальные думы, нуждается в преобразовании: свыше-миллионное население столицы представлено избранниками от 7-ми тысяч домовладельцев. Но, разумеется, едва-ли преобразование пойдет в направлении усовершенствования.

Витте забывает, что в Германии, когда ударил час неограниченного самодержавия, большую роль сыграли даже гимнастические общества. В Польше назревшие чувства нашли кратер — в сельско-хозяйственном обществе... Сипягин еще более последователен, чем Витте, потому что у него не полемическая только, а нутряная приверженность к настоящему уже деспотизму. Он мог-бы, если-бы был умнее, прочитать такую-же нотацию г-ну Витте, какую тот прочитал Горемыкину и доказать, что всякая самодеятельность в обществе, всякая общественная группировка есть опасность для самодержавия, которому нужна действительно одна человеческая пыль. А когда придет буря — то пыль на политически необработанной почве взметнется ураганом, в котором уже ничего не видно — ни императорского штандарта, ни здания земской управы...

К этому в сущности и сводится последовательная точка зрения самодержавцев-политиканов. Если удастся (что при нынешнем состоянии общества уже пожалуй сомнительно),— то они искоренят все, напоминающее о самодеятельности и социальном прогрессе России. И тогда—при крушении самодержавия — в перспективе, конечно, бурный период почти анархии в неорганизованном обществе...

1 октября 1901

В Орловском с'езде миссионеров предводитель дворянства Стахович произнес замечательную речь, которая по курьезной случайности российских судеб целиком

появилась в „Орловском Вестнике“ (№ 254, 25 сент. 1901). Речь начинается умиленными похвалами отцам и пастырям, а кончается очень сильным напоминанием о веротерпимости, которое на собрании этих „отцов“ должно было, вероятно, подействовать, как персидский порошок на собрание тараканов. Один из присутствовавших священников, чувствуя себя между своими, в простоте сердца рассказал между прочим, как в одном месте исправляли штундистов: в церкви поставили стол, покрыли чистой скатертью, положили икону и приводили штундистов по одному: прикладывайся.—Не хочу прикладываться к идолам!.. А! пороть тут-же! „Послабже которые — после первого-же раза возвращались в православие. Ну, а которые и до 4-х раз выдерживали“. Стахович указывает на эти факты и, ссылаясь на евангелие и славянофилов, громит это стремление церкви к насилию и призывает к полной веротерпимости. „Меня спросят: — Чего-же вы хотите? Разрешения не только безнаказанного отпадения от православия, но и права безнаказанного исповедания своей веры, т. е. совращения других? Это подразумевается под свободой совести? Особенно уверенно среди вас, миссионеров (!) я отвечу: да. Только это и называется свободой совести. Только при этом может жить и действовать, спасаться и спасать вера истинная и неистинная, обращаемая и обращающая. Запретным пусть будет не вера, а дела, не чувства, а поступки, все то, что уголовный закон карает во всех, не спросясь церкви независимо от вероисповедания, за что уходит в тюрьму и ссылку всякий православный“.

„Орл. Вестник“ не говорит, к сожалению, как была принята о.о. миссионерами эта речь. Известно только,— что нет теперь в Европе более невежественных изуверов, чем наши миссионеры, в которых политика Победоносцева

вскрыла целые залежи грубейшего российского клерикализма.

В pendant к речи о веротерпимости — образчик духовной литературы о Толстом.

Замечательное явление с портретом графа Л. Н. Толстого

Под таким заглавием в „Тульских Епархиальных Ведомостях" помещена статья Михаила С — ко.

„Многими лицами и в том числе пишущим сии строки замечено удивительное явление с портретом графа Л. Н. Толстого. После отлучения Толстого от церкви, определением богоучрежденной власти, выражение лица графа Толстого приняло чисто сатанический облик: стало не только злобно, но свирепо и угрюмо. Это не обман чувств предубежденной души, фанатически настроенной, но действительное явление, которое могут проверить все. И вот замечательное об'яснение этого явления: оно дано одним старцем, высокой жизни подвижником: „Около святых икон, т. е. изображений святых угодников, Богоматери и Самого Господа, невидимо, но ощутительно присутствует Благодать Святого Духа", творящая чудеса и исцеления по своей Ее воле, но не без веры лобызающих святые иконы, поклоняющихся пред ними. Оттого-то изображения на святых иконах в глазах верующих становились неоднократно, как живые. Тут случалось то, что сделалось бы с лицом мертвеца, если-бы Бог возвратил душу в мертвое тело: лицо и выражение лица ожило-бы. Когда человек с верою (которая ощущается, как усилие сердца, как вопль, как устремление „горе") молится перед св. иконою, напр., пред иконою Пресв. Богородицы, то сама Богородица, привлекаемая верою и воплем сердца молящегося, становится около иконы, и ее невидимое присутствие чувствуется, и происходит чудное впечатление от иконы.

„Таким-же образом впечатление, получаемое от портрета („иконы" по гречески — изображение)[1] гр. Толстого об'яснимо только присутствием около его портретов нечистой силы (бесов и их начальника, диавола), которой усердно послужил во вред человечества треокаянный граф. Если веруем и ощущаем присутствие благодати около святых икон, почему же не верить в присутствие нечистой силы около

[1] „Икона зверя" — то есть изображение звероподобного антихриста или самого духа злобы, диавола (Апок. 13, 15, 14, 9). (Прим. авт. статьи).

портретов предавшего себя сатане графа. Будем уверены, что впечатление ваше притом согласно с впечатлением многих и со смыслом события, не есть фантазия и обман чувств, но есть духовный опыт".

До сих пор („до зде",— выражаясь по чину четних — миней) приведены слова из письма старца. Если сопоставить эти наблюдения с известиями о страшных ощущениях, которые по ночам во время болезни тревожили дух графа, то нельзя не согласиться с мнением старца, что около „иконы" графа присутствует таинственно (незримо, но ощутительно) сатана и его силы (бесы). Вполне естественно, что это замечено верующими, ибо верующие в Господа приобретают сердце очень чуткое по глаголу: „на враги моя воззре око мое" (Пс. 53). Эта чуткость возрастает по мере чистоты сердца: „чистии сердцем Бога", а тем более ангелов и демонов — „узрят". Так, Василий Блаженный и другие святые часто видели ангелов [1]. Полезно бы сопоставить для контраста последний портрет графа Толстого с портретом батюшки о. Иоанна Кронштадтского. Лицо есть зеркало души: на портрете о. Иоанна мы видим мужа богоносного, в коем почивает святый Дух, умиротворяя душу и сердце избранника своего, проявляясь в огненных глаголах его проповедей, во всем обличии и поступках. На портрете графа Толстого мы видим носителя духов нечистых, „гнездилище отца лжи", который извнутри сердца („от сердца бо исходят помышления злая") Толстого возглаголал ереси злохуления, кощунства и непотребства Дивны и страшны дела Господни: дела суда Его и премудрости! Но, торжествуя посрамление ересиарха, земная церковь (православные люди Божии) должна по слову: „работайте Господеви со страхом", проникаться страхом Божиим многим, помня, что суду Божию подобает начаться с Дому Божия и что самый строгий суд предстоит православным. „Праведник едва спасается!" Будем же строги к себе и любовно строги друг к другу".

(Южн. Об. 29 сент. 1901)

2 окт. 1901

Политика фанатизма и преследований с каждым днем приносит свои плоды. В „Спб. Ведомостях" помещена

[1] В Олонец. еп. Муромском монастыре еще живет иеромонах Викентий, который, закрыв глаза, „умныма очима" видит реющих в эфире демонов в разных видах. (Примеч. автора статьи).

корреспонденция из Харькова[1], в которой рассказывается о кровавом столкновении между штундистами и православными. До сих пор мы слышали только об избиениях штундистов толпой, подстрекаемой полицейскими и миссионерами. Штундисты покорно выносили страдания. Теперь, благодаря преследованиям и религиозному насилию,—сама сектантская масса начинает фанатизироваться.

Корресп. рассказывает, что в Сумском уезде есть с. Павловка, один околодок которого населен сектантами, официально признаваемыми за штундистов (офиц. около 50 семей,—но вероятно больше). В этом селе построена церковь-школа, куда был назначен молодой академик. Его любили и православные и штундисты, но может быть именно поэтому его убрали и назначили другого священника. Корресп. глухо говорит, что тогда „отношения к нему и прихожан и сектантов пошли иные". Надо думать, что это был ревнитель в чисто миссионерском вкусе. Как бы то ни было, 16 сент. сектанты кинулись на церковь-школу, разгромили ее, разломали утварь и топтали антиминс. А затем фанатическая толпа пошла на другую церковь, в другой части села. Какая то баба кинулась на базар и тогда толпа православных с дрекольем бросилась на сектантов. Через несколько минут все сектанты, жестоко избитые, лежали на земле. Один убит на месте, двое при смерти, много раненых. Я получил частное письмо, в котором (правильно или нет — не знаю) сообщают о страшных порках уже по инициативе властей: били до полусмерти женщин и детей.

„Православные и сектанты — пишет корреспондент — до сих пор жили мирно, никаких столкновений, ни рели-

[1] Я читал ее в перепечатке „Сев. Края", № 256, 28 сент. 1901 г. (Прим. В. Г.).

гиозных, ни аграрных у них до сих пор не было. Дикий фанатизм до того несвойствен штундистам вообще, что возникает вопрос: не возникла ли среди них новая изуверная секта". Нет сомнения, что мирный русский рационализм насильно вгоняется в изуверство. Тот же корреспондент говорит (по слухам) о появлении какого-то пророка, арестованного в Павловке полицией. Сами сектанты на все вопросы отвечают: „мы за правду... за правду... хотим претерпеть за правду..." Это понятно; загнанные и забитые, как преследуемые звери, не видя выхода,— они идут навстречу гибели сами...

4 окт. 1901

Ответы на речь Стаховича. Очень любопытные ответы! В том же „Орл. Вестнике" помещено длинное рассуждение, озаглавленное: „Свобода совести, как христианская основа", доказывающее, что слово совесть свободы не предполагает. „Понятие свободы совсем из другой области явлений душевной жизни, а именно из области воли". Ну, а воля бывает и злая, значит... Все это уснащено цитатами из апостолов собственно о совести, цитатами, к вопросу, т. е. собственно к спорному пункту его,— не идущими.

21 окт. 1901

Мне дали для прочтения „Три письма" Л. Толстого. В одном из них (первом) Толстой говорит между прочим:

„Фарисеи и книжники нашего времени всегда говорят, что не надо верить разуму, потому что он обманет, а надо верить им, и они не обманут. Но они говорят неправду. Если верить людям и, как сказано в Евангелии, преданиям человеческим, то мы все располземся в разные стороны, как слепые щенята, и возненавидим друг друга, как это и происходит теперь: христианин-церковник ненавидит магометанина, магометанин — христианина и самые христиане ненавидят

друг друга... Если-же будем держаться того, что говорит нам разум, то все соединимся, потому что разум у всех один и только разум об'единяет людей и не мешает проявлению свойственной людям любви друг к другу. Разум соединяет не только людей, одновременно живущих, но соединяет нас с людьми жившими до нас за тысячи лет.... Поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой, не мсти людям, делающим тебе зло и плати добром за зло, будь воздержен, целомудрен, не только не убивай людей, но и не гневайся на них, соблюдай мир со всеми и многое другое: все это — произведения разума, и все это проповедывалось одинаково и буддистами и конфуцианами, и христианами, и тассистами, и мудрецами греческими и египетскими; проповедуется и всеми добрыми людьми нашего времени, и все в том согласны".

Эту апологию разума написал тот самый Толстой, который в „Анне Карениной" писал, что разум не может научить добру, потому что — любить ближнего неразумно!.. Я всегда считал, впрочем, что это была и тогда внутренняя борьба крайнего рационалиста Толстого, не желавшего признать себя рационалистом. „Разум,—говорит он теперь,— старше и достовернее всех писаний и преданий,— он был уже тогда, когда не было никаких преданий и писаний, и он дан каждому из нас прямо от Бога." И далее: „Слова евангелия, что все грехи простятся, но только не хула на святаго духа, по моему мнению, относятся прямо к утверждению того, что разуму не надо верить".

Интересно также, что теперь Толстой допускает уже „жизнь после смерти".

Мне прислали письмо, в котором сообщается следующий факт: 8 ноября студент (ветеринар. харьк. инст.) Р. был вызван в переднюю для получения письма, принесенного посыльным. В передней его ждал шпион,

который без церемонии стал заглядывать в письмо и спрашивать, от кого оно. Студент отказался отвечать. Тогда незнакомец назвал себя агентом и пригласил студента в сыскное отделение. Студент пошел, чтобы взять пальто, но „агенту“ и эта покорность показалась недостаточной. У него был припасен дворник, с которым агент стал „тащить“ студента. Разумеется вмешались другие, вышел шум. Агента свели к директору, там он бормотал что-то о „подлоге в банке“, потом, под прикрытием инспекции, агента вывели благополучно. Письмо оказалось частного характера. — Разумеется собралась сходка и принято несколько „постановлений“. В конце концов — гектографированные „письма“ устанавливают положение, что „никакие реформы со стороны мин-ства нар. просвещения не будут иметь значения, если мы не будем ограждены от подобных произвольных вторжений“ и т. д.

1902 год

[Февраль. Полтава]

В „Русск. Вед." 4 февраля, № 33, помещена моя корреспонденция о деле Павловских сектантов [1].

Дело это чрезвычайно знаменательно. Кроткое туманное и расплывчатое русское сектанство, соприкасающееся вдобавок с толстовским „непротивлением" — здесь выступает в роли воинствующей и фанатически изуверной. Самое происшествие случилось 15 сент. прошлого года. Мои знакомые полтавские толстовцы говорили мне, что здесь имела место провокация. Я отнесся к этому скептически, как к обычным толкам подобного рода. Однако поездка в Сумы сильно поколебала этот скептицизм [2].

[1] Далее на страницах дневника наклеена упомянутая корреспонденция (в газетных вырезках); автор перечеркнул ее карандашем и она здесь не печатается.

[2] В. Г. был в Сумах с 26 по 29 янв. 1901 г. В письмах оттуда к Ф. Д. Батюшкову (от 28 и 29-го янв.) В. Г. сообщает, что попасть в залу суда ему не удалось, в виду предписания „не допускать никого — ни родственников, ни знакомых, ни судебного персонала"... „Видел шествие подсудимых в суд из тюрьмы, среди огромной толпы народа. Пытаюсь описать это (в корр. в Р. Вед.), но боюсь, что не все поместят..." На второй день суда В. Г. пишет: „... Сейчас узнал интересные черты вчерашнего заседания. Защита стеснена до последней возможности. Председатель не позволяет ставить вопросов, касающихся воздействия администрации и духовенства на сектантов ... В зале сидит командированный Победоносцевым Скворцов и записывает все, что ему нужно, а что ему неприятно, того не допускает председатель. Это они „выясняют истину". Защитники делают свои заявления под проницательным взглядом жанд. полковника, командированного мин. вн. дел".

Там я узнал следующее: Павловки расположены недалеко от имения Хилковых [1]. Толстовское влияние в прежние времена — несомненно. В виду этого на павловцев смотрели как на особенно опасных и окружили их настоящим карантином. Земский начальник Петр Емельянович Дверницкий из стаи бывшего киевск. ген. губ. Игнатьева, свирепствовавшего над сектантами,— иезуит и порядочный негодяй. Он хвастался в Сумах, что у него в среде павловцев есть свои сыщики, доносящие ему об их каждом шаге и слове. Достаточно было собраться 3—4 человекам вместе, чтобы уже был составлен протокол и Дверницкий штрафовал (до 40 рублей!). Паспортов на отход не выдавали. Каждое свежее лицо в Павловках тотчас же привлекало внимание и даже удалялось администрацией. И вот при таких условиях является Тодосиенко, собирает собрания, проповедует (вообще) разрушение церквей, и ему не мешают. Мало того: когда урядник арестует его за бесписьменность, то сумская полиция отпускает его, удовольствовавшись удостоверением 5-ти тех-же сектантов. Даже обвинительный акт недоумевает перед этим фактом и отмечает, что после этого „Тодосиенко, торжествующий возвратился со своими спутниками" (его сопровождала целая толпа павловцев, что, скажем кстати,— прежде само по себе послужило-бы поводом для ареста агитатора) „в село Павловки, где говорил, что его не могут лишить свободы, так как имеется о нем царский указ". Здесь он продолжал фанатизировать толпу. 13-го сент. он уехал, а 14 и 15-го „павловских сектантов, которые (говорит обвинительный акт) до того времени вели себя тихо, охватило волнение: они ходили толпою по селу с пением и возгласами:

[1] Князь Д. А. Хилков, последователь Л. Н. Толстого.

„Христос воскрес". Руководителем сектантов, душою всех их действий сделался, тотчас по от'езде Тодосиенко, местный крестьянин Григ. Павленко... проповедовавший, что близка погибель (?), ... что на него, Павленка, сошел Дух святой и что он получил силу от пророка Моисея" (Тодосиенко — Моисей Наумов). „До этого времени Павленко был тихий человек и проповедью не занимался. 15 сент. вечером и всю ночь происходило большое собрание сектантов в доме крестьянина Тимофея Никитенко. Григорий Павленко возвестил, что он Бог и хочет воссесть на престол. Последние часы наступают, кто желает принять св. Духа — пусть следует за ним. В это время (— сухо повествует обвинительный акт) упал крестьянин Горовой. Павленко об'явил, что тот умер и, приведя его водою в чувство, об'явил, что воскресил его. Сектанты кричали „веруем Господи!" и стали исповедывать перед Павленко свои грехи. К утру 16 сент. возбуждение сектантов достигло значительного напряжения и, руководимые Григ. Павленко... они утром большою толпою, с возгласами „Христос воскресе! Правда идет!" и хлопая в ладоши, двинулись к ближайшей по пути церкви-школе. Впереди толпы ехала на подводе Елизавета Павленко и, подняв вверх ребенка, кричала: „уверуйте в этого младенца".

По словам того-же обвинительного акта, пристав 2-го стана, осведомившись (не говорится — когда?), что в Павловках подготовляются на 16 сент. беспорядки, накануне прибыл на место и распорядился, чтобы церковь-школа была в этот день заперта и поставил около нее охрану из нескольких сотских и командированных из гор. Белополья городовых. [1]. Подойдя к церкви-школе толпа

[1] Любопытно-бы проследить,— сколько времени потребовалось на все эти приготовления? (Примеч. В. Г.).

сектантов, состоявшая челов. из 200 и имевшая во главе Григор. Павленка, Макс. Горового и Петра Харахонова подняла крик при приближении полицейского урядника, который предложил ей разойтись. Тотчас-же отделившийся от толпы Григ. Павленко и Петр Харахонов бросились к уряднику, схватили за стремя и за лошадь его, испугали ее, и урядник помчался предупредить станов. пристава о приближении толпы. А сектанты, оттолкнув от ограды церкви полиц. чинов, нанеся им побои и поломав шашки у городовых, вошли в ограду, сломали запоры у входной церковной двери, разбили рамы и стекла в окнах церкви, а также паникадило, сломали замок у двери ведущей в алтарь, повредили царские врата, выбили из них иконы, по которым ходили ногами, сдернули завесу с царских врат, сдвинули с места и разломали св. престол, облачение с него сорвали и бросили на пол вместе с св. антиминсом, разорванным св. евангелием, и т. д.

„Разгромив церковь-школу, сектанты с криком „наша взяла“ двинулись к другой церкви св. Михаила, расположенной на противуположном конце села“. Здесь шла служба. Все вышли, заперли церковь, ударили в набат. Становой пристав пошел навстречу толпе, подвигавшейся с криком: „правда идет! Христос воскрес!“ Здесь его повалили и помяли. Но у церкви приготовившиеся заранее православные с дрекольями встретили сектантов и произвели жестокое побоище, переломав многим сектантам руки и ноги. По частным сведениям, толпа после этого врывалась в дома и била даже не участвовавших в погроме. У многих, по словам тюремного врача, с которым я разговаривал в Сумах, перебиты руки между кистями рук и локтями. Они, экзальтированные, шли вперед, закрывая только головы руками, а их били дрекольями.

30 апр. 1902

Я запустил свой дневник, а в это время события шли бурным и усиленным темпом. 2 февр. произошла грандиозная демонстрация в Киеве. Рабочие и студенты запрудили улицы, выкидывали знамена („Долой самодержавие!"), вступали в драку с полицией и казаками. Студенческий мундир уже становится своего рода бытовым явлением наряду с блузами и простой одеждой рабочих. Как всегда, толпа манифестантов усиливается толпой нейтральных и любопытных, часто не понимающих в чем дело. Выростает также особый тип городских уличных „гаменов", веселая толпа подростков, которые из удальства и шалости кричат „долой самодержавие" и приучаются шмыгать между ногами лошадей. Для них это веселая игра, но они вырастут в этой игре и впоследствии внесут свою долю бессознательного и механического в уличные движения. Это — толпа без идеи, без собственных стремлений, которая во Франции участвовала во всех свалках и бегала с одинаковым любопытством на Гревскую площадь, смотреть казни „аристократов" или жирондистов. У нас, конечно, не дойдет до таких сцен, но все-же, подавляя всякое сознательное стремление в народных массах, близорукие „командующие" — готовят именно революционные „рефлексы".

Вскоре после этого приехала из Киева наша бывшая горничная. Она сама случайно попала в толпу и очень испугалась. Брат ее — жандарм (он не посмел идти беспокойными улицами и пошел обходом). Сама она из казачьей семьи (козаки самый консервативный элемент в Малороссии). Она читает книги, девушка не глупая, жила у нас около года. Но ее представление о том, что происходило у нее на глазах, — совершенно смутное.

— Чего-же они хотят, — о чем кричали? — спросил я у нее, когда она в кухне рассказывала о виденном в Киеве.

— Та бог знает... Я не знаю.

— Ну, все таки, как вы думаете?..

— Да говорят, будто хочут, чтобы не было богатых и бедных и чтобы не было начальства.

Это было единственно-определенное, что она могла сказать. В ответе было простое, об'ективное сообщение, с некоторой эмоцией и значительным недоумением перед явлением.

— Как-же это можно, чтобы совсем без начальства? — спросил я опять.

— Да я не знаю.

С этим неопределенным взглядом на цели и стремления городского движения она и уехала к себе в деревню. И деревня получает эти сведения от сотен снующих между нею и городом людей, которые все привозят фактические сообщения, такие-же волнующие и такие-же смутные. Деревне трудно, деревне уже не в мочь, а тут где-то идет шум, люди хотят, „чтобы все были равные".

И эти люди называются „студенты".

Запутанная и довольно бессмысленная русская история, преломляясь в темной массе, создает в ней новую легенду и новый мираж. В жизни, кроме царя, есть еще „студенты". Что они идут против начальства, — это уже несомненно, а народ не любит „барского" начальства, служащего только господам. Вопрос — каково отношение новой силы к царю? По этому предмету темное сознание народа колеблется. Мистическое представление о царе (чисто народном царе) еще не исчезло, и легенда связывает „студентов" с царем. Их посылает царь, а начальство преследует. В другой версии, — царская легенда

уже отступает: студенты против царя, потому что царь с господами. Это — как бы историческая случайность: данный царь изменил самой идее (народного царя, защитника) и в то время, как другие цари были только бессильны, данный царь прямо примкнул к господам. И это вызывает колебания и сотрясения всей земли. Студенты — выразители сознания этой неправды. Наконец — еще любопытная версия: царь уехал заграницу (— вдобавок захватив деньги) — и „на три года" оставил управлять студентов. Эти легенды — целая стихия. Газеты в народ не достигают, о гражданском строе — никаких понятий, а между тем в эту плотную массу, в эту затененную глубину все таки достигают отголоски какого-то шума, какой-то борьбы, каких-то стремлений. И достигают разом во всю толщу, отовсюду: от приезжих из столиц, из Киева, из Харькова. И отовсюду идет известие, что рядом с фабричным рабочим, выходцем из той же деревни, — бунтует студент в мундире. И правительство думает, что вся опасность и все брожение народной мысли, политически суеверной и темной — об'ясняется и покрывается теорией „пропаганды со стороны злоумышленников". Между тем — нет такого количества „листков", которые-бы равнялись по действию хотя-бы сотой доле того процесса, который идет в глубину этих масс — стихийно, естественно, просто, как отголосок самой жизни. Слепота и .близорукость ретроградного правительства, неспособного ни на одну живую реформу,— довела изолированное сначала движение учащейся молодежи до степени бытового явления, и конечно, не могла помешать тому, что этот ручеек пробил преграждавшие слои и слился с движением тоже угнетенных и преследуемых рабочих. Рабочее движение, как и студенческое, лишенное элементарных законных форм безграничным

произволом,— слились естественно, чувствуя общего противника именно в этом безграничном произволе. И вот, из струйки уже ручей. А шум этого ручья проникает в народ, тоже загнанный безграничным произволом полиции и земских начальников, совершенно упразднивших всякую идею о суде равном, в котором прежде все-таки надеялись видеть равенство перед законом,— залог правового развития и общества и народа. А вдобавок — стеснено земство, печать, общественная инициатива. Союзников теперь у правительства нет. Весь этот бюрократический аппарат, обнажается, выделяется из общества, как сухая и при том враждебная всему обществу чуждая ему машина.

И это идет неуклонно: правительство замыкается все больше и больше в сухом бюрократизме и произволе. Министр Сипягин пользовался силой большей, чем все его предшественники. А это был человек в высшей степени ограниченный, тупой, необразованный. Человек с миросозерцанием плохого уездного предводителя дворянства — руководящий огромной страной!

Однако вернусь к крестьянской массе и ее легендам. С конца восьмидесятых годов я слежу за студенческими движениями. Всякий раз, когда я приезжаю в столицы после таких движений, я расспрашиваю извозчиков: „Что, у вас тут шумят студенты?“ Извозчики — это особый слой столичного населения: они — корпорация. Постоянно стоя на биржах, они обмениваются мнениями, а постоянно меняя места стоянок,— развозят и нивеллируют это общее, так сказать корпоративное мнение. И вот уже более десяти лет я замечаю и заношу в свои книжки особую извозчичью легенду о студенческих движениях. Одни с сочувствием, другие с осуждением,— все однако единогласно почти повторяют одно: студенты бунтуют из-за

того, что „бедному человеку нет ходу". Сначала это идет только в среде самих студентов:

— Видишь ты: должности бедным не дают: учится, учится, все нет ничего. А богатый даст взятку,— и получает должность.

В первый раз я услышал эту легенду после известной истории с Брызгаловым в моск. университете [1]. Тогда об'ясняли, что именно Брызгалов брал взятки и теснил бедняков. Потом легенда все укреплялась.

— Со мной ехал один студент,— повествовал мне в Петербурге философ-извозчик.— Стали мы разговаривать: „веришь, говорит, ты мне, извозчик: последнюю шинель проучил, ходить не в чем, а все нет должности. А между прочим, я сто очков вперед дам тем, которые получают должности". Известно — всюду бедному нет ходу.

Смотря по темпераменту, — рассказчики сочувствовали студентам или осуждали их.

— А все-таки, я вам, барин, так скажу,— закончил беседу один бедняга, в плохоньком кафтане и на плохонькой кляченке... — Я так все-таки полагаю, что смиренство доводит до высших степеней...

И он, как бы для иллюстрации, вытянул свою кляченку концами возжей.

Другой, приводя ту же легенду — закончил:

— Вот и нам-бы так, подружней! А то оплели царя господа да министры!

Один раз меня вез сам хозяин, молодой лихач, толстый, с русыми лоснящимися кудрями и уже разжиревший. Он ругал студентов, с удовольствием передавал, как их

[1] Брызгалов, инспектор Московского унив—тета в конце 80-х годов. 21-го ноября 1887 г. студент Синявский дал ему публично пощечину.

бьют, но... об'яснение привел то-же самое и тотчас, по странной ассоциации идей, — стал ругать своих рабочих, наемных извозчиков. Этот случай показался мне еще более характерным, чем другие. С сочувствием или с осуждением, но легенда настойчиво повторяла 1½ десятка лет, что в студенческих волнениях бедность идет против злоупотребления богатством, хотя бы только в своей сфере. Бедные кандидаты в чиновники борются с богатыми кандидатами в чиновники. Но все-таки уже сочувствие становилось на сторону бедного.

И все это просачивалось в низы столичного населения, оттуда фантастическое и странное — ползло в губернии, в деревни. А правительство не умело справиться с движением молодежи, потому, что ему пришлось-бы измениться самому. Оно то манило надеждами, которые не могло осуществить, то усиливало произвол и административные кары — самую основную причину движения. И вот оно дождалось того, что в прошлом году, при аресте студентов, толпа уже держалась сочувственно по отношению к арестуемым, а те самые мясники из охотного ряда, которые в конце 70-х годов били провозимых киевских студентов, — теперь присылают арестуемым провизию и ободряют их сочувственными восклицаниями. И наконец, — студенческий мундир начинает тонуть в движущейся серой массе.

Я пишу эти строки, а мимо моих окон идут казаки, поют песни и свищут. Идут по улицам точно в поход и даже сзади везут походную кухню, которая дымит за отрядом. Дело в том, что Полтава — теперь центр усмиренной губернии и что отчасти легенды, отчасти естественный ход вещей привел к крупному крестьянскому

движению. Может быть это и знаменательно, что первое такое широкое движение разыгралось именно в Малороссии, еще очевидно, не совсем забывшей гайдамачину и колиивщину. И при этом характерно, что собственно козачество остается спокойно (на своих несколько лучших наделах); движутся исключительно мужики.

Явление это очень сложное и, не претендуя на анализ, исчерпывающий все взаимные связи явлений, передам только события.

Прежде всего в городе, потом — в деревне.

Полтава переполнена массой „неблагонадежного" народа: тут и исключенные студенты, и бывшие ссыльные, „лишенные столиц", и рабочие, высланные за стачки и участие в беспорядках. Когда правительство боролось с „марксизмом", совершенно отрицавшим вопросы крестьянской жизни, то оно считало Полтаву самым удобным местом ссылки: нет „фабрик и заводов", нет рабочих... Значит, отлично. И вот земледельческая Полтавщина переполнилась всякого рода „неблагонадежными" элементами. Я еще не знал этого, когда выбрал для себя, после шумного Петербурга, „тихую Полтаву".

Народ этот жался в тесном углу, искал и часто не находил занятий, частью пристраивался на временную работу, ссорился (марксисты со „стариками") и вел ненормальную жизнь насильственно оторванных от занятий людей. И, конечно, озлоблялся еще более.

Движение в Киеве, Харькове, Екатеринославе волновало эту массу и без того раздраженных и недовольных людей, не веривших однако в возможность каких бы то ни было серьезных демонстраций в „тихой Полтаве". Однако 5 февр. какой-то кружок все-таки попытался устроить нечто, в самой скромной форме. В театре давали „Власть Тьмы". Перед вторым действием, когда на сцене

и в зале темно, посыпались вдруг листки с портретом Толстого и с надписью: „Да здравствует отлученный от церкви борец за правду". (Что-то в этом роде, — я в театре не был и не удалось видеть ни одного листка). Публика сначала приняла это за обычную „овацию" и стала разбирать листки. Но тут-же кто-то бухнул еще пачку прокламаций.

Мне говорили, что это „добавление" не только не входило в программу, но, будто-бы, наоборот, было постановлено ни в каком случае не бросать никаких прокламаций и ограничиться демонстрацией в честь Толстого. Но, как это часто бывает, какая то кучка не подчинилась общему решению. Говорят, прокламация была сляпана глупо, грубо, и вообще весь эпизод вышел нелепым. Полиция захватила всю пачку.

Если-бы на это посмотрели хладнокровно, как на демонстрацию, подлежащую „улож. о наказаниях, налаг. по пригов. миров. судей"; если-бы, наконец, власти принялись спокойно разыскивать виновных в прокламациях, то ничего-бы вероятно особенного не произошло. Но у нас так не бывает: дня через два, — в ночь внезапно была произведена масса обысков и сразу захвачено около 45 человек, которые и посажены в помещение арестанских рот. По обычаю г.г. жандармов и политических следователей, — брали огулом, на основании формулы: после разберем, и набрали по большей части, если не исключительно — совсем непричастных людей. Арестовали и одну гимназистку, которую везли днем под стражей, вызывая сочувствие и сожаление толпы.

Настроение данной минуты — нервное, электрическое, сказалось сразу нелепостию: по инициативе нервно-неуравновешенного юноши, некоего Васильевского, все арестованные сразу об'явили голодовку, если им немедленно

не об'явят причины ареста (говорят, Васильевский действительно не принимал ни малейшего участия в демонстрации). Затем арестованные побили окна, выкинули какой-то плат с надписью „свобода" и вообще произвели громкую демонстрацию. На площади стала собираться толпа.

Весь город взволновался. Арест 44 человек, без видимо основательных причин, и притом людей, живших спокойно, трезвых, не производивших понятных обывателю бесчинств, — вызвал к ним общее сочувствие. На площади стояла толпа, выражавшая явно сочувствие заключенным. Это были горожане и приезжие из деревень. Площадь оцепили войсками, людей не пропускали в собственные квартиры, близь арест. рот. Заключенных перевели вниз (уговорили перейти).

Тут — новая случайность: с одной из арестованных женщин случилась истерика. Уголовные арестанты подумали, что „политических" избивают, захватили в мастерских инструменты, выломали двери и явились на помощь. Политическим стоило труда уговорить их успокоиться (впоследствии бедняков жестоко высекли).

Все это взбудоражило весь город и совершенно озадачило начальство. Оно привыкло „хватать" без церемонии, про запас, числом поболее — хотя бы и невинных и даже считает это наивно своим неот'емлемым правом. А тут вдруг — волнение во всем городе, ропот, толки, толпа народа на площади, возбуждение. Начальство стало просматривать „основания для ареста" и, конечно, никаких не находило. Кто бросал — неизвестно, но относительно многих стало несомненно, что они не бросали. И вот, через несколько дней почти всех освободили! Город на время успокоился.

Но было уже поздно. „Ото, на базарі аж кипить" — говорила по домам прислуга. — „У Полтаві об'явилися

студенти". И вот, тихо поскрипывая колесами телег — медлительные хохлы повезли из города известие по селам и деревням: появились „студенты", те самые, что в Киеве дерутся с полицией, наряду с рабочими, те самые, что хотят, чтоб не было богатых и бедных, те самые, которых посылает царь, или которые идут против царя за то, что он „перекинувся" на сторону господ. Легендарная, мистическая, окруженная фантастическим нимбом, фигура „студента" сразу запала в народное воображение. Одних она пугала, другим внушала надежды, но, во всяком случае — была совершенно не реальна.

— Да от кажуть люде... приїхали вони... студенти, та вийшли на шведську могилу и дивляться... — говорила мне одна приходившая из деревни козачка.

— Ну, та-й що дальше? — спросил я.

Дальше не было ничего. Козачка видимо боялась „студентів" и не предвидела ничего хорошего из того, что они осматривали тихие до тех пор поля с высоты шведской могилы. Никаких, повидимому, дальнейших действий загадочных студентов она не знала, но вероятно, замечала, что в „некозачьей" части народа — студенты вызывают ожидания и надежды. Я как-то ехал в Петербург, и в вагоне со мной ехал харьковский студент. Он приезжал к своему знакомому в один из уездных городов Полт. губ., похожий, как большинство из них — на большое село.

— Да, странное настроение в народе,— говорил он мне с некоторым недоумением. — Приехал я к товарищу и вышли мы в праздник прогуляться по базару. Было нас человека 4 или 5, в формах. Идем, смотрим — впереди куча народа на улице, парубки, мужики... Все на нас смотрят...

Студентам стало неловко, тем более, что они не знали, каково настроение этой, видимо интересующейся ими

толпы. Но когда они подошли ближе, из толпы выступило несколько парней, сняли шапки, а один выступил вперед и, указывая на них толпе, сказал:

— От наши защитники йдуть...

— Ужасно неловко, — искренно прибавил студент. Я посмотрел на него. Юноша с довольно приятным, весьма обыкновенным лицом; я заметил, что усики его тщательно подвиты, мундирчик сидит аккуратно, фуражка немного на офицерский лад. Одним словом — обычная студенческая фигура, вероятно хороший товарищ. Если ему удастся кончить, он станет приличным „кандидатом на суд. должности", понемногу втянется в служебную лямку и может быть будет даже прокурором. А может, конечно, и не будет. Во всяком случае теперь он втянут в вихрь уже стихийного движения, выкидывается вместе с товарищами из университета, опять вступает в него, стремясь все-таки прибиться к берегу (диплому) и не изменить „товариществу". И со всем этим, с чистеньким мундирчиком и с подвитыми усиками, — он попадает „в защитники народа" и дает материал для создания мистической легендарной фигуры фантастического „студента", озирающего уже угнетенные, голодающие, исстрадавшиеся поля, хутора, деревеньки — каким-то магическим взглядом.

Правительство тоже верит в исключительную силу и злокозненность этой фигуры, забывая, что опасен не этот студент и даже не те студенты, что печатают прокламации, а та среда, которая преломляет эти реальные образы до размеров, перерастающих горы: а эта среда — действительные бедствия народа, полный застой во всех областях жизни, бессилие правительства двинуть вперед какую бы то ни было сторону жизни, начиная от школы и кончая земельным вопросом; страшны —

отчаяние, неверие в организацию государства и неосмысленные, но законные стремления к лучшему...

И вот, появились „прокламации“... По „шляхам“, начинавшим просыхать после бесснежной зимы, ранним утром проезжающие на базары мужики увидели разбросанные там и сям какие-то бумажки. Чтобы их не унесло ветром, они, говорят, были тщательно придавлены то камешком, то грудкой земли... Мужики подымали бумажки и ехали дальше.

Характерно: говорят, ни одного экземпляра не было представлено в полицию. Народ жадно схватил и проглотил эти подметные листки, говорившие о какой-то таинственной подметной правде, которую надо скрыть от господ и начальства. П. П. Старицкий[1] рассказывал мне, что в уездную управу приходил по делу богатый козак, крупный землевладелец Полт. уезда, живущий не далеко от деревни Лисичей. Он богат, дает в ссуду деньги (за хорошие проценты), семена, раздает в аренду землю мужикам. Одним словом, — это известный „благодетель“ деревни, не пан и не мужик, богач — близко стоящий к массе. В поисках за таинственными бумажками, исправник счел нужным обратиться к нему. Козак-богатырь позвал мужика из Лисичей, у которого, как он слышал был листок. Однако мужик ответил, что у него „бумажки нема“.

— Ну, як у вас для мене нема бумажки, то и у меня для вас нема ни земли, ни зерна, нічого...

[1] П. П. Старицкий — председатель полтавской уездной земской управы.

Мужик почесался, но обещал достать, под давлением этой тяжелой угрозы. И действительно достал. В „бумажке“ говорилось о том, что землю захватили паны, та богаті мужики, та попы (что-то в этом роде). Когда козак этот стал говорить с некоторыми мужиками, что, дескать, вот тут говорится не только про панів, та богатіх мужиків, а еще и про батюшок, духовных отцов, а это грех, — то, по его словам, один из наивных собеседников ответил:

— Э, Ив. Григорьевич (кажется так), — та ей богу, такії-ж сукини діти, хоч-бы й попи.

Приговор радикальный, резюмировавший горькую философию народа относительно командующих классов[1].

В Лисичей живет тоже опальный студент Алексенко. Козак, не называя прямо, намекал все-таки, что он причастен к распространению прокламаций. У Алексенка произвели обыск, ничего не обнаруживший. Говорят, однако, что, когда захотели произвести обыск у его знакомых мужиков, — толпа воспротивилась, не дали понятых, не позволили идти сотским и десятским и не дали арестовать заподозренных.

Через несколько дней ко мне пришел юноша-студент, с большими печальными глазами, нервным лицом, немного как будто испуганный. Он отрекомендовался Алексенком, сказал, что он тот самый, у которого был обыск. Кто-то из общих знакомых передал ему, что молва обвиняет его в распространении прокламаций, и его это

[1] Против этих строк на полях дневника написано: „10 л. назад „прокл. к голод.“ Какая разница“! В. Г. имеет здесь в виду прокламации 1892 г. к голодающим крестьянам Поволжья. Прокламации эти рассылавшиеся по почте и навлекавшие на получателей большие неприятности, встречались крестьянами крайне враждебно. (См. об этом очерки „Земли! Земли!“, гл. I и II).

обеспокоило. Зная, что я живу в доме председателя управы, он пришел просить меня — узнать, что именно говорил в управе козак из-под Лисичего. Я узнал: козак не называл, но намекал. Я спросил у студента откровенно и между нами: было-ли что-нибудь с его стороны. Он ответил, как я уверен, совершенно искренно, что никаких прокламаций он не разбрасывал, и все его отношения ограничивались знакомством с сверстниками и тем, что он давал им легальные книги...

И вот — еще один „защитник", еще одна легендарная фигура. Теперь он арестован и говорят, совершенно подавлен неожидано выпавшей на его долю ролью. Перед самым арестом он, говорят, ходил по знакомым, с тревожным и страдающим видом, говорил о том, что надо удержать мужиков, рассказать, как усмиряют бунты в других местах. Теперь, говорят, он уже в остром бреду...

Совсем на днях мне, наконец, показали и один экземпляр прокламации. Это просто перевод на малороссийский язык одной из прокламаций к рабочим. Подписана „малороссами социалистами-революционерами". Говорится о том, что и после освобождения нет воли, что царь окружен господами, что все непорядки можно прекратить только тогда, когда народ завоюет право собираться для обсуждения своих нужд, писать правду и т. д. В конце призыв: „давайте-ж братці, силою добувати собі волю". Народ приглашается поддержать крик, „раздающийся по всем городам России: „долой самодержавие, да здравствует свобода".

Прокламация, очевидно, составлена в обычных, рутинных уже для этой литературы формулах. Составители, вероятно, придавали ей значение не прямого призыва, а так сказать установления необходимости борьбы... Форма очень неосторожная в обращении к крестьянству, которое

не понимает этих тонкостей. „Сылою то и сылою“... Мужик понимает это просто, непосредственно, сейчас...

Не думаю, чтобы эти прокламации (была еще другая,— целая книжечка, кончающаяся еще решительнее) оказали решительное действие. Первой причиной возникших бунтов нужно считать, конечно, общую земельную нужду, а в некоторых местах и прямо голод[1]. Продовольствие взято у земства, а г.г. земские начальники ведут его по лукояновски. Передают о случаях поразительной небрежности в этом отношении. Народ не видит выхода вообще, а тут еще тяжкая весна. Затем, несомненно — глубоко укоренилось полное недоверие к правительству и безнадежность; при этом — вечная мужицкая уверенность, что земля должна принадлежать трудящимся (остаток реальной старины), не смягчаемая никакими перспективами хотя бы на частичное улучшение своей судьбы, в виде хотя-бы частичных аграрных реформ. И уже на эту почву попадают отголоски суетни и шума в городах, попытки борьбы рабочих и — фантастическая фигура „студента“ рисуется на заволакивающемся тучами горизонте[2]...

2 апреля я приехал в Петербург по делам редакции, а отчасти Академии[3]. В тот-же вечер я был в Куоккале у Анненского. На следующий день утром в поезде финл. дороги я опять ехал в Петербург. В вагоне какая-то дама очень горячо спорила с толстым, рассыпчатым и упитанным попом. Поп нападал на студентов, дама защи-

[1] Речь идет об аграрных волнениях в Полтавск. и Харьк. губ. весной 1902 г.

[2] В этом месте на полях рукописи надпись: „Павлозских штундистов при мне тоже называли „студентами“.

[3] Об академическом инциденте см. ниже запись без даты стр. 304.

щала. Разговор, вызывавший большое внимание публики, велся свободно и громко, касаясь тем очень щекотливых. На какое-то замечание священника о мальчишках, с которыми справиться не трудно чуть не розгами, дама ответила:

— Ну, вот Сипягин пробовал... Что вышло?

Что-то в тоне дамы заставило меня спросить: „А что именно вышло?“

— Как? Разве вы не знаете: вчера убит.

— Не может быть!

— Да что вы! Вчера об этом было известно всему Петербургу. Сегодня уже есть в газетах.

Я еще не читал в этот день газет, и для меня это была новость: вчера просидев у Батюшкова[1], я уехал прямо на вокзал и поэтому ничего не знал, между тем как известие уже распространилось с быстротой молнии по всему городу.

Поезд между тем подошел к вокзалу, и я вышел вместе с публикой, под впечатлением этой поразительной новости. На площади я взял извозчика, и по обыкновению заговорил с извозчиком.

— Скажи-ка, брат: правду-ли говорили... Я сейчас слышал в поезде, будто убили министра.

Извозчик, очевидно не совсем расслышав мои слова, ответил:

— Да не в поезде... А в государственном совете.

И затем, живо повернувшись на облучке, прибавил:

— Да еще как шикарно убил-то его... Студент... А явился в виде офицера, ад'ютанта. Карета была нанята. Приказал — что ежели приедет карета, спросит гр. Игнатьева, — доложить ему...

[1] Ф. Д. Батюшков (1857 — 1920), историк литературы и критик, близкий знакомый Б. Г.

Сочувствие извозчика было целиком на стороне „студента“.

— За что-же это он его? — спросил я, желая продолжить разговор.

Извозчик опять повернулся и сказал с признаками озлобления в тоне.

— А за то: живи правдой! Вот за что!

Еще через некоторое время он прибавил с каким то весельем:

— Ехали со мной, двое... Говорят: еще министра одного, да градоначальника. И ладно!

В чувствах к градоначальнику он, очевидно, особенно сходился с „студентами“.

На следующий день я был у Арсеньева на Мойке и возвращался по цепному мосту. Направо по Фонтанке, между жандармским управлением, бывшим знаменитым III отделением и нынешним „департ. полиции“ находится министерская квартира, которую покойный по слухам ремонтировал недавно, на что ушло до 300 тысяч... Когда-то я помню отсюда выносили тело Мезенцева[1], убитого Кравчинским, а меня как раз выпустили из III отделения, в числе многих других, захваченных „на всякий случай“[2]. Я обратил тогда внимание на молодцеватого генерала Черевина[3], распоряжавшегося во дворе среди смущенных жандармов. После было покушение и на Черевина. Теперь около этих мест опять толпились кареты, приезжали и уезжали высшие чиновники, — виднелись придворные ливреи... Это — русская история идет

[1] Мезенцев, шеф жандармов, был убит 4 авг. 1878 г. революционером С. М. Кравчинским (Степняком).

[2] См. об этом „Ист. М. Соврем.“ т. II, гл. XLI.

[3] Ген. Черевин, впоследствии телохранитель и личный друг Алекс. III.

по колеям и буеракам к простой и ясной цели, устанавливая „своими средствиями“ ответственность советников и министров...

На этот раз вез меня не старый еще извозчик, уроженец Петербургской губ., по легкому акценту, как будто инородец, может быть латыш, с рыжей бородой и спокойным умным лицом. Повидимому сектант — он в разговоре прибегал к ссылкам на свящ. писание.

— Да, господь их рассудит на том свете, — сказал он. — Нам судить трудно.

— А только удивительно, — прибавил он, осторожно пробираясь среди полиции, жандармов и карет, — как это... ежели Господь не желает ... диавол может возобладать...

— ?

— Ведь уж это кто идет на убийство... не иначе ... диавол научает... Его дело...

— Вот ты уже и осудил.

— Да, верно... Я так считаю, что дело это... такое... Ну, только: студент этот подал ему запечатанный пакет...

— Так что-же?

— Ну, а мы не знаем, что было в пакете... Неизвестно... Значит, не можем и судить... Как этот студент свою правду понимал? (последняя фраза буквально).

Еще несколько отзывов — мелкого люда все были отмечены или явным сочувствием к убийце или (реже) таким-же раздумьем. По общим отзывам — смерть Сипягина не вызвала сожаления ни в каких кругах. Говорят, умер он мужественно. В газетах приводятся его слова: „Я никому не сделал зла“. В этих словах весь человек: ограниченный, неразвитой, с миросозерцанием ретроградного предводителя дворянства, по капризу российской судьбы призванный управлять огромным государством

в тяжелое время, — он знал только интересы дворянства и кроме них — ничего и никого не видел. Он осуществил в широких размерах чисто лукояновскую программу отношения к голоду [1], совершенно прекратил часную благотворительность...

Приводили в частном обществе его разговор с великосветской дамой о голоде. Он даже не отрицал его, а сказал просто:

— Неужели вы думаете, что на интересах России отразится то обстоятельство, что там где-то несколько десятков или сотен мужиков перемрут с голоду или от болезней [2]...

Он, конечно, не желал им зла... Для него это была безразличная масса (никто), на которых вдобавок жалуются помещики. Помещики и чиновники — это люди, и им он по своему мог желать добра, а мужики и разночинцы — просто никто... Общественное мнение, земство, печать — все представлялось ему вздором. В его лице

[1] В. Г. имеет в виду Лукояновск. уезд. Нижегор. губ., изображенный им в очерках „В голодный год" (т. XXVII наст. изд.). Уезд этот прославился в 1892 г. тем, что здешние дворяне упорно отрицали наличность голода, поразившего тогда все среднее Поволжье; лица, стоявшие во главе продовольств. дела произвольно урезывали выдаваемую крестьянам ссуду, не допуская в то-же время и частной благотворительности.

[2] Позднее В. Г. писал Ф. Д. Батюшкову по поводу возникших в Полтавск. губ. аграрных волнений и их подавления: „... Меры Сипягина относительно „народного продовольствия" достигли цели: никто и не знал, что подкрадывается голод, г.г. земские начальники считали все благополучным, а мужикам нечего было ни есть, ни сеять. И как всегда, — жестокость усмирения во много раз превзошла жестокость бунта... И били то по усмирении, т. е. без надобности, — отплачивая за свой испуг. Страх — ужасно подлое чувство, рождающее жестокость". (Письмо от 15 апр. 1902 г.).

отношение к печати сумасшедшего Соловьева [1] приобрело наивнейшего приверженца. Кн. Шаховскому, начальнику Гл. Упр. по делам печати, он заявил неудовольствие на то, что в печати есть разные направления. Ему это дело казалось таким-же простым и ясным, как и Соловьеву, который сказал мне лично:

— Истина одна, и ее выражение должно быть одно.

Мы с ним разговаривали с обоюдной непринужденностию. Я был еще нездоров и не сдержан, поэтому засмеялся ему прямо в лицо и сказал:

— Может быть и есть где нибудь эта единая истина... Едва-ли только ее можно рассылать в циркулярах [2]...

Для Соловьева это все-таки была „полемика". Он понимал, что говорит нелепость, и нелепость дрянную, но это был озлобленный наглец и прислужник, обиженный вдобавок печатью: был какой-то инцидент с собакой у мирового, — Соловьев требовал какие-то 30 рублей за прокорм приблудной собаки, и фельетонисты издевались над роскошными меню собачьих обедов. Это случилось, когда Соловьев был темным адвокатом. Потом он успел обратить внимание Победоносцева миниатюрами иконок на слоновой кости — и попал в решители судеб печати. Крупный чиновник зло и подло мстил печати за „собаку".

У Сипягина это было „внутреннее убеждение" предводительского нутра. Он просто удивлялся, как это правительство терпит; его миросозерцание было в высшей степени несложно: вся Россия разделялась на начальство и подчиненных. Начальство приказывает, подчиненные повинуются. Печать — сугубо подчиненная, конечно, должна

[1] М. П. Соловьев, бывш. нач. Гл. Управл. по делам печати.

[2] См. этот разговор в наст. томе, запись под 30 апр. 1899 г.

и повиноваться сугубо. И вдруг — подчиненные „не согласны во взглядах“ с начальством. — „Этого не должно быть“.

— Но как же это сделать, ваше-ство! — спрашивал ки. Шаховской, человек просвещенный, образованный, может быть слишком покладистый, но в общем доброжелательный к просвещению.

— Это уже ваше дело, — просто ответил министр.

Все это возбуждало тревогу и неуверенность даже в цензуре — и даже второстепенные чиновники явно вздохнули с облегчением, когда Сипягин, так или иначе, сошел со сцены ...

Я был по академическому делу у Кони,[1] когда по Невскому двигалась похоронная процессия. С утра по улицам тихим шагом сновали отряды войск в разных направлениях. Ждали демонстраций и готовились к ним. Вышло пожалуй еще хуже. Похороны прошли при поразительном равнодушии общества. Из окна верхнего этажа мой взгляд упал на красные верхи жандармских касок. Жандармы, чиновники, курьеры... В количестве, требуемом самым скромным приличием. Даже толпы на улицах не было. Останавливались только прохожие, провожали взглядом гроб, кучку мундиров, жандармов и курьеров...

Хоронили министра внутренних дел чины министерства... Он никому не делал по его искреннему убеждению зла, потому что вся Россия, кроме дворян и чиновников, была для него — никто! Он действовал, согласно со своими убеждениями, а его убеждения были просты: чиновникам нужны оклады, помещикам покорные и дешевые рабочие, министру — сотни тысяч на ремонт квартиры... Если-же при этом несколько сотен людей

[1] А. Ф. Кони (1844—1927) известн. судебн. деятель и писатель.

где-то там, в неведомых деревнях, пухнут от голода, — это в канцеляриях и не чувствуется. А если от „ремонта“ кое-что остается министру, — то это безгрешный доход, самим Богом установленный и вольтерианцы напрасно против этого вооружаются...

Говорят, в последние минуты Сипягин выражал желание видеть царя. Очевидно хотел передать свое „завещание“ молодому монарху. На это не нужно было ни много времени, ни много слов... Программа была-бы проста, как изречения щедринских героев. Он не дождался царя и унес с собой в могилу завещание... Но логика жизни еще возьмет свое и завещание посредственного уездного предводителя, призванного управлять великой империей,—будет осуществлять В. К. фон-Плеве...

Убийца — Степ. Валер. Балмашев, студент, юноша. Главная черта в его поступке — замечательная твердость и „чистота“ в выполнении задуманного плана. Этим любуются даже противники... Юноша пошел на смерть... Трудно взвесить результаты этой жертвы — ближайшая несомненно — реакция. Деревянная фигура Сипягина превращена в мученика. Личное впечатление на царя — понятно, а Россия пока и управляется и потрясается „личными впечатлениями“...

Кстати о Балмашеве: я немного знал его отца. Видел я его мельком в Саратовской губ. Это был скромный человек, искавший в то время работы, по возвращении из административной ссылки. Недавно он попал в ссылку вторично, кажется, в Вологодскую губернию. Оттуда он прислал на просмотр рассказ, довольно плохой с хорошими чувствами. Таким образом жизнь отца прошла в ссылках. О матери говорили, будто она стала очень

религиозна. Сын только что окончил курс гимназии, попал в разгар студенческого движения и понес свою голову. На этом маленьком примере видны успехи „борьбы с крамолой"... Сравнительно безобидное народничество родителей — и убийство министра сыном.

Говорили достоверные люди, что Балмашева уговаривали написать просьбу о помиловании, ручаясь за успех. Нужна была только формула: „в виду несовершеннолетия и чистосердечного раскаяния"... Балмашев наотрез отказался...

В марте разыгралась академическая история с выбором А. М. Пешкова-Горького.

Года два-три назад министр Витте в память Пушкинских дней, внес проект образования разряда изящной словесности при Академии наук, в который должны быть выбираемы выдающиеся беллетристы и критики. В первой очереди были выбраны Толстой, Чехов и я. Выбор чисто почетный, не сопряженный ни с содержанием, ни с должностию. Отказываться было бы странно, и все мы приняли выбор, хотя я лично чувствовал какой то осадок и предчувствие, что эта комедия при наших порядках добром не кончится.

Надо думать, что уже этот первый выбор вызывал некоторое неудовольствие. Вторые выборы опять дали некоторый контингент либеральных писателей в Академию (в том числе К. К. Арсеньев). Затем подошли выборы третьей серии, и при этом был избран А. М. Пешков. В это время в Нижнем о нем производилось дознание по 1035 ст., по политическому делу. Все это дело начато честолюбивым и злобным прокурором Утиным, которого в конце концов, за нетактичность убрали

из Нижнего. Это однако послужило поводом Сипягину представить государю выбор Пешкова, как демонстрацию со стороны Академии. Царь через Ванновского во I-х об'явил академии „неудовольствие" за этот выбор. Вторым высоч. повелением приказано выбор считать недействительным, третьим — изменить устав о выборах в почетные академики таким образом, чтобы впредь таких случаев не было [1]. Все это было об'явлено академикам президентом (вел. кн. Конст. Константиновичем) и на этом история могла бы покончиться, так как, конечно, никто не стал бы оспаривать права высоч. власти — издавать сепаратные повеления и не утверждать выборы — в России, где губернаторы не утверждают председателей земских управ и гор. голов. Но кто-то еще пожелал, чтобы об'явление о неутверждении было сделано не категорическим распоряжением власти, а от имени самой Академии [2]. В „Правит. В-ке" сначала появилось просто известие, что выборы Горького не утверждены. Уже и это было очень нетактично. Почетный выбор был

[1] Как выяснилось уже после революции 1917 г. (см. „Былое", июль 1917 г.) дело обстояло несколько иначе: на докладе о выборах М. Горького Николай II сделал пометку: „Более чем оригинально", не сопроводив ее, однако, никакой резолюцией. „Из этой заметки видно", писал В. Г. впоследствии, „что никакого неутверждения в сущности не было, а было лишь нечто в роде изречения оракула, которое академический президиум поспешил облечь в форму отречения Отдела от собственного выбора. В этом узел всего инцидента". (Письмо к Н — ну от 10 марта 1918 г.).

[2] В том-же цитированном выше письме, В. Г. говорит: „... повидимому президент Академии К. Р. и председатель отдела А. Н. Веселовский нашли выход из положения, не справившись с мнением Отдела. Я помню, что А. Н. Веселовский говорил об этом вскользь: „вел. князь нашел, что для отдела будет гораздо лучше сделать это от себя". А по моему это-то и было гораздо хуже. Президент сделал большую неловкость, а А. Н. Веселовский не сумел эту неловкость отклонить".

оглашен во всех газетах и Горькому было послано от Академии извещение. Очевидно „почета", состоявшего в выборе, уничтожить было уже невозможно. Теперь к этому прибавили новую огласку—неутверждения, которое у нас, в России, по обстоятельствам, тоже является своеобразно почетным. Вдобавок,—новая безтактность: президент потребовал через губернатора, чтобы Пешков вернул самое извещение о факте выбора. Хотели, очевидно, вменить выбор „яко не бывший". В самый день, когда появилось об'явление об отмене выборов,— к телеграмме об этом агентства приказано прибавить: „от Академии наук". В об'явлении сказано, что, выбирая Пешкова, академики не знали о его привлечении по 1035 ст. В конце концов вышло, что Академия сама, узнав о пресловутой 1035 ст.,— отменяет свой выбор и значит высоч. повелению придан вид самостоятельного акта Академии. Между тем значение этой статьи спорно, никогда „полицейский надзор" так не истолковывался и даже одна ретроградная газета выразила недоумение—что Академия считается с полицейскими соображениями („Свет"). Между тем, академики даже не знали, что от их имени делается такое об'явление...

Я в это время сидел в Полтаве, и до меня доходило все это довольно поздно. Высоч. повеления состоялись 9 марта. В начале апреля я приехал в Петербург и говорил с несколькими академиками. Все были возмущены,— но... общее настроение повидимому улеглось. Шумел только математик Марков, которому президент не позволил поднять этот вопрос в заседании. Я обратился (6 апр.) к Веселовскому с письмом [1], в котором сообщая,

[1] См. „Письма", т. VII; письмо это приведено также в брошюре А. Б. Дермана „Академический инцидент", Крымиздат., Симферополь, 1923 г., в которой собраны все материалы, относящиеся к сложению с себя В. Г-чем звания академика.

что я имел право участвовать в обсуждении отмены выборов, раз она должна была состояться от имени Академии,— прошу назначить собрание, в котором я мог бы представить свои соображения по этому поводу. Лично Веселовскому (председ. II отд.) я заявил, что сложу с себя звание, если до половины мая не будет собрания для обсуждения этого вопроса. Веселовский немного слукавил: в Полтаве я получил приглашение на 10 мая в заседание Отдела и Разряда „для частного совещания". Я приехал, совещание состоялось, но результат получился неопределенный и вопрос откладывался — до осени во I-х, до выздоровления президента (князь К. К. был болен и говорили серьезно) — во 2-х [1].

В конце концов я послал во время летних каникул свой мотивированный отказ от звания поч. академика [2]. Повидимому уйдет и Чехов [3]. Маленькая идиллия с „почетными академиками", которых может сменять департамент полиции простым возбуждением „дела о неблагонадежности"— кончается.

Любопытна также параллельная история с проектом изменения устава. Выбрана комиссия, в которую вошли очень уважаемые люди (даже К. К. Арсеньев) и... такова была растерянность и недоумение, что эта комиссия придумала — предварительные справки через президента в де-

[1] См. об этом совещании письмо В. Г. к жене от 10-го и 12-го мая 1902 г. („Письма", т. VII).

[2] Отказ этот, датированный 25-го июля 1902 г., послан был из Джанхота, где В. Г. проводил с семьей лето. См. „Письма", т. VII.

[3] А. П. Чехов послал свой отказ в Академию месяц спустя. В мае текущего 1902 г. В. Г. по просьбе Чехова приезжал в Ялту для совместного с ним обсуждения создавшегося положения. После этого Чехов писал Горькому в письме от 2-го июня: „Накануне моего от'езда из Ялты был у меня Короленко. Мы совещались и вероятно на сих днях будем писать в Петербург, подаем в отставку".

партаменте полиции. Таким образом в конце концов департамент полиции руководил - бы академическими выборами. Проект был тогда изменен: академия выбирает и, не оглашая выборов, представляет на утверждение государя... Само собою разумеется, что тогда государь отсылает к министру вн. дел, министр вн. дел — в департамент полиции, и в результате опять тоже. Мы будем выбирать только писателей, патентованных в департаменте полиции. На мое замечание по этому поводу — частное собеседование пришло к заключению, что „академия выбирает и оглашает о почетном выборе", а затем представляет государю. Но это — как раз опять случай с Горьким, по поводу которого как раз и приказано изменить устав. Таким образом — выхода нет, и куда ни кинь, все попадаешь в деп. полиции. Играть дальше эту комедию — у меня нет охоты.

Очень характерно в „совещании" держался В. В. Стасов [1]. Сначала с некоторой резкостию он напал на меня. По его словам — я своим заявлением „ничего нового не сказал". Об'явление — есть официальная реляция. Таковым у нас, все равно, никто не верит. Мы читаем, напр., что в стычке ранено 6 казаков, а всем известно, что их убито 666! И однако мы не суемся опровергать эти реляции. То - же и здесь. В обществе уже известно многим, что это инициатива не Академии, и этого достаточно.

На это я ответил, что с такими реляциями, я конечно, знаком, но попрошу многоуважаемого В. В — ча указать мне хоть один случай, когда такая реляция была напечатана от моего имени или от имени кого-либо из присутствующих. В данном же случае от моего имени об'явлено,

[1] В. В. Стасов (1824-1906) известн. писатель по вопросам русского искусства, художеств. и музык. критик.

что я считаю всякого, заподозренного департаментом полиции — недостойным выбора. Но тогда мы не могли-бы выбирать Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Тургенева. Я имею, кроме общих, еще и личные причины, заставляющие меня ненавидеть этот внесудебный порядок, применяемый к политическому процессу, и имею право оберегать свое писательское имя от навязывания мне признания этого „порядка" и его законности. Любопытно, что, после заседания В. В. Стасов подошел ко мне и, пожимая мне руки,— сказал, что я прав и что, в сущности, после этой бесцеремонности — все мы должны-бы выйти... „А если не выходим, — то по российскому свинству!" — закончил он с обычной резкостию. „И так поговорив, мы разошлись"... [1]

[1] Свое завершение академич. инцидент получил уже после февральской революции. На академич. заседании 21 марта 1917 г. было выражено единодушное желание, чтобы В. Г. Короленко возвратился в среду почетных академиков. Об этом его известил Д. Н. Овсянико-Куликовский. При этом он писал В. Г — чу: „Вас надо будет баллотировать,— и разумеется, Вас изберут единогласно. Горький вернулся без баллотировки, потому что Академия все время считала его невыбывшим, а только отторгнутым внешней силою. Вы же выбыли по собственному желанию". В. Г. ответил отказом на это предложение. В своем письме к Овсянико-Куликовскому от 29-го мая 1917 г. он м. прочим писал: „... Вышел я из Академии не потому, что царь не утвердил избрания Горького. Это его, т. е. бывшего царя дело. При прежнем строе на всем его протяжении кто-нибудь кого-нибудь не утверждал: губернаторы — одних, министры — других, цари — третьих. Это было тогда их формальное право, и это приходилось терпеть всей России."—„... если-бы о неутверждении было об'явлено обычным порядком „от высочайшего имени", то я, как и другие, просто принял-бы это к сведению. К сожалению это было об'явлено не от царя, а от самой Академии". „... Это было сделано так бесцеремонно, что у нас даже не спросили, желаем-ли мы брать на свою ответственность эту царскую функцию неутверждения. Это уже была „беда", и только

28 апр. в Полтаве стало известно, что губернатор Бельгард отставлен. Назначен кн. Урусов. Кн. Волконский[1] получил награду. Беспорядки распространились и на Харьк. губернию. В то время, как Бельгард сек и плакал,— Волконский усмирял со сладострастием. Это генерал „с нутром", бодрый, решительный, с играющей селезенкой, без рефлексий и упреков совести. Печальнее всего участь Бельгарда. Для одних — он все-таки драл, без надобности, без права, уже усмиренных. Для других — драл слабо, несвоевременно, с рефлексией. Город Полтава предполагал поднести ему поч. гражданство, и об этом Бельгарду поторопился заявить гор. голова Трегубов. Потом — нашлись такие „храбрецы", которые запротестовали против этой почести опальному губернатору. То-же вышло и с прощальным обедом... Губернатор почувствовал себя в положении „неблагонадежного", чествование которого составило-бы „оппозицию правительству"... Вышло кисло, робко и гнусно.

против этой бесцеремонности я и протестовал. Царь мог не утверждать сколько ему угодно, но я не желал, чтобы он прикрывал свое неутверждение моим именем. Вот в чем было дело и почему я сложил с себя звание почетного академика. Согласитесь, что будет непоследовательно с моей стороны, если я анулирую эту причину моего ухода и соглашусь войти в „Отдел" после того, как история аннулировала самого царя"... В post-scriptum'е к настоящему письму В. Г. прибавляет: „Еще одно: вышли мы по обоюдному соглашению с А. П. Чеховым. Войти вместе не можем..."

[1] Обмолвка автора. Надо читать: кн. Оболенский (харьков. губернатор). В. Г. писал о нем Ф. Д. Батюшкову (письмо от 15 апр. 1902 г.): „...Оболенский в своей укротительской ревности вторгся в пределы чужой губернии и порол полтавцев".

Этой отставке предшествовал приезд в Полтаву нового министра Плеве.

Выдающейся новостию за тот-же период является „фавор" Мещерского. Кажется так в конце мая в „Гражданине" появилась умиленная статья князя, в которой он вспоминает о дружбе к нему Александра III и сообщает, что теперь опять его старость озарена лучем царского доверия. Оказывается, что, действительно, Мещерский получил аудиенцию, которая длилась долго, потом молодой царь провожал его, пожимал в приемной руки и выразил сожаление, что так долго был лишен его советов. Таким образом, период „исканий" и колебаний заканчивается. Вместо полусумасшедшего и сумбурного Клопова, которого Мещерский называл „тайным советником", — таким советником становится сам Мещерский, старый шут, заведомый развратник (об этом весьма недвусмысленно печатали когда-то в „Нов. Времени"), уличенный хищник (дело его с министром путей сообщения Кривошеиным [1]), посмешище всей печати и всей читающей России. Теперь, как некогда Клопов, он об'езжает Россию, печатает об

[1] Мин. путей сообщения Кривошеин, прославившийся своими хищениями и удаленный за них со службы (дек. 1894 г.) был выдвинут на этот пост стараниями своего друга князя Мещерского. В благодарность Кривошеин обязал свое ведомство сделать Мещерскому огромный типографский заказ по баснословно-высокой цене. Когда злоупотребления со сдачей этого заказа обнаружились, влияние Мещерского в высших бюрократич. сферах и у самого Алекс. III потерпело урон. Инцидент этот В. Г. изложил в своей статье „Суррогаты гласности для высочайшего употребления". („Освобождение" Штутгарт, 2 февр. 1903 г. № 16). В наст. изд. см. т. XXXI.

этой поездке в „Гражданине“ и докладывает обо всем государю...

Тоже своего рода „логика событий“. И еще — новый „сведущий человек по назначению“, новый суррогат конституции!..[1]

[1] На этом записи 1902 г. заканчиваются. Далее на 8 стр. тетради наклеены газетные вырезки с циркуляром мин. вн. дел по департаменту полиции, от 12-го марта 1901 г. за № 1230. (Выдержка из этого циркуляра приведена В. Г-чем в дневнике 1901 г. под датой 19 марта). Затем следует копия с заявления прис. поверенных Г. Г. Гонтарева и Б. П. Куликова в особое присутствие Харьк. Суд. палаты, о выходе их из состава защитников крестьян (участников аграрных волнений), в виду стеснительных условий, в которые была поставлена защита.

1903 год[1]

5 июня. [Полтава]

СЕРБСКИЙ ПЕРЕВОРОТ

30 мая в прибавлениях к газетам появились известия о совершенно неожиданном, прямо ошеломляющем перевороте в Сербии: король и королева убиты мятежными офицерами[2]. Династия Обреновичей уничтожена, на престол вступает Карагеоргиевич[3].

Отношение к перевороту в нашем обществе и печати странно. — Слыхали? — спрашивали у меня мои знакомые и очень удивлялись, что я совсем не в восторге. Самый переворот совершен по-азиатски грубо и варварски. Телеграммы прямо называют подполковника Машича, который по одним — застрелил, по другим — убил киркой королеву. Все носит характер чисто азиатский: толпа сербских янычар овладевает властию, военщина будет предписывать законы. Генчич — негодяй, бывший начальник тайной полиции при Милане, призван в министерство,

[1] Записи 1903-го года ведутся в тетради обычного формата, на переплете которой рукой В. Г. написано: „1903. Из поездки в Кишинев. Покуш. на Крушев. О погроме (частью вошло в д. № 13-й). Дроворубы". Описание рукописи № 5 см. в ст. от Реддакционной Комиссии.

[2] Александр I, король сербский (1876 — 1903), единств. сын Милана, и жена его Драга, вдова полковника Машина, бывш. фрейлина королевы Наталии, матери Александра.

[3] Петр I Карагеоргиевич.

Живкович, радикал и тоже один из министров, бессовестно лжет народу будто-бы дело произошло из-за того, что король хотел удалить Драгу и оба погибли в междоусобии. Официальний орган („Беогр. Новине“) еще 28-го прославлявший короля, тепер сообщает, будто тысячи людей накануне переворота видели на горизонте сияние и руку благословлявшую на убийство короля и королевы. Трупы были выкинуты из окна в сад. Сегодня к этому прибавляют, что над трупом королевы надругалась разнузданная солдатчина. Все указывает на то, что интересы народа — только ширма, прикрывающая недовольство армии. Милан презренный негодяй, льстил армии и держался ею при своих возмутительных переворотах. Теперь армия была недовольна отношением к себе Александра. Очевидно Карагеоргиевичу придется заискивать в этих башибузуках, и едва ли страна от этого выиграет. Сербская армия была бита турками и болгарами, но за то она храбро убивает женщин.

Любопытна растерянность и беспринципность наших газет. Так как, повидимому, от Карагеоргиевича можно ждать руссофильской политики, то даже „Московские Ведомости“ относятся к перевороту с нескрываемым одобрением.

„В белградском конаке, — пишут в этой газете, — в ночь на 29 мая стреляли и убивали члены заговора, составившегося исключительно из членов сербской армии“... Организация заговора „была составлена по плану исторически известных военных заговоров и выполнена была с предустановленной почти точностию именно вследствие того, что исполнителями явились элементы, об'единенные привычкой к дисциплине и к подчинению приказам исходящим от вышепоставленных лиц... ...Во всяком случае последний переворот произвели в Сербии элементы, до известной степени послушные законам дисциплины и гражданского долга, а не разнузданные политические проходимцы, подвизающиеся в политических и анархических заговорах“. (Цитирую по выдержке „Харьк. Л.“ 3/VI — 1903).

В „Спб. Вед." некто Столыпин[1], пишущий ежедневные довольно претенциозные и часто наивно-консервативные заметки, приводит свой спор с каким-то собеседником, который „удивлен" его первой заметкой, неодобряющей белградских убийств. „Как-же было действовать иначе, раз деятельность Александра и Драги шла в разрез с интересами народа?" Одним словом одна консервативная газета явно одобряет цареубийство, если оно совершено „элементами привыкшими к дисциплине", другая открыто ставит это, как вопрос. Характерные признаки глубочайшего недомыслия. Во всяком случае бедной Сербии придется после переворота едва-ли не хуже, чем до него. Для России тоже можно пожелать чего угодно, только не военного переворота.

Сегодня я ходил в канцелярию губернатора за заграничным паспортом для Дуни[2] с детьми. Оттуда меня послали в полицейское управление за удостоверением о неимении препятствий к выезду. Тут чиновник сначала принялся за это дело так, как будто немедленно предстояла выдача паспорта. Но затем сходил в кабинет полицмейстера, вышел оттуда с лицом, несколько застывшим, и об'явил, что удостоверение будет выдано только в субботу. Я решительно заявил, что ждать не могу и предложил с'ездить за справками к своему приставу. Тот немедленно „удостоверил". И все-таки вышел красивый полицмейстер (д'Айстеттен) и любезно попросил

[1] А. А. Столыпин, журналист (брат П. А. Столыпина, впоследствии премьер-министра), одно время редактировал „Петербургск. Ведом." С 1904 г. состоял постоян. сотрудником „Нов. Времени". Являлся одним из главных деятелей „Союза 17 октября".

[2] Авд. Сем. Короленко (урожден. Ивановская), жена В. Г.

„зайти завтра". Разумеется, выдадут. Но в каждом городе, вот уже около 20 лет та-же история — опасений и справок.

Недавно губернатор не утвердил меня и Авд. Сем. в списке лиц, пожелавших осуществлять надзор за положением малолетних в ремесленных заведениях. Предполагается, что, под видом надзора, мы займемся разбрасыванием прокламаций. Эта дикая чушь тоже тянется лет 20. Говорят, губернатора в это время не было и „не утвердил" Фон-Физин, вице-губернатор, автор романа, печатавшегося в „Вестнике Европы" [1]. При глупой системе все чиновники одинаково глупы. Индивидуальные отличия исчезают.

4 июня произведено в Петербурге покушение на Крушевана, издателя-ред. двух антисемитских газет: „Бессарабца" и „Знамени". У полицейского моста к нему подошел молодой еврей Сруль Пинхусович Дашевский и нанес удар ножем в шею. Крахмальная сорочка ослабила удар и Крушеван дешево попал в герои. Трудно было оказать лучшую услугу этому изуверу.

Повидимому Дашевский — интересный и новый тип среди еврейской интеллигенции. Мне рассказывал один его знакомый, что незадолго перед этим он судился в Пинске за оскорбление жандармского офицера действием. При какой-то встрече офицер назвал его „жидом", а тот сшиб его ударом кулака на землю. — Я Сруль Пинхусович Дашевский, живу там-то, — заявил он при этом. Повидимому евреям надоело служить приниженными жертвами. 6 апреля в Кишиневе был страшный погром,

[1] „Роман вице-губернатора".

во время которого уже были группы или, как они названы в правит. сообщении, — „кружки самообороны“... Леккерт-еврей стрелял в фон-Валя, Дашевский покушается на Крушевана[1].

10 июня

Вчера в 6 утра мы выехали из Полтавы. Дуня с девочками поехали в Одессу и оттуда в Тульчу[2]. Я их проводил до Раздельной, а оттуда свернул в Кишинев.

Дорогой, в вагоне познакомился с молодым священником. Он воспитывался в кишин. семинарии, но не знает молдаванского языка и не любит молдаван. О евреях отзывается мягко. По его мнению, погром 6 и 7 апреля не об'ясняется никакими экономическими причинами. Народ озлобился, будто-бы, по поводу „дубоссарского дела“.

Незадолго перед этим в газете Крушевана было сообщено, что в Дубоссарах произведено ритуальное убийство. В течении недели в газете прибавлялась черта за чертой, дорисовывающие возмутительную картину. Затем было кратко сообщено, что все эти слухи не оправдались и что в этом случае нельзя видеть, даже при желании, ничего подобного ритуальному убийству. Но эта небольшая заметка, лаконичная и неповторенная более, прошла мало замеченной. А первые слухи сильно фанатизировали толпу.

Интересно, что и мой собеседник, священник тоже сослался на это дело, как на главную причину беспорядков.

— Неужели вы верите этой сказке? — спросил я.

[1] Против этого абзаца, на полях дневника написано. „Конец о Дашевском взят для статьи?“

[2] В Тульче жил под именем Петра Александрова брат А. С. Короленко, известн. политич. эмигрант врач В. С. Ивановский.

— То есть... все таки ... Ведь вот и столичные газеты подтверждают.

— Какие?

— Да вот я получаю „Свет".

В газете Крушевана я встретил большие похвалы „Свету". „Свет" подхватывает всякую нелепость Крушевана, и выходит, что „столичная печать" „тоже подтверждает".

— Но разве вы не читали, что сам „Бессарабец" признал свою ошибку?

Он очень удивился.

— Этого мы не слыхали. А разве это было?...

Теперь в печати смущение. С одной стороны позорная травля и лживая агитация разных Крушеванов, вызывающая, или вернее усиливающая погромы. Часть печати (особенно „Новости") — требуют обуздания Крушевана. Мне показывали копию телеграммы еврейской депутации после свидания ее с министром. Там была фраза: „Паволакий будет обуздан". С другой стороны — это против „свободы слова". „Вестн. Европы", кажется, старается доказать, что толки о влиянии печати в кишиневском погроме — „преувеличены". Но это — уклонение от вопроса. Несомненно, что влияние было и влияние значительное именно потому, что шло навстречу уже существующей в народе изуверской сказке. Но всякое „обуздание" вредно еще более. Не нужно только обуздания и противуположного взгляда. А в данном случае именно это и было: никому не разрешали второй газеты в Кишиневе и Крушеван, таким образом получил монополию. Он наводнил край извращениями и ложью, а отвечать было некому. Таким образом, либеральная формула остается во всей силе: виновата не — свобода, предоставленная Крушевану, а стеснение его противников.

Интересная черта: когда ложь относительно дубоссарского дела с убийством Рыбаленко была разоблачена, — об этом деле запрещено было писать...

Остановился я в „Парижской Гостиннице".

— Что, страшно было? — спросил я у номерного, довольно приличного молодого человека, еврея.

— Ужасно.

— Но ведь вас не тронули.

— Не тронули потому, что тут один человек выстрелил из револьвера.

— Они испугались?

— Они не очень испугались, но патруль услышал и побежал. Они подумали патруль будет их забирать...

— А разве нет?

— Нисколько нет. Патруль только смотрел кто стреляет, — чтоб отобрать револьвер. А первый день, когда мимо нас шла толпа, — городовому дали рубль. Он сказал: „тут христиане. Вон там евреи". Ну, они ушли. Были такие, что не знали.

Он рассказывает ужасы: беременную женщину били дрюками по животу, пока не выбили ребенка, насиловали, отрывали руки... Вероятно, есть преувеличения...

Когда мы с моим спутником-священником шли по городу, разыскивая ресторан Бель-Вю, чтобы пообедать, на одной улице нас остановил молдаванин. Это был старый человек, с седыми кудрявыми волосами, толстыми седыми усами и толстым носом. Выражение знакомой

мне хохлацкой медлительности смешивалось на его лице с выражением озабоченности и горести. Он заговорил по молдавански.

— Нуште романешти, — вспомнил я это выражение из своей еще добруджанской практики[1].

Он почесал в голове и заговорил по-русски, с трудом подбирая слова. Оказалось, что сына у него „взяли солдаты“ (или взяли в солдаты?), жена сына родила и умерла, или умер ребенок (я не разобрал). В доме нет хлеба, а надо на гроб.

— Резал дрова, — показывает он руками.

— А теперь что-ж?

Он опять почесал в голове.

— Теперь нет. Прежде еврей давал работу. Теперь не хочет... после бунта не хочет...

Очевидно старик не безгрешен в бунте и потерял обычных своих заказчиков на каком-нибудь дровяном дворе. На гроб ему не хватает 45 коп. Я даю ему рубль и он уходит, все с той-же медлительной, тяжелой, горестной заботой на лице... Он как будто решает в своем мало-подвижном мозгу вопрос о том, что это такое было, откуда это налетело и как вышло, что после столь героических поступков ему стало гораздо хуже...

11 июня

Встал я сегодня в 6 ч. утра и около семи вышел на улицу и ходил по базару. Еврейский характер кишиневской торговли очень заметен: мелкие лавочки, палатки, лари на базаре — все почти еврейские. Толпа разнохарактерная: молдаванские фигуры, медлительные, угрюмые, в широчайших шароварах, в бараньих шапках и с тем-же

[1] До 1903 года В. Г. был в Добрудже дважды: в 1893 и 1897 г.г.

выражением тяжкой задумчивости, как у нашего вчерашнего случайного знакомого.

Мне нужно было купить конвертов и бумаги, и я зашел в лавочку на углу Гостинной улицы и базара. Пока торговец завертывал мою покупку, я вступил с ним в разговор относительно недавнего погрома.

— Ну, у нас только побили окна, — сказал он.

— А теперь как: все спокойно?

— Нет, в народе еще неспокойно. Вы разве не слышали: третьего дня закололи молодого человека?..

— Нет, не слыхал.

— Ну, это знает весь город: Нисенбаум, он шел на бульвар. Какие-то три подступили, один ударил ножом.

— И что-же?

— У него в кармане была книжка. Книжку проколол, но она все-таки задержала. Ну, он ранен, но остался жив.

Оказывается, это факт, который мне подтвердили и в гостиннице. Я купил „Бессарабца“; но там ни вчера, ни сегодня ничего об этом факте нет. Есть только рассуждение о „еврейской наглости“ по поводу нападения на Крушевана.

Любопытно, что молва смотрит на это, как на месть „за Крушевана“. Таково это настроение, созданное многими условиями, но в том числе, несомненно, и работой антисемитской печати.

День провел в антисемитской компании. Впечатление в общем тяжелое. Мысли мало, но чувство очень упорно. Аргументация слабая, состоит главным образом из фактов. Один из моих собеседников, местный уроженец, сильный

брюнет, с черными глазами, бровями и усами. Лицо выразительное при неподвижности. В жилах течет, вероятно, много молдаванской крови. Речь медлительна, но под этой медлительностию чувствуется страстность. Он долго молчал, слушая наши разговоры, потом вдруг заговорил.

— Было в Елинешти (кажется так). Шли двое рабочих. Возили известь. Ну, выпили. Идут: ми богуле... Понимаете: значит, — наш бог. Евреи с своей стороны: — наш бог. Заспорили. Один ударил кого-то... Тот опять с своей стороны. Избили так, едва-ли не остались там...

И он все время говорил все отдельными фактами, все с той-же мало-подвижной, как будто не расколыхавшейся еще страстностию.

— Около Сорок, — колония есть. Евреи землю пашут, — как крестьяне. И у них есть козы. Они выпустили их, козы пошли в виноградник к молдавану... Тот пошел к ним. Дракуле! Зачем коз выпустили, возьмите своих коз, чтоб они пропали. А! Ты так. Ты вот что говоришь... Стали его бить... И еще, извините, помочили сверху. Он пошел к уряднику. Урядник говорит: ступай в больницу. И больше ничего. Урядник у них имеет квартиру и стол.

Этот припев относительно подкупности полиции слышится постоянно.

— Ему надо было идти не к уряднику, а в суд.

— В суд?..

Собеседник мой махнул рукой. Это глубокое недоверие к полиции, к суду, ко всем оффициальным заявлениям — составляет черту, постоянно сопутствующую массовому антисемитизму.

Другой типичный ряд рассуждений:

— Евреи сами виноваты. Представьте себе — идет толпа. Положительно — убивать не хотели: ну, там разбили бы окно, мебель, выпустили бы пух... Чорт с ними. Жизнь человеческая дороже этого.

— Конечно.

— Ну, а когда, знаете, какой-то жид из-за окна, спрятавшись, вдруг выстрелит из револьвера и убьет человека...

— Итак, убийства первые произвели евреи...

— Да, в первый день убийств не было.

— Уверены-ли вы в этом? В газетах писали, что уже в первый день было несколько убитых евреев?..[1]

— Не знаю, кажется нет.

— Значит, все-таки вы не уверенны. И, может быть, евреи тоже не были уверены. Согласитесь, что если на вашу квартиру, где ваша жена, ваши дети идет толпа с камнями и дрекольями,— вы тоже будете защищаться, как сможете.

Через некоторое время опять тот же мотив:

— Сами виноваты. У них в руках все.

— То есть торговля.

— Вся местная жизнь...

— В чем это проявляется? В городском самоуправлении евреи — большинство? И этим об'ясняются какие-нибудь неустройства?

— Я этого не знаю. Большинства нет, но те-же гласные христиане должны евреям.

— Возможно. Какие же именно неустройства приписываете вы влиянию евреев на городское самоуправление?

[1] Официально констатировано 6 убийств в первый день пасхи. (Примеч. В. Г.)

— Я этого не знаю. Но я знаю, что я человек русский и не могу выносить этой еврейской наглости. Потом — их сплоченность. Вот на углу Пушкинской (кажется) улицы основал магазин Фитов, болгарин. Завел усовершенствования, асфальт, электричество. Что-же вы думали: не мог конкурировать с евреями...

— Что-же, много город потерял, что болгарин не мог конкурировать с евреями?..

— Да ведь все-таки...

В конце концов вопрос опять сводится не на аргументацию, а на личное чувство, на вкусы, о которых не спорят.

Вечером, в 11-м часу я пошел по городу, чтобы розыскать колбасную, а кстати — посмотреть город ночью. Недавно прошел сильный дождь, на улицах было мокро. По небу тихо ходили и громоздились тучи, фонарей в Кишиневе мало и потому лужи лишь кое-где слабо отсвечивали, по большей же части улица казалась просто темной бездной, в которую было как-то жутко и страшно шагнуть.

3 июня

4-й день я в Кишиневе и чувствую себя, точно в кошмарном сне. То, что с полной психологической несомненностию выясняется передо мною действительно похоже на дурной сон. И как в кошмаре, — более всего мучит сознание бессилия...

Вот способ ведения предварительного следствия. В больнице лежат больные, избитые евреи. Приезжают

кандидат на суд. должности (исправляющий должность суд. следователя), Прекул и суд. следователь по особо важным делам Фрейнат. Прекул снимает показание с больного (раненого) Толмасского. Последний говорит, что на Мунчешской дороге видел лицо в судебной форме, подстрекавшее толпу и указывавшее на еврейские дома. Прекул не заносит это показание. Тогда Толмасский отказывается подписать протокол. Тогда дежурящие при раненных: г-жа Неручева (правосл.), г-жа Волкенштейн (евр.) и д-р Козанович (правосл. ?) стали требовать внесения в протокол показания о суд. чиновнике. Прекул отправляется к Фрейнату, допрашивавшему в другой палате. Когда Фрейнат явился, Прекул пожаловался на вмешательство посторонних лиц. Фрейнат потребовал, чтобы все удалились. Г-жа Волкенштейн и Козанович вышли, г-жа Неручева отказалась, мотивируя тем, что ее обязанность — беспрестанно переменять.....[1] больному. На вопрос Неручевой — почему же он не вносит заявления потерпевшего, Фрейнат ответил, что раз один следователь этого не занес, то он не считает себя вправе изменять его протокол.

Протокол остался неподписанным. Но дня через 2 или 3 Фрейнат явился вновь и вписал это показание.

Говорят, при дежурной Барбовской один из следователей заставлял больного подписать протокол, не читая.

Потерпевший Фишман стал давать показания относительно участия в погроме нотариуса Писаржевского, подстрекавшего толпу (на это есть масса указаний). Снимал показания кандидат на суд. должности. Кандидат этот прошел опять в соседнюю комнату, где находился Фрейнат. Там произошел следующий диалог:

[1] Пропуск в рукописи

Кандидат. Он показывает на Писаржевского.

Фрейнат: Плюньте в его жидовскую морду. Впрочем я сам.

Выходит в комнату и, грозя нагайкой, говорит: Я тебя, жидовская морда, законопачу в Сибирь и тюрьму, если ты станешь показывать на Писаржевского.

Фишман ответил, что он разорен до тла и что в Сибири ему будет не хуже. Требует занести свое показание. После долгих препирательств Фрейнат соглашается занести показание — карандашем! В конце-концов Фишман настоял на своем.

Потерпевшую Радзивиллер призывает жанд. капитан Демиденко, присланный специально для производства дознания от мин-ства вн. дел. Радзивиллер привела 6 свидетелей, видевших и подтверждающих участие Писаржевского в толпе. Войдя к Демиденку она застает уже Писаржевского и Синадино [1], спокойно сидящих рядом с Демиденко. Допрос свидетелей производится в присутствии потерпевшей. Два свидетеля показывают, что видели Писаржевского среди громил. Демиденко кричит на них, зовет жандармов и приказывает вывести их (одного за другим). Радзивиллер заявляет, что при таких услових,— Радзивиллер отказывается от всякого участия в дознании. Демиденко зовет жандармов и приказывает вывести и ее.

Вообще по словам кандидатов (прис. пов. Ф. Н. Литвицкому), все следствие есть ряд подлогов, подчисток и поправок, сделанных после подписания протоколов свидетелями и потерпевшими...[2]

[1] Синадино — известн. бессарабский черносотенец, сподвижник Крушевана.

[2] Далее на 24½ стр. дневника следует чернов. набросок очерка „Дом № 13“. Очерк этот предназначавшийся для „Русск. Бог.“ не был

[Полтава]

У нас, на дворе работают дроворубы. Их трое. Совершенно седой старик и два помоложе, один из последних — черный, высокий, худой и мрачный. Он хромает на одну ногу, переступает с трудом.

— Хромаете? — спрашиваю я.

— Эге! Руматызма.

— Давно?

— Та-таки давненько, из службы. У перед було так, що й руки й ноги свело. Потим руки, того... отпустило... А на ноги — беда! Ще на ходу — можно терпеть, а постоять с пылою — просто беда... А я от пылы хлеб себе имею.

— Лечитесь?

— Та от! Роспарю труху в горячей воде... Прежде все пухли, теперь гадость идет.

— А к доктору?

— Та где-же нам... доктору деньги надо. Э! Та що тут.

— На службе — могли вылечить, — вмешивается другой. — А тепер не вылечать! Вот и у меня на службе тоже было! Хотели одну ногу долой отрезать. Я не того, не дал согласия. — „Помрешь! Сукин сын". Лучше же, говорю, ваше высокоблагородие я помру, то по крайности мере в своем виде, чтобы моя нога при мне осталась. — Так

пропущен цензурой и появился впервые за границей, в трех изданиях: 1) Издание без обозначения места напечатания — 1903 г. 2) Изд. Иогана Рэде, Берлин, 1904 г. 3) Изд. Гуго Штейница, Берлин, 1904 г. Первое русское изд. (Раппа и Потапова) вышло в Харькове в 1905 г. Очерк вошел в собр. соч. изд. „Нивы". В наст. изд. „Дом № 13" печатается в более полном виде со вставками, сделанными В. Г. в авторском экземпляре (т. XXVIII).

и бросили. А один пришел, поглядел и говорит :— „Не я буду, вылечу !“ И вылечил. Прежде припарки из трухи, потом декохт. Декохт главное дело на водке запекал. Ну, декохтом выгнал.

— И я хочу декохт пить,— говорит больной.

— Какой же это декохт? Где вы его возьмете?

— А по лавках продають. 20 копеек... не двадцать — сорок копеек хунт...

Кучер Памфилий невдалеке чистит лошадь. Он кучер доктора и быть может потому авторитетно вмешивается в спор.

— Сорок копеек ! — иронически замечает он.—То чорт знает что, а не декохт... Настоящего декохту тебе на сорок копеек нихто не даст. Рубь двадцать хунт, — вот настоящий декохт.

— Рубь двадцать ! Мы и на сорок копеек возьмем.

— Где ?

— У лавке. Бабы, конешно, дороже беруть.

— Так то разве декохт?...

— Нам хорошо и этого. А то рубь двадцать. Я вот сорок копеек заработаю у день... Три дня мне не есть... Декохтом сыт не будешь...

Дроворубы встают и принимаются за работу. Кучер продолжает чистить лошадь...

Я получил следующее письмо от редактора „La Revue“ Paul Gsell (Gysell?).

М. Г.

La Revue des Revues полагает сделать общественно-полезное дело, сгруппировав авторитетные отзывы по следующему вопросу:

1) Не совместим ли патриотизм с гуманитарными чувствами которые, как кажется, укрепляются все больше и больше в цивилизованном мире: солидарность между всеми членами человеческого рода, сознание дикости первичных инстинктов, которые возбуждают расовую ненависть, ужас борьбы, в которой сталкиваются люди, которые часто имеют лично все основания уважать друг друга, уважение к справедливости признаваемой, как нечто высшее перед грубой силой заставляют решать столкновения между нациями так-же легко, как и личные споры.

Пришло ли уже время, когда идея отечества, принеся все свои плоды для развития человечества, готова смениться другими идеями?

Или, наоборот, лучше, чтобы всякая нация сохраняла свой патриотизм, чтобы продолжать свое историческое развитие и чтобы на свой лад работать для прогресса человечества.

Мы осмеливаемся запросить об этом наиболее выдающихся мыслителей разных стран Европы.

Во Франции мы уже получили ответы Мишеля Бреаля, Coppée, доктора Duclaux, d'Esturnelles, Constant, Emile Faguet, Alfred Fouillée, Anatole France, Urbain, Soluer, Izoulet, docteur le Bon, Lockroy, President Hagnaud, Paul et Victor Margueritte, Octav Mirbeau, Gabriel Honod, Alfred Naquet, Frederic Passy, le Pressensé, docteur Charles Richet, Tarde etc.

Мы обращаемся особенно (?) (particulierement) к Вам, М. Г., и были бы бесконечно счастливы, если бы Вы пожелали дать Ваше высокоавторитетное....[1] в этом заявлении, которое будет, мы надеемся, очень полезным

[1] Пропуск в рукописи.

для освещения этого вопроса, в чем европейская публика так нуждается. Примите и проч. [1]

Из письма к начинающему автору.

... Мой совет — оставить эту форму — чисто суб'ективных настроений, трудно уловимых и неопределенных. Нужно больше внимания к жизни в ее разнообразных проявлениях. Собственное „настроение" и описание — только соус. Настоящее блюдо — изображение жизни. Это — старая истина, сохраняющая всегда свою силу. Потуги разного рода „модернистов" перенести центр тяжести творчества в неопределенные суб'ективные ощущения, давать оттенки вместо тонов — уже выдохлись даже в отношении новизны, да оно и понятно. Художник, изображающий явления жизни, неизбежно даст и свое настроение. А тот, кто слишком заботится о „настроении" — отворачивается от жизни, а самое настроение лишает его здоровой непосредственности и силы.

[1] Перевод письма принадлежит В. Г. В архиве писателя сохранился черновой набросок его ответа (по русски) редакции „Revue". Печатается в приложении к наст. тому. Мысли автора, высказанные в этом ответном письме были впоследствии развиты в очерках „Война, отечество и человечество", написанных в 1917 г. (т. XXXII наст. изд.).

ПРИЛОЖЕНИЕ

О патриотизме [1]

(На запрос французского журнала „Revue des Revues“)

Я принадлежу к числу людей, которые полагают, что прогресс человечества и его улучшение проявляются наиболее ярко в расширении человеческой солидарности. Те группы, в пределах которых замыкалось прежде чувство солидарности, — как семья, род, античный город, — которые присваивали исключительно себе все лучшие побуждения человека вплоть до готовности жертвовать за них жизнию, — постепенно охватывались группами более широкими, частию их поглощавшими, частью-же только подчинявшими их высшей идее. Так поглощается постепенно и без остатка чувство родовой исключительности и так претворяется семья, которая не исчезла, но стала „патриотической“.

Что будет с идеей отечества в будущем? Будущее человечества представляется нам бесконечным, и очень трудно сказать, какие еще формы сменят друг друга на расстоянии тысячелетий. Нет никакого сомнения, что национальному и государственному обособлению суждено постоянно стираться и что над ними уже теперь подымается, величаво и властно, высшая идея — человечества.

[1] Черновая рукопись на пяти листках из блокнота (в 1/4 л.) со многими помарками. На полях первой страницы пометка рукой автора: „Осталась неотосланной“. Рукопись эта является черновиком ответа В. Г. на письмо редакции „Revue des Revues“, приведенное в тексте дневника 1903 г. (Предпоследняя запись).

И как идея семьи подчинилась идее отечества, так и отдельным патриотизмам предстоит сознательно и бесповоротно подчиниться великой идее общечеловеческой солидарности, которая одна несет возможность всей справедливости, доступной на земле. Семья, которая свои семейные интересы в случае их антагонизма с интересами всего отечества поставила бы выше патриотизма, — была бы признана семьею изменников. Мы предчувствуем уже время, когда народы, неспособные подчинить своей национальной исключительности высшим интересам общечеловеческой правды, — окажутся в том же положении...

Исчезнет-ли патриотизм совершенно и случится-ли это в близком будущем?.. — Этот вопрос ведет за собою целую вереницу других: что такое нация, государство, из чего слагается самая идея отечества... Не пытаясь дать точные ответы на эти вопросы, — я скажу только, что, по моему мнению, патриотизм еще долго будет питать чувства человека... Но многое в патриотизме уже теперь умирает на наших глазах, заполняя современную атмосферу запахом тления и смерти: это — национальная исключительность и национальные эгоизмы. Говорят о дикаре, который так определял добро и зло: добро — когда я украду жену соседа. Зло — если сосед украдет мою жену. Мы смеемся и осуждаем этот несложный кодекс в сфере индивидуальной морали. Но наши международные отношения еще целиком покоятся на этих же наивных началах. Зло, если чужой народ захватит нашу территорию, но героизм и подвиг, если мы захватим чужую...

Этот патриотизм начинает уже умирать на наших глазах, и так называемый „национализм", шовинизм или наш русский квасной патриотизм — это продукты его разложения. Он исключителен, не умен, несправедлив

и ретроградeн ... И когда мы видим мужественных людей, которые смеют говорить горькую правду огромному большинству своего народа, аппелируя к высшей правде против национального эгоизма, — то мы не можем не признать, что над ними веет дух будущего, тот самый, который в прежние времена звал семью и род на подчинение своей исключительности высшей для того времени идее отечества. И я могу только повторить слова Берне: „может ли быть лучшее доказательство любви к своему отечеству, как мужественный призыв к справедливости в тех случаях, когда оно неправо".

Если есть Бог, то он один для всей вселенной. Если есть высшая справедливость, — то начало ее тоже едино. Теперешние формы патриотического чувства расчленяют этого единого Бога, привлекая его каждый исключительно в свои ряды, и кощунствуют против высшей правды, подчиняя ее во что бы-то ни стало исключительно интересам своей группы. Этому эгоистическому патриотизму суждено умереть. И если все таки останется надолго любовь к своему отечеству, своему языку и своей родине, — то это будет только живая ветвь на живом стволе общечеловеческой солидарности.

Указатель имен и произведений

к IV тому Дневника [1]

Агафонов В. К., минеролог и писатель, сотр. „Мира Божьего". 224.
„Академический инцидент", брошюра А. Б. Дермана. 306.
Аксаков К. С., писатель-славянофил. 266.
Александр I. 57, 167, 232, 253.
Александр II. 51, 73 примеч., 142, 200, 201, 257, 258.
Александр III. 51, 57 примеч., 70, 178, 181, 184, 200, 311.
Александр I, король сербский. 313 — 315.
Александр Михайлович, вел. князь, впоследствии нач. Главн. Управл. торгов. мореплавания и портов. 49, 50, 54.
Алексенко, студент, арестованный в Полтаве в связи с аграрными волнениями 1902 г. 294.
Амвросий, архиепископ харьковск. 237, 254, 255.
Амфитеатров А. В., писатель—беллетрист и публицист. 157, 171, 172.
„Анна Каренина", Л. Н. Толстого. 23, 276.
Анненская А. Н., детская писательница и переводчица, жена Н. Ф. Анненского. 223 примеч., 252.
Анненский Н. Ф. (Николай, Коля), известн. статистик, обществ. деятель, член редакции журнала „Русское Богатство", близкий друг В. Г. 52, 127, 142, 144, 148 примеч., 163, 171, 172 примеч., 223, 224 и примеч., 230, 244, 252, 263, 296.
Анри, полковник франц. армии, участник знам. процесса Дрейфуса. 78.
Антоний, митрополит петерб. и ладожский. 104, 210, 232—236.
Антонович М. А., критик, сотр. „Современника". 93, 94, 95, 96—97.
Анучин Д. Н., проф., изв. антрополог. 214.
Арабажин К. И., писатель. 243.
Арсеньев К. К., изв. юрист и писатель, редактор „Вестн. Европы". 126, 152, 156, 171, 172 примеч., 298, 304, 307.
Аскоченский В. И., писатель, основатель реакционн. журн. „Домашняя Беседа". 96.

Балмашев С. В., студент, революционер, убивший Сипягина. 303, 304.
Баранов Н. М., нижегородский губернатор. 56.
Барятинский В. В., кн., писатель, ред.-изд. газ. „Северн. Курьер". 182.
Батюшков Ф. Д., историк литературы и критик. 201 примеч., 278 примеч., 297, 300 примеч., 310 примеч.
Белоконский И. П., писатель, статистик, политич. ссыльный. 206 примеч.

[1] Произведения В. Г. Короленко выделены в указателе курсивом.

Бельгард, полтавск. губернатор. 310.
Берне, знам. немецк. писатель. 23, 29—36, 37.
Бисмарк, госуд. канцлер Германии. 30, 31.
Благосветлов Г. Е. журналист, основатель журнала „Дело". 96.
Блеклов С. М., статистик. 79—80.
Блинов Н. Н., вятский священник, писатель, автор книжки „Языческий культ вотяков". 44, 46, 89.
Бобриков Н. И., финляндский ген.-губернатор. 140—145, 147, 162—164.
Бобринский В. А., председат. Богородицк. у. земск. управы; впоследствии политич. деятель, член Гос. Думы. 52.
Богданович А. И., публицист, редакт. журн. „Мир Божий". 252.
Боголепов Н. П., министр нар. просв. 97, 98, 169, 199, 215, 216, 217.
Бранд, цензор в гор. Выборге. 148, 149.
Брандт Р. Ф., проф., славист. 213.
„Братья Карамазовы", Ф. М. Достоевского. 217, 241.
Брызгалов, инспектор московск. университета. 286.
Буренин В. П., писатель, критик, один из главн. сотрудн. „Нов. Времени". 39.
Быков П. В., оффициальн. редактор „Русского Богатства". 140, 165, 166.
Быков, петербургск. издатель, владелец магаз. „Книжное Дело". 196.

Ванновский П. С., генерал, военн. министр, затем мин. нар. просвещения. 138, 152, 157, 158, 169, 239, 245, 251, 259, 260, 305.
Василевский И. Ф., (псевд. Буква), журналист. 184.
Васильевский М. Г., студент, административно-высланный в Полтаву. 289, 290.
„В голодный год". 50, 300 примеч.
Ведров С. В., проф. полицейск. права. 135.
Вейнберг П. И., писатель-переводчик и критик. 89, 225.
Величко В. Л., поэт и публицист реакц. направления, ред. оффициозн. тифлисск. газ. „Кавказ". 184.
Венгеров С. А., критик и историк литературы. 43, 44.
Вернадский В. И., профессор, изв. минеролог. 214.
Вернер Захарий, немецк. поэт. 27.
Веселовский А. Н., изв. историк литературы, академик, председ. II отд. Академии Наук. 305 примеч., 306, 307.
Ветрова М. Ф., курсистка, покончившая самоубийством в 1897 г. в Петропавловск. крепости. 113, 214.
Ветчинкин И. И., вице-председ. московск. об-ва трезвости. 261.
Виктория, королева Великобритании. 193.
Витте С. Ю., изв. госуд. деятель, мин. финансов. 54, 55, 63, 152 примеч., 178, 179, 182, 183, 265—270, 304.
Владимир Александрович, вел. князь, президент Академии Художеств. 202, 220.
„Власть тьмы", Л. Н. Толстого. 217, 288.
„Война и Мир", Л. Н. Толстого. 23, 57.
„Война, отечество и человечество". 330 примеч.
Воронцов В. П., экономист-народник, писавший под инициалами „В. В.". 263.

Ворсуняк, член моск. об-ва трезвости. 261.
„Воскресенье", ром. Л. Н. Толстого. 219 примеч.
Вяземский, кн. ген.-лейт., член Госуд. Совета. 223, 224, 230, 232.

Гайдебуров В. П., (сын), журналист, издатель „Недели" и газ. „Русь". 69, 100, 102, 103.
Галилей, великий ученый, основатель механики как науки. 85.
Гейне Генрих, знам. немецкий поэт. 23—36, 40, 48, 88.
Георгиевский П. И., проф. политич. экономии. 135.
Герд В. А., директор Тенишевск. гимназии в П-бурге, педагог. 92.
Герд Ю. И., жена В. А. Герда, учительница. 92.
Герье В. И., историк, основатель моск. Высш. Женск. Курсов. 213.
Гете. 25.
Гизо, французск. историк и политич. деятель. 30, 31.
Гиляров-Платонов Н. П., публицист патриотич. направл., изд. газ. „Современн. Известия". 39.
Глазенап С. П., профессор астрономии. 130.
Голицын Г. С., кн., генерал, в 1897—1904 г.г. главноначальствующий на Кавказе. 184.
Голицын Д. П., (псевд. Муравлин), кн., писатель-романист. 184.
Головинский М. В., редактор „по назначению" газ. „Русь" и „Новь". 69, 100, 102—104.
Гораций, знам. поэт древнего Рима. 40.
Горемыкин И. Л., госуд. деят., мин. внутр. дел. 37, 55, 67, 68, 169, 170, 177, 181, 183, 184, 265—270.
Горчаков М. И., священник, проф. церковного права. 129, 130, 134.
Горький Максим, см. Пешков А. М.
Грибоедов, „шестидесятник", знакомый С. Н. Южакова. 93, 94.
Григорович Д. В., писатель. 44.
Григорьев В. Н., статистик и обществ. деятель, друг В. Г. 180, 181.
Гринмут В. А., реакционн. публицист, редактор „Московск. Ведомостей". 38, 39, 72, 86, 260.
Гурко Н. И., морской офицер, сын ген.-фельдмаршала и варшавск. ген.-губернатора. 59, 77.

Давыдова А. А., издат-ца журн. „Мир Божий". 66.
Д'Айстеттен, полтавск. полицмейстер. 315.
Далин, см. Линев Д. А.
Дашевский С. П., покушавшийся на жизнь П. А. Крушевана. 316—317.
„Два убийства". 176 примеч.
Дверницкий П. Е., земск. начальник Сумского уезда. 279.
Де-Карай, испанск. капитан, изобретатель первого парохода. 82, 83.
Делянов И. Д., министр нар. просв. 98, 178.
Дементьев П. А. (псевд. Тверской), сотрудн. „Вестн. Европы" и „Недели", живший в Америке. 219.
Демиденко, жанд. офицер, производивший дознание от министерства вн. дел о кишиневском погроме. 326.
Демчинский Н. А., писатель, изв. своими статьями в „Нов. Врем." о предсказании погоды. 229.

Джаншиев Г. А., изв. публицист, авт. кн. „Из эпохи великих реформ". 80.
Диксон К. И., журналист. 263.
Долгоруков В. А., московск. ген.-губернатор. 39 примеч.
„Дом № 13". 326 примеч., 327 примеч.
Доробец, аспирант на кафедру римск. права при моск. унив-те. 97, 98.
Достоевский Ф. М. 241.
Драга, королева сербская, жена Александра I. 313—315.
Драгомиров М. И., генерал, военн. писатель, киевск. ген.-губернатор. 189.
Дрейфус, франц. офицер, обвинявшийся в шпионстве по знам. процессу 1894 г. 78.
Дробыш-Дробышевский А. А., провинц. журналист, редакт. „Самарск. Газеты". 106, 107.
Дурново И. Н., мин. внутр. дел, затем пред. комитета министров. 181, 220.
Духовской М. В., проф. криминалист. 214.

Елагин, цензор. 65, 79.
Ергин, политич. ссыльный, убивший в Н.-Колымске заседателя Иванова. 197—198.
Ермолаев М. С., оффициальн. ред.-изд. журн. „Жизнь". 252.
Ермолов А. С., мин. земледелия и госуд. имуществ. 55.

Жуковский В. А., знамен. поэт. 105, 257, 258.

Замятин, торговец, член моск. об-ва трезвости. 261.
Зволянский С. Э., директор департамента полиции. 80.
„Земля! Земля!". 294 примеч.
„Знаменитость конца века". 77.

Иванов, заседатель полиц. участка в Н.-Колымске. 197—198.
Ивановский В. С., (Петро Александров), врач, политич. эмигрант в Румынии, брат жены В. Г. 317 примеч.
Игнатьев А. П., киевский ген.-губернатор. 279.
„Из вятского края". 45 примеч.
Икскуль-фон-Гильденбанд В. И., жена дипломата, издательница книг для народа. 36 примеч.
Иловайский Д. И., историк и публицист реакц. лагеря. 86.
Имеретинский А. К., кн., варшавск. ген.-губернатор. 184.
Иоанн Кронштадский (о. Иоанн Сергиев). 273.
Исаев А. А., профессор, экономист. 61, 135.
„История Моего Современника". 180 примеч., 215 примеч., 298 примеч.
„История о безвестно пропавшей больной. (Письмо из Полтавы)". 202 примеч.
„История Чижовских капиталов в земстве и печати". 178 примеч.

„Казаки", Л. Н. Толстого. 23.
Калашников, полит. ссыльный в Н.-Колымске, покончивший самоубийством. 197.
Карабчевский Н. П., изв. петерб. адвокат. 182.
Карл V, король испанск. и император Римск. Империи. 82, 83.

Карл X, король Франции с 1824 по 1830 г. 33.
Карове, немецк. публицист и философ. 27.
Карпович П. В., соц.-революционер, убивший министра Боголепова. 199, 207 примеч.
Катков М. Н., изв. публицист, изд. „Моск. Ведомостей". 221, 157, 267.
„Клара Милич", рассказ И. С. Тургенева. 47.
Клейгельс Н. В., петербургск. градоначальник. 113, 134, 224.
Клопов, производитель частных статистич. обследований, имевший одно время личный доступ к Николаю II. 48—54, 68—71, 74, 76, 311.
Ключевский В. О., изв. историк. 213.
Ковалевский В. И., тов. мин. финансов. 52.
Козакевич Е. П., женщина-врач, издательница журн. „Юный Читатель". 66.
Комаров В. В., изд. черносотенной газ. „Свет". 72, 147, 148.
Комаровский Л. А., гр., проф. международн. права. 213.
Кони А. Ф., изв. судебн. деятель и писатель. 132, 302.
Константин Константинович, вел. князь, поэт (К. Р.), президент Академии Наук. 46, 305, 307.
„Контрабандисты" („Сыны Израиля"), пьеса Литвина (Ефрема) и В. Крылова. 195.
Коровин А. М., предс. совета московск. об-ва трезвости. 261.
Королев Ф. Н., директор Петровской Земледельческой Академии. 117.
Короленко Авд Сем. (Дуня), жена В. Г. 315, 316, 317.
Корреспонденция В. Г. Короленко (без заглавия) о деле Павловских сектантов. 278.
Корсаков Н. С., профес., изв. детск. врач. 214.
Кравчинский С. М. (Степняк), изв. революционер, писатель. 298.
Кривошеин А. К., министр путей сообщения. 311.
Крушеван П. А., журналист, основатель реакционных антисемитских газ. „Бессарабец" и „Знамя". 316, 317, 318, 321.
Куропаткин А. Н., генерал, военн. министр. 139.

Лабриола, итальянск. мыслитель („К вопр. о материалистич. взгляде на историю"). 61, 62.
Лаговский Н. К., служ. самарск. земства, покушавшийся на жизнь Победоносцева. 225.
Ламанский В. И., изв. славист-историк. 43.
Лафайет, маркиз, франц. политич. деятель, участник велик. революции. 33.
Лебедев, священник, член московск. об-ва трезвости. 262.
Лекерт Гирш, покушавшийся на жизнь виленского губернатора фон-Валя в 1902 г. и тогда-же казненный. 317.
Леонтьев Н. С., русск. офицер, „абиссинский генерал", организатор абиссинской армии. 175.
Лесевич В. В., философ-позитивист, сотр. „Русск. Богатства". 263.
Леткова-Султанова Е. Н., писательница. 225.
Линд, петерб. издатель, владелец магазина „Книжное Дело". 196.
Линев Д. А., (псевд. Далин), беллетрист и публицист. 43, 68, 69, 103.
Линовский Н. О., беллетрист. 146.
Липинский М. А., проф. Демидовского юридич. лицея. 266.

Магницкий М. Л., попечитель казанск. учебн. округа. 232.
Майков А. Н., поэт. 42.
Макарий, митрополит московский. 257.
Максимов, нач. департам. железн.-дорожн. дел министерства фин. 178, 182.
Мамин-Сибиряк Д. Н., беллетрист. 225.
Мамонтов С. И., крупный московск. промышленник. 178—180, 182.
Манасеин В. А., врач и публицист, ред. журн. „Врач". 109, 171, 201.
Манасеин Н. А., госуд. деятель, министр юстиции. 162.
Марков А. А., проф. математик. 129, 130, 306.
Маркс Карл. 61, 126.
„*Марусина Заимка*". 169 примеч.
Медведский К. П., писатель, сотр. „Русск. Вестн. и „Моск. Вед.". 39, 40, 86.
Мезенцов Н. В., шеф жандармов. 298.
Мережковский Д. С., писатель — поэт, беллетрист и критик. 217, 218.
Мессарош П. И., публицист, сотр. „Московск. Ведом.". 143, 148, 149.
Мехелин Лео, финляндск. госуд. деятель и писатель. 141, 150, 204.
Мещанинов, тов. министра нар. просвещения. 259.
Мещерский В. П., кн., издат. „Гражданина". 38, 74, 76, 107 примеч., 177, 180, 181, 203, 259, 311.
Милан I Обренович, король сербский. 193, 313, 314.
Миловский С. Н. (псевд. Елеонский), беллетрист. 89.
Милюков П. Н., изв. историк и политич. деятель. 193, 196.
Милютин Д. А., граф, изв. госуд. деятель эпохи реформ, воен. министр. 118, 120.
Минаев Д. Д., поэт. 108, 111.
Михайловский Н. К., изв. писатель (социолог, публицист, критик), редакт. „Русск. Богатства". 36, 39, 43, 115, 140 примеч., 148, 166, 168, 228, 252.
Мицкевич Адам, знам. польск. поэт. 88, 90, 91 примеч., 106, 107, 153, 158.
Мордовцев Д. Л., изв. писатель. 220.
Муравьев М. Н., ген.-губернатор Северо-Зап. края, изв. усмиритель польского восстания. 72, 73, 106, 107, 153, 158.
Мушкетов И. В., проф. петерб. горного института. 171.
Мюллер Адам-Генрих, немецк. публицист, последователь романтич. школы. 27.
Мякотин В. А., историк и публицист, сотрудн. „Русск. Бог.". 126, 252, 263.

Налимов, директор полтавск. земск. школы садоводства. 66—68.
Нахимов П. С., адмирал, герой Севастопольской войны. 106, 107.
Никитенко А. В., цензор, писатель, автор изв. мемуаров 42.
Николай I. 257.
Николай II (в тексте упоминается также, как „царь", „государь", „молодой царь", „нынешний царь"). 50, 51, 52, 53, 54, 68—72, 74, 76, 88, 89, 159—161, 200, 215, 216, 239, 258, 259, 305, 309 примеч.
Николай Михайлович, вел. князь, историк. 49.
Николай I Петрович Негош, король черногорский. 220.
Никон, патриарх московский. 257.
Никонов А. А., петерб. адвокат и писатель, сотрудник журнала „Жизнь". 196, 252.

Новалис-Гарденберг, немецк. поэт-романтик, авт. романа „Генрих фон-Офтердинген". 27, 28.
Нотович О. К., ред.-изд. газеты „Новости". 64.

Облеухов Н. Д., редакт. журнала „Знамя". 86, 87.
Оболенский, кн., харьковский губернатор. 310 примеч.
Овсянико-Куликовский Д. Н., изв. историк культуры, критик и лингвист, академик. 309 примеч.
Олеховский М. А., завед. полтавск. земск. музеем. 68.
Ольденбургский А. П., принц, председ. противочумной комиссии. 59.
Омулевский см. Федоров И. В.
Ордин К. Ф., писатель, автор статей по финляндскому вопросу. 143.
Орнатский Ф. Н., протоиерей, духовный писатель и обществ. деятель. 241.
Осокин, сотрудник „Сев. Курьера". 243.

Павел I. 253, 254.
Палладий, митрополит петербургск. 104.
Пантелеев А. И., ген.-губернатор Восточной Сибири. 197.
„Парижские Письма" — Берне. 31, 36.
Паррот Георг, ученый физик, ректор Дерптского унив-та. 232.
Перуджино, знам. итальянск. живописец, учитель Рафаэля. 26.
„Песнь торжествующей любви" И. С. Тургенева. 47.
Петр Великий. 58, 257, 258.
Петр I Карагеоргиевич, король сербский. 313, 314.
Петр III. 258.
Петров Г. С., священник, впоследствии публицист. 218.
Пешехонов А. В., статистик и публицист, впоследствии член редакции „Русск. Бог.". 67 примеч., 68 примеч., 263.
Пешков А. М., (Максим Горький). 252, 304—308, 309 примеч.
Пименова Э. К., переводчица и популяризаторша, редакт. журн. „Юный Читатель". 66.
Пирамидов, нач. петерб. сыскного отделения. 113.
Писарев Д. И., критик. 96.
Писаржевский, кишиневский нотариус, участник евр. погрома. 325, 326.
Плеве В. К., министр внутр. дел. 303, 311.
Плющевский-Плющик Я. А., юрисконсульт министерства вн. дел. 104.
Победоносцев К. П., обер-прокур. синода. 46, 55, 71, 102, 104, 225, 226, 229, 257, 259, 271, 278 примеч., 301.
Половцев А. А., член госуд. совета 58—59, 77.
Полонский Я. П., поэт. 41—44, 46—48.
Попов С., один из оффициальн. редакторов „Русск. Бог.". 165.
„По поводу доклада священника Блинова". 45 примеч.
Пороховщиков А. А., ред.-изд. „Русск. Жизни", авт. брошюры „Самодержавие на св. Руси накануне XX в.". 51.
Потапенко И. Н., беллетрист. 91 примеч.
Потехин А. А., писатель-беллетрист. 220.
„Призраки", расск. И. С., Тургенева. 47.
Проппер С. М., изд. „Биржев. Вед." 220.

Протопопов М. А., критик. 90.
Протопопов С. Д., нижегород. суд. следователь, впоследствии журналист. 221 примеч.
Прус Болеслав (Александр Гловацкий), польск. писатель. 91.

Раев, директор высш. женск. курсов в Петербурге. 188.
Раевский, тов. прокурора Сарапульского суда, обвинитель в Мултанском деле. 89.
Рафаэль Санти, великий художник эпохи Возрождения. 26.
Репин И. Е., знам. художник. 57, 229, 237.
Розенберг В. А., журналист, член редакции „Русск. Ведом.". 60.
Рошфор, изв. франц. публицист. 78.
Рунеберг, знам. финно-шведск. поэт. 204, 206.
Рунич Д. П., попечитель петерб. округа. 232.

Саблер В. К., тов. обер-прокурора, впоследствии обер-прок. синода. 220.
Сакмаров, фельетонист. 260.
Свешников М. И., проф. госуд. права. 126, 127.
Святополк-Мирский П. Д. тов. и впоследствии министр внутр. дел. 196.
„С двух сторон". 215 примеч.
Семевский В. И., историк. 115.
Сенкевич Генрих, знам. польск. романист. 90.
Сергеевич В. И., проф., ректор петерб. университета. 114—116, 123, 128, 130, 138, 169.
Сергеевский Н. Д., проф. уголовного права. 129, 130.
Сигма, псевдоним С. Н. Сыромятникова, фельетониста „Нов. Врем.". 195.
Синадиио П. В., кишиневский гор. голова, изв. антисемит. 326.
Сипягин Д. С., тов., а затем и министр внутр. дел. 70, 71, 177, 178, 181, 184, 217, 226, 252, 269, 270, 285, 297—303, 305.
Скворцов В. М., ред.-изд. журн. „Миссионерское Обозр." и впоследствии основатель реакционной газ. „Колокол". 278 примеч.
Случевский К. К., поэт. 220.
Сморгунер, ташкентск. адвокат, редактор „Русск. Туркестана". 176, 198.
Снегирев В. Ф., професс. акушерства. 213.
Снесарев, сотрудн. „Нов. Времени". 157.
Соболевский В. М., редактор „Русск. Ведом.". 103.
Соколов, цензор. 79.
Соловьев В. С., изв. философ-мистик и публицист. 251 примеч.
Соловьев М. П., нач. Гл. Управл. по делам печати. 43, 44, 53, 64, 69, 102, 103, 104. 140—145, 146, 152 примеч., 162—167, 180, 184, 301.
Сонин Н. Я., математик, попечитель петерб. учебн. округа. 200, 217.
Спасович В. Д., изв. юрист и писатель. 171.
Спиноза, знам. философ. 24.
Сталь, баронесса, знам. французск. писательница. 26.
Станюкович К. М., писатель. 79.
Старицкий П. П., председат. полтавск. уездн. земск. управы. 293.
Стасов В. В., изв. писатель по вопросам русского искусства. 243, 308, 309.
Стахович М. А., орловск. предводитель дворянства, позднее член I Гос. Думы, октябрист. 270, 271, 275.

Сташевский, казачий полковник, убивший в Ташкенте адвоката Сморгунера. 176, 177, 198.
Стечкин Н. Я., редакт. газ. „Народ". 63, 179.
„Стой солнце, не движись луна!". 38 примеч.
Столыпин А. А., журналист. 315.
Струве Н. А., жена П. Б. Струве. 224.
Струве П. Б., писатель экономист и политич. деятель. 48 примеч., 224, 240, 242, 243.
Суворин А. С, писатель и журналист, изд. „Нового Времени". 64, 153—157, 158, 171, 172, 173 примеч., 181, 195, 196, 216, 220—222, 223.
„Суд над убийцей Сморгунера". 176 примеч.
„Суррогаты гласности для высочайшего употребления". 48 примеч., 311 примеч.

„Тень Сморгунера". 176 примеч.
Тик Л., немецк. писатель-романтик. 26, 27.
Тимирязев К. А., изв. ученый, ботаник. 215.
Тихомиров А. А., зоолог, ректор московск. университета. 194.
Тихомиров Л. А., публицист, сотр. „Московск. Вед.". 97.
Тодосиенко М. Н., появившийся в с. Павловках, Сумск. у. проповедник, один из подсудимых в деле павловских сектантов. 279, 280.
Толстая С. А., графиня. жена Л. Н. Толстого. 232—236, 241.
Толстой Л. Н. 107 примеч., 186—188, 210, 211, 217, 218, 219 примеч., 232—238, 246—250, 258, 260—262, 264, 272, 273, 275, 276, 289, 304.
Трегубов В. П., полтавск. городск. голова. 310.
Трубников К. В., публицист, издат. газ. „Мировые Отголоски" и ряда друг. периодич. изданий. 64.
Туган-Барановская Л. К., урожденная Давыдова, первая жена М. И. Туг.-Барановского. 240 примеч.
Туган-Барановский М. И., экономист. 224, 240, 241, 242, 243.
Тумановы К. М. и Г. М., князья, публицисты, издатель и редактор тифлисской газ. „Новое Обозрение". 184.
Тургенев И. С. 47, 48, 96.

„У казаков". 259 примеч.
Унтербергер П. Ф., нижегородск. губернатор. 174.
Урусов Н. П., кн, полтавск. губернатор. 310.
Успенский Глеб Ив., писатель. 42, 43.

Фальборк Г. А., писатель и деятель по народн. образованию. 263.
Фаминцын А. С., ботаник, академик. 171.
Федоров И. В. (псевд. Омулевский), поэт и беллетрист. 108—111.
Филарет, митрополит московский. 257.
Филипп II, король испанский. 83.
Филиппов М. М., писатель; основатель журн. „Научн. Обозрен.". 196, 263.
Филиппов Т. И., госуд. контролер. 183.
„Финляндские дела", ст. Н. Ф. Анненского в „Русск. Бог.". 140, 144, 163.
Фойницкий И. Я., проф. уголовн. права. 124, 135.
Фон-Валь, виленский губернатор. 317.

Фон-Визин, полтавск. вице-губернатор, автор романа „Роман вице-губернатора". 316.
Фофанов К. М поэт. 43.
Фрейнат, следователь по особо-важн. делам, производивший следствие о кишиневском погроме. 325, 326.
Фриш Э. В., председ. департам. гражд. и духовн. дел, а впоследствии председ. Госуд. Совета. 162.
Фьезоле (Фра-Джиованни-Анджелико да-Фиезоле), итальянск. художник-монах XV в. 26.

Хвостов В. М., проф. римск. права в московск. унив-те. 97—98.
Хилков Д. А., князь, последователь Толстого. 256, 279 примеч.
Хилков М. И., кн., мин. путей сообщения. 55.

„Царь Федор Иоанович", драма Ал. К. Толстого. 73.
Церасский В. К., проф., астроном. 214.

Чарнолусский В. И, писатель и деятель по народн. образованию. 263.
Черевин, генерал, начальник охраны императорск. резиденций. 298.
Чернышевский Н. Г., знам. писатель, редакт. „Современника". 96.
Чехов А. П. 172, 221, 304, 307, 310 примеч.
Чириков Е. Н., писатель. 263.
„Чудная" („Командировка"). 244.

Шарапов С. Ф., публицист, издат. журн. „Русское Дело" и „Русск. Труд". 179, 180, 183.
Шаховской Н. В, кн., председ. петерб. цензурного комитета, а затем нач. Гл. Упр. по делам печати. 104, 145, 146, 184, 196, 263, 301, 302.
Шевченко Т. Г., знам. украинский поэт. 105.
Шлегели Фридрих и Август, немецк. писатели, основатели романтической школы. 26, 27.
Шкляревич П. Д., председ. полтавск. губ. земск. управы. 67.
Шлиппе, тульск. губернатор. 79.
Шмаков, жандармск. полковник. 112, 113, 158, 170.
Шютц, немецк. писатель-романтик. 27.

Щедрин-Салтыков М. Е. 56.
Щербина Н. Ф., поэт. 42.

Эстергази, майор франц. армии, изв. по знам. процессу Дрейфуса. 77.

Южаков С. Н., писатель, член редакции „Русск. Бог.". 92, 93.
Юзефович А. А., издатель харьковск. газ. „Южный Край". 208, 209, 216.

Яворская Л. Б. (кн. Барятинская), драматич. артистка. 229.
Яроцкий В. Г., проф. экономист. 126.
Ясинский И. И., писатель, редактор „Биржев. Ведомост.". 151, 152 примеч.

Содержание IV тома Дневника. [1]

Стр.

От Редакционной Комиссии 5

1898 год.

Выписки из Гейне: о „шофаре"; народ, требующий душу; о свободе печати; о романтизме, Шлегели и Тик; голубой цветок; афоризмы (Париж и провинция). 23

Поэзия и политика (Гейне и Берне).— Берне о собственности и свободе.— Море и человечество.— Король герулов и Карл X.— Сочные глупости 29

Заговоры и легальная деятельность.— О законности.— Неблагонадежность (по Берне) 36

Плутня Грингмута и Гилярова-Платонова. Медведский 38

Из Гейне. Афоризм о перевороте социальном и политическом.— Об аде (Сократе) 40

Смерть Полонского. Полонский — поэт-цензор 41

Священник Блинов о мултанском деле.— Язычники и понятие о едином боге 44

Смерть Полонского. (Мистицизм Тургенева) 46

Из Гейне (разрыв по сердцу поэта) 48

Фантастическая история Клопова. 48

Победоносцев, Витте, Горемыкин, Ермолов. Отдельные самодержавия. Закон — воля монарха. 54

Покушение на А. А. Половцева. (Сын Гурко) 58

Чума 59

Исторический материализм,— Лабриола, Исаев. 61

Преследования газет. Стечькин 63

Приостановка розничной продажи „Нов. Времени". Суворин и Трубников 63

„Юная Россия" (запрещенное заглавие) 66

[1] Оглавление составлено на основании авторских перечней содержания, имеющихся в конце отдельных тетрадей Дневника, вошедших в настоящий том.

„Политическая история“ в Полтаве 66
Гайдебуров и Далин.— Приход. 68
Клопов у государя 69
Самодержавие на распутьи (проект Сипягина) 70
Открытие пам'ятника Муравьеву вешателю. Мстящий страх. . . 72
„Царь Федор“ А. К. Толстого на сцене 73
Фантастическая история Клопова и Мещерский 74
Самоубийство Гурко и цензура 77
Цензура и моя статья „Знаменитость конца века“ 77
Губернатор Шлиппе и газета в Туле 79
Ненависть к „закону“. (Из Джаншиева). Самодержавный городничий 80
К историческому материализму.— Первый пароход 82
Медведский, Грингмут, Иловайский 86
„Знамя“ Н. Д. Облеухова.— Предостережение финляндской печати 86
Новые кары печати 87
Из Гейне. Молитва. 88
Запрещение вечера в память Мицкевича 88
Отголоски мултанского дела (клевета) 89
Открытие памятника [Мицкевичу] в Варшаве. Демонстрация молчания. Надежды и восторги поляков по адресу царя 90
Арест Герда. 92
Вечера у Южакова. „Люди таких-то годов“ 92
М. А. Антонович и некоторые черты русского радикализма.— Полтавское земство и телесные наказания 96
Ограничение диспутов. Боголепов, Хвостов, Доробец и др. . . 97
Новые кары печати 99
Кара „Руси“. (Земский протест протест против просвещения).— М. П. Соловьев и Головинский. Князь Шаховской. Еп. Антоний и Победоносцев 100
Николай I и Шевченко. 105
„Курьер Польский“ 106
Письмо цензора Кондоиди Дробышевскому 106

1899 год.

Сын и дочь Омулевского. 108
Преследования Финляндии 111
Аресты и Шмаков („психолог“) 112
Университетские волнения (и проф. Сергеевич). Характеристика настроений в студенчестве. Побои нагайками. Речь

Сергеевича. Размеры студенческой забастовки. Выступление Ванновского 114
Инцидент „Русск. Богатства“ с Бобриковым. 139
Доносы „Света“. Мессарош. 2-е предостережение „Вестнику Европы“ и другие кары печати. Раболепство И. Ясинского . 146
Университетские волнения. „Маленькие письма“ Суворина о студенческих беспорядках. Суд чести по этому поводу 152
Университетские волнения. Выступление Ванновского. Адрес (проект) государю 157
Инцидент „Русск. Богатства“ с Бобриковым. 162
„ „ „ „ 166
Горемыкин, Боголепов, Ванновский.— Раскол в „Новом Времени“.— Суд чести [по делу Суворина] 169
Приостановка „Нижегородск. Листка“ (за оффициальную заметку!) 173
Убийство Сморгунера 176
Увольнение Горемыкина и назначение Сипягина.— Витте.— Капиталы Чижова.— „Народ“ (Стечькина), Витте и Шарапов.— Поездка в „Рауху“. 177
Сипягин.— Суворин о перемене министра 181
1-й № „Сев. Курьера“. 182
Прекращение „Русск. Труда“ (Шарапова).— Шарапов, Витте, Т. Филипов 183
Кары печати 184

1901 год.

Перезд в Полтаву 186
Болезнь Л. Н. Толстого и указ Синода. 186
Студенческие волнения. (Проявления террористического настроения) 188
Военный суд 190
Студенческие волнения: маленькие студенческие драмы; психология движения; правительственное сообщение 190
Обыски и аресты (у Милюкова).— Смерть Виктории и Милана . 193
„Об'явление“ московских профессоров.— Союз писателей, суд чести и публика 194
Приостановка „Новостей Дня“ (подценз. газета).— Обыски и аресты (у Милюкова и др.) 196
Трагедия в Н.-Колымске.— Военные Карпов и Сташевский.— Загадочный буян в Петербурге. 197

Проявления террористического настроения и покушение на Боголепова 199
Смерть Манасеина 201
Сорокалетие освобождения крестьян и запрещение празднования. 201
Демонстрации в Финляндии. Князь Мещерский и финляндский вопрос 202
Демонстрация 19 февраля в Харькове 206
„Отлучение" Толстого.— Растущие общественные симптомы. . . 210
„Об'явление" московских профессоров студентам 212
Покушение на Боголепова. 215
Юбилей А. С. Суворина.— Демонстрация 19 февр. в Петербурге. Сорокалетие освобожд. крестьян и запрещ. празднования . . 216
Проявления террористического настроения.—„Отлучение" Толстого; Мережковский о Толстом 217
Мои знакомые толстовцы. 218
Юбилей А. С. Суворина 220
Правительственное сообщение о беспорядках в разных городах.— Частные сведения о беспорядках в Петербурге (Анненский) . 222
Покушение на Победоносцева (Лаговский) 225
Слухи о покушении на Сипягина.— Толки о беспорядках; смерть студента Трипольского; „пристанут рабочие". 226
Закрытие Союза писателей 228
События и печать (Яворская, Демчинский) 228
Поездка министров в Царское (Победоносцев) и циркуляр министра внутр. дел о подавлении беспорядков (призыв к энергии), а также о невмешательстве посторонних.—Высоч. выговор члену Гос. Совета Вяземскому 229
Проф. Паррот и Александр I 232
Письмо графини Толстой к митрополиту Антонию и ответ Антония.— Толки по поводу „отлучения" 232
Рескрипт ген. Ванновскому (назначение министром нар. просвещ.) 239
Туган-Барановский. Переход экономического материализма в мистику. 240
Еще о полемике синода с гр. Толстой 241
Подпольные листки; охлаждение к Струве и Туган-Барановскому. Арабажин.— Нелегальное издание моего рассказа „Чудная" . 242
Студенты на сходке вотируют „доверие правительству" 244
Студенты и Ванновский 245
Ответ Толстого Синоду.— Кое-что о язычестве 246

Интриги против Ванновского 251
Аресты 17 апреля (в том числе А. И. Богдановича). — Беспорядки на заводах. 252
О Павле. (Из „Полтавск. Губ. Ведомостей“). 253
Письмо Преображенского в „Вере и Разуме“ 254
Передача проекта Ванновского в комиссию. — Признаки реакции в печати. — Клерикализм. — Земство (проверка совести служащего посредством миссионера!). — Исключение Толстого из „Общества трезвости“. — Выдвигаются религиозные вопросы. — Высылка 17-ти. — Предчувствие Анненского 259
Стихотворение на тему об отлучении Толстого 264
Полемика Витте и Горемыкина о земстве. — „Человеческая пыль“. — Что может быть 265
Орловский с'езд миссионеров и речь Стаховича. — Духовный журнал о „портрете Толстого“ (Михаил Сопоцько). 270
„Павловское дело“ 273
[Ответы на речь Стаховича] 275
Три письма Л. Н. Толстого (апология разума!) 275
Наглость сыщика и студенческие беспорядки 276

1902 год.

„Павловское дело“ 278
Беспорядки студентов и рабочих в Киеве. (Рассказ Дуняши). — Возникновение „легенды о студентах“ 282
Беспорядки в Полтаве и губернии и опять студенческая легенда. — М. Г. Васильевский. — Студент Алексенко 287
Убийство Сипягина. — Отзывы, характеристика Сипягина; Сипягин и Соловьев о „направлениях“ (истина одна); Сипягин и Шаховской. — Похороны Сипягина 296
Балмашев. 303
Академическая история (по поводу выбора Горького) 304
Отставка губернатора Бельгарда. — Приезд в Полтаву Плеве . . 310
Новый фавор Мещерского 311

1903 год.

Переворот в Сербии и наша консервативная печать 313
Продолжение моей „неблагонадежности“: заграничный паспорт; не утверждение. 315

Покушение на Крушевана 316
[Поездка в Кишинев]. О погроме. . . . . 317—326
Дроворубы 327
[Письмо от редактора „La Revue“] 328
[Из письма к начинающему автору]. 330

Приложение.

О патриотизме. 333

Указатель 336